This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

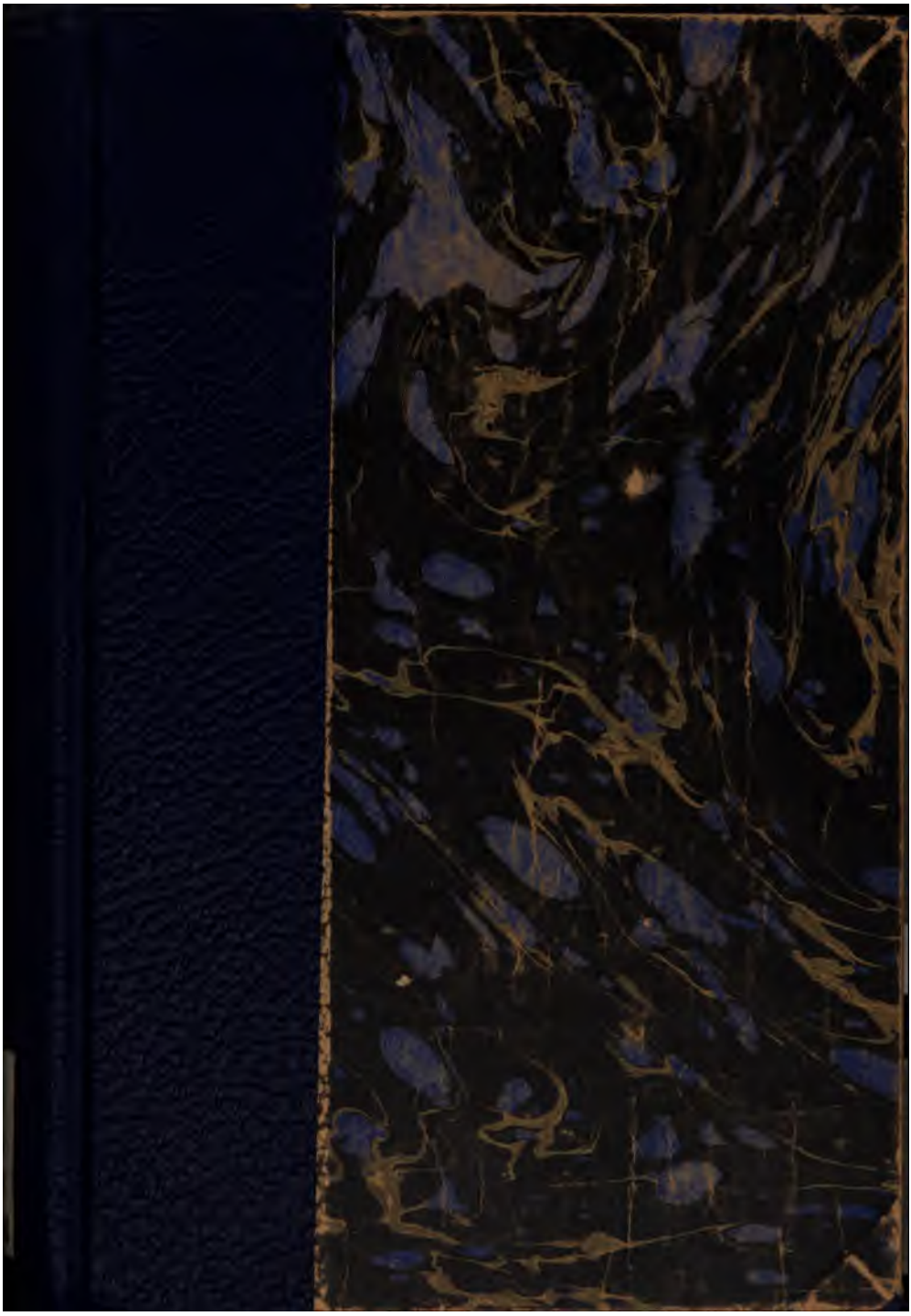
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



E-95244

Nemirovich-Danchenko, V.

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко

Соловки

Воспоминанія и разсказы изъ поѣздки
съ богомольцами.

"UNION"
S.A.R.L.
LIBRAIRIE - PAPETERI
BIBLIOTHÈQUE
62, Rue de France - NIC
R.C. Nice 57.023

С.-Петербургъ
Изданіе П. П. Сойкина
Книжный Складъ Стремянная, 12 | Книжный Магазинъ Невскій, 96

19..

DK501
N38
1904

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 12 ІЮНЯ 1904 Г.

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СТРЕМЯННАЯ, 12.

"UNION"
S.A.R.L.
LIBRAIRIE - PAPETERIE
BIBLIOTHÈQUE
62, Rue de France - NICE
R.C. Nice 57.083

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Соловецкое подворье.

Наступалъ іюль мѣсяцъ. Море въ этотъ періодъ было особенно тихо и покойно. Намъ пророчили самую благополучную поѣздку въ Соловки. Судя по разсказамъ, въ іюлѣ не бываетъ ни качекъ, ни бурь. Бѣлое море гладко, какъ зеркало. Правду говоря, мы сами рвались изъ Архангельска, потому что скучнѣе этого города трудно себѣ представить что-нибудь. Отсутствіе общихъ интересовъ весьма печально отзывается во всемъ. Мы приглядѣлись здѣсь ко всему. Капризная погода, переходившая отъ лѣтняго зноя къ осеннему холоду, бѣлесоватыя, безъ тьмы и безъ свѣта, ночи, сѣверный вѣтеръ, дувшій по три недѣли заразъ безъ устали, столь же продолжительные дожди—все это надоѣло намъ до крайности.

— Покупайте себѣ шубы!

— Какъ шубы? Въ іюлѣ-то мѣсяцѣ?

— Ладно. Что съ того? У насъ все не какъ у людей. Шарфами запаситесь!

— Это для чего же?

— Ночью на морѣ страшные холода стоятъ. Невыносимо. Вѣдь не захотите же въ каютѣ постоянно сидѣть?

— Еще бы. Однако, шубъ не купимъ.

— Провизіи возьмите съ собой, до Соловокъ!

— Да развѣ тамъ купить нечего?

— Разумѣется. Хотите—идите ѣсть на трапезу, только предупреждаю, что монастырская пища—тяжела до крайности. Нужны для нея привычные желудки!

*

Пошли мы закупать провизію и подивились. Дороговизна ужаснѣйшая. Дешева оказалась только рыба.

— Совѣтую прихватить лимоновъ и прочаго. На случай качки.

— Да вѣдь вы же говорите, что качки не бываетъ здѣсь въ іюлѣ.

— Такъ-то такъ—да неровенъ часъ!

Короче, мы сдѣлали запасовъ на цѣлый мѣсяцъ.

Прежде посѣщенія монастыря, мы хотѣли ознакомиться съ его подворьями. Такихъ въ Архангельскѣ два; одно, большое, находится на набережной р. Двины, у самаго Гостиннаго двора. Оно выстроено въ два корпуса, двумя этажами на улицу и тремя во дворъ. Повсюду тутъ видѣнъ хозяйскій разсчетъ. Нижній этажъ занятъ лавками и кладовыми, которыхъ до 100. Въ нихъ сложены—грузы желѣза, керосина и пр. предметы. Каждая лавка сдается по найму на годъ отъ 50 и до 100 рублей. Въ концѣ зданія — въ томъ же нижнемъ этажѣ помѣщается и часовня Соловецкаго монастыря, весьма не представительная, но доставляющая обители кружечнаго сбору ежегодно болѣе 3,000 рублей. При нашемъ входѣ, передъ нами поднялся высокій, худощавый монахъ, на попеченіе котораго возложена исключительно часовня. Это истощенное, блѣдное, аскетическое лицо поразило насъ своимъ контрастомъ съ только что оставленнымъ шумнымъ потокомъ жизни люднаго рынка. Тамъ все говорило о настоящемъ днѣ, здѣсь все обнаруживало исканіе града грядущаго и отрицаніе града, здѣ пребывающаго. Отъ этихъ старинныхъ сумрачныхъ иконъ, отъ этой тяжелой сводчатой комнаты вѣяло невыносимою, тоскливою борьбою живой человѣческой души со всѣми ея земными радостями и привязанностями; лица образовъ сурово смотрѣли изъ-за золоченыхъ рамъ своихъ, и только кроткій, улыбающійся ликъ Богоматери, съ Божественнымъ Младенцемъ на рукахъ, навѣвалъ чудное спокойствіе на вѣрующее сердце. А во взглядѣ этого ребенка и теперь уже свѣтился тихій, ласковый, умиляющій призывъ: «пріидите сюда, вси труж-

дающіеся и обремененные, и Азъ упокою вы». Низко склонились всклоченныя головы крестьянъ-богомольцевъ. Гдѣ-то въ углу отъ сознанія яснаго счастья рыдала старуха, прошедшая тысяча верстъ, въ чаяніи помолиться надъ мощами Соловецкихъ угодниковъ. У самыхъ дверей часовни двѣ сгорбленныя нищенки протягивали къ намъ закорузлыя, тощія руки. И для этихъ нѣтъ—здѣ пребывающаго града, и эти вѣруютъ — въ Іерусалимъ грядущій!.. И отрадная вѣра спасетъ ихъ отъ отчаянія, отъ тяжелаго сознанія ужаса своего положенія.

О ты—горній, грядущій Іерусалимъ! Не одно изстрадавшее, облитое кровью сердце бьется великою вѣрою въ твое пришествіе. Не одинъ грустный взглядъ измученнаго устремляется въ синюю, бездонную высь, слѣдитъ за серебристо-бѣлыми ея облаками, словно испытуя, гдѣ сверкаютъ стѣны этого града, гдѣ сіяютъ купола его, гдѣ зыблются и шепчутъ, зеленѣютъ и цвѣтутъ благоуханные сады Эдема...

Намъ, кого жизнь придавила своею тяжелою пятою, намъ, оставляющимъ капли лучшей крови своей на каждомъ камнѣ мостовой, намъ, чье ложе было не разъ измочено слезами, чьи рыданія слышала равнодушная, темная ночь, намъ разбитымъ, намъ раздавленнымъ, намъ униженнымъ — ты ярко сіяешь въ лазурной высотѣ надписью, начертанною Божественнымъ Спасителемъ на вратахъ твоихъ:

«Пріидите сюда вси труждающіеся и обремененные, и Азъ упокою вы!»

Мы вошли во дворъ подворья. Весь второй этажъ четыреугольника занятъ квартирами, отдающимися въ наемъ отъ 200 р. въ годъ и выше. Какъ намъ говорили — это однѣ изъ лучшихъ квартиръ въ городѣ. Высокія, большія комнаты, свѣтлыя окна, чистые входы — хоть бы и въ столицу. На дворѣ разбрелись богомольцы самыхъ разнообразныхъ типовъ. Вотъ высокій, угловатый вятчанинъ-хлѣбопашецъ, вотъ причмокивающій красивый шенкурецъ, тутъ цѣлая толпа пермяковъ, а тамъ олончане, слови

чему-то удивляющіеся, чего-то непонимающіе. Между ними сновали бабы, растерянныя, суетливыя.

А вотъ среди общаго движенія—равнодушный ко всему, съ трубочкой въ зубахъ, отставной ундеръ. Шинель его въ лохмотьяхъ, одна нога въ лаптѣ, другая въ какихъ-то опоркахъ, на головѣ вмѣсто шапки какая-то невообразимая кошка, но взглядитесь въ это спокойное лицо, и вы поймете, какъ мало смущаютъ его треволненія и бѣдствія его жизни. Была бы засыпка табаку, краюха хлѣба въ сумѣ,.— а тамъ хоть трава не расти. Двѣ, три медали болтаются на груди его, въ рукахъ костыль, а рядомъ съ нимъ ребятишко, маленькій, курносенькій, быстроглазый.

— Сынъ, что ли?—спросили мы его.

— Какое! Такъ... На дорогѣ его поймалъ—безъ роду, безъ племени.— И онъ погладилъ его шаршавую голову жесткою, крупною рукою...— При мнѣ и кормится...

Вотъ гдѣ-то запричитала баба. Толпа кидается къ ней.

— Что съ тобою, бабушка?

— Маточки... отцы родные... охъ, бѣда пришла... Что я подѣлаю, горегорькая сиротинушка...

— Да что тебѣ?

— На базарѣ должно быть платъ потеряла.

— Дорогой платъ-отъ, что-ли?

— Дорогой, кормилецъ, дорогой. Три свѣтлушечки дала за него. Шестьдесятъ копѣекъ... Охъ, голубчики!

— Ну, полно выть, — выдвигается одинъ вологжанинъ.—Что платъ отъ? Новый купишь и шабашъ!

— Да въ емъ, отецъ, въ платѣ-отъ деньги мои кровныя... Ахъ, родимые, пятьдесятъ цѣлковичковъ, да билетъ. Голубчики вы мои... Легше бы скрозь землю...

Толпа молчитъ. Лица бородатыхъ слушателей смущены... Каждому близко къ сердцу такое несчастіе.

— Свои деньги, что-ль?

— Два десятка своихъ, а остатошные посбирала на Соловецкихъ угодничковъ. Какъ они теперь... Соловецкіе угоднички? Не по-ми-лу-ютъ... Голубчики, отцы-ы ро-одные!..

— А ты не горюй, — вступается монахъ, — ты не горюй. Вѣра твоя спасетъ тебя... Усердія одново довольно!

— Да, какже я до угодничковъ доберусь то, кормилецъ?

— На пароходѣ даромъ свеземъ.

— Родной ты мой... А билетъ-отъ?

— Какъ-нибудь... Не горюй... Поди въ часовню — помолись, какъ рукой сниметъ!

— Сниметъ?

— Сниметъ, какъ не снять, — загалдѣла толпа. — Ступай, матка, въ часовню... Сниметъ разомъ!

И старуха, плача, поплелась въ часовню.

Тутъ въ первый разъ мнѣ кинулось въ глаза различіе между монахами Троицко-Сергіевской лавры и Соловецкаго монастыря. Когда я ѣздилъ въ первую, меня въ подворьѣ встрѣтилъ монахъ въ рясѣ ліонскаго бархата, съ золотою часовою цѣпочкой на груди и кольцами на рукахъ. Тутъ же всѣ попадавшіеся на встрѣчу монахи носили толстаго чернаго сукна рясы и грубые крестьянскіе сапоги.

— Что у васъ, всѣ такъ одѣваются?— спросилъ я у перваго монаха.

— Какъ это то-есть?—недоумѣвалъ тотъ.

— Да такъ, лучше не носите одежды, какъ въ другихъ монастыряхъ?

— Нѣтъ, у насъ этого не положено. Потому намъ другой одежды не требуется. Мы вѣдь больше изъ крестьянъ. Въ прочихъ обителяхъ—можетъ, дворяне есть, ну, такъ тѣ пріобыкли. А намъ и то хорошо!..

Вотъ мимо проходятъ двѣ дѣвушки—богомолки. Глаза черные, темныя косы низко опускаются по спинѣ. Высокая соболья бровь оттѣняетъ загорѣлый, но красивый лобъ. Совершенно не сѣверный типъ!

— Откуда, молодка?

— А съ Пилтавской губерныи!

Такъ и есть—знойный, горячій югъ!..

Вотъ какой-то мѣщанинъ, какъ оказалось потомъ, яро-

славецъ, въ сѣромъ драповомъ халатѣ, тащитъ на плечахъ безногаго уродка. Тоже богомольцы. А тамъ за ними, словно фонъ картины, цѣлые десятки однообразныхъ сѣрыхъ армяковъ, въ перемежку съ синими сарафанами.

— Можно осмотрѣть, гдѣ помѣщаются богомольцы?

— А пожалуйте, вотъ по той лѣсенкѣ!

Мы поднялись — и вошли. Большія, выбѣленныя комнаты, съ нарами по серединѣ. Все чисто. Воздухъ свѣжъ, вентиляція устроена хорошо. Кучка богомольцевъ галдѣла о какихъ-то пошехонскихъ старушкахъ, дѣлающихъ чудеса на Ивановъ день. Въ углу слѣпой пѣлъ пѣсню объ Алексіѣ - Божіемъ человѣкѣ. Гнусливый, носовой напѣвъ смѣшивался съ густымъ храпомъ спавшаго на нарахъ судорабочаго. Въ другой комнатѣ—были женщины. Тутъ, какъ и слѣдовало ожидать, стоялъ гвалтъ неописанный. Двѣ, ветхія деньми старушонки съ утиными носами, рѣзко выдѣлявшимися на съежившихся въ кулачекъ личикахъ, перекорялись одна съ другою изъ-за какого-то калача. Старая бѣдняга-чиновница гордо сидѣла въ углу одна, не смѣшиваясь съ чернью. Побывавшая во всѣхъ городахъ и, разумѣется, во всѣхъ острогахъ, странница разсказывала о пупѣ земномъ, лично видѣнномъ ею въ Ерусалимъ-Голгофь-Гефсиманской, объ огнѣ, исходящемъ изъ внутренняго нутра Печорскихъ святителей, о стрѣлѣ, язвящей, но не пронзающей, о разныхъ пророческихъ явленіяхъ, о живомъ двуглавомъ орлѣ, находящемся, будто бы, въ золотой клѣткѣ, въ царскомъ дворцѣ въ Питерѣ; о стоглавъзміѣ, чуть было не пожравшемъ ее, потому что она, отправляясь въ Ерусалимъ-Голгофь-Гефсиманскую, помыслила о земномъ — о кофіѣ, тутъ-же откровенно признавалась она.

— Какъ же ты, матушка, — водой, чать, ѣхала въ святыя мѣста?

— Въ Ерусалимъ-Голгофь?

— Да.

— Все по сушѣ... Пѣшечкомъ все, на этихъ самыхъ ноженькахъ, родная!

— А моря не встрѣчала?

— Было, признаться, одно море, гдѣ фараонъ съ воинствомъ на колесницѣ—потопъ. Одначе, какъ мы подошли, такъ оно сейчасъ и отхлынуло. Мы по бѣлому, бѣлому песочку, съ золотыми и брульяптовыми камнями, такъ и прошли. Какъ на бережокъ вышли—вода опять сошлась. Чудо!.. И сколько чудесъ этихъ—не перечтешь. И все—чудеса разныя. Въ одномъ мѣстѣ водой дѣвствуетъ, въ другой—огнемъ, а въ третьемъ—ароматомъ на тебя пущаетъ... Да, сподобилась я, грѣшная, за мое сиротство горькое, да за добродѣтель мою. Смиреніе—великое дѣло передъ Господомъ!

Мы вышли отсюда.

Нужно было справиться о цѣнѣ переѣзда въ Соловки, на пароходахъ этого монастыря.

Въ конторѣ подворья намъ дали билеты на каюты I класса.

Каюта перваго класса, на 4-хъ человѣкъ, стоитъ въ Соловки и обратно 12 р., второго класса 8 р., мѣсто въ общей каютѣ перваго класса (въ два конца за все) — 6 р., во второмъ — 4 р., третьеклассныя мѣста на палубѣ—3 руб.

У Соловецкаго монастыря есть два парохода—«Вѣра» и «Надежда».

Другое подворье помѣщается въ Соломбалѣ у пароходной пристани; это двухъ-этажное зданіе, съ отдѣльнымъ флигелемъ, гдѣ помѣщается часовня. Мы еще будемъ имѣть случай разсмотрѣть его. Третье подворье находится въ Сумскомъ Посадѣ, Кемскаго уѣзда. Было еще четвертое, въ г. Вологдѣ, но оно уже давно продано частному лицу.

Выходя изъ воротъ Соловецкаго подворья, мы случайно увидѣли подъ самой крышей, въ выходящихъ на дворъ стѣнахъ его, маленькія окошечки. Оказалось, что практичные монахи устроили тамъ маленькія комнатки, которыя и сдаются въ наемъ разнымъ чиновницамъ мелкаго ранга. Тутъ ютится благородная и высокоблагородная нищета. Тутъ гнѣздится бѣдный людъ, утѣшающій себя тѣмъ, что

умереть въ Соловецкомъ подворьѣ, все равно, что умереть въ самомъ монастырѣ. Значитъ, все поближе къ царствію небесному.

— Много-ль у васъ богомольцевъ скопляется одновременно?—спросилъ я, уже выйдя изъ подворья, у подвернувшагося мнѣ монаха.

— Человѣкъ по 900 бываетъ!

— И все крестьяне?

— Крестьяне!

— Изъ какихъ больше губерній?

— Вятской, Пермской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, да почти со всей Россіи идутъ сюда. Какъ начнется судоходство, народъ и валитъ. Теперь еще поотошло. Все же въ годъ тысячъ двадцать пять перебываетъ, до тридцати доходитъ... Вы тоже къ намъ?

— Да.

— Поѣзжайте; есть, гдѣ помѣститься. У насъ мѣста святыя! Аѳонъ Русскій—наши Соловки!

И такъ, въ Русскій Аѳонъ!

I.

Пароходъ «Вѣра».

Мы отправились изъ Архангельска въ Соловки лѣтомъ 1872 года на монастырскомъ пароходѣ «Вѣра». Солнце въ городѣ пекло немилосердно. Все обѣщало спокойное плаваніе. На небѣ ни облачка, флаги на мачтахъ судовъ неподвижно повисли. Двина была зеркальная. Ни малѣйшей ряби...

Толпа на пристани казалась все меньше и меньше, отдѣльныя лица сливались въ одну массу и, наконецъ, исчезли вовсе, когда пароходъ, слѣдуя теченію рѣки, круто повернулъ направо.

Насъ въ каютѣ собралось немного: какая-то старая дѣва съ подвязанною щекою и маленькими, бойко бѣгавшими глазками. Толстый вятскій купецъ бесѣдовалъ въ углу о душеспасеніи, о приближеніи грядущаго града съ «батюшкой» — красивымъ старикомъ, отличавшимся тѣмъ хитро-добродушнымъ выраженіемъ лица, которое составляетъ едва ли не главную отличительную черту всѣхъ чисто-великорусскихъ физіономій.

Первые полчаса мы знакомились съ пароходомъ.

Тутъ все поражало насъ удивленіемъ. Командиръ парохода, рулевой, машинистъ, матросы — весь экипажъ его состоялъ изъ монаховъ. Странно было видѣть моряковъ въ клобукахъ, точно и быстро исполнявшихъ распоряженія своего капитана — небольшого, худощавого инока, зорко оглядывавшаго окрестности. Не слышно

было приказаній вовсе. Движенія его руки опредѣляли каждый шагъ корабля, превосходно выполнявшаго эту безмолвную команду. Высоко, на главной мачтѣ парохода, сверкалъ яркимъ, рѣжущимъ глаза блескомъ вызолоченный крестъ, вмѣсто флага. Вотъ на него опустилась, словно серебряная, чайка, и, отдохнувъ съ распростертыми крыльями одно мгновенье, она рипулась въ недосягаемую высоту такъ быстро, что у насъ невольно захватывало дыханіе, когда мы слѣдили за ея полетомъ. Рѣзкій, словно плачущій, крикъ ея донесся оттуда.

Палуба была вся загромождена богомольцами.

Всѣхъ пассажировъ пароходъ везъ около 450 человѣкъ.

Это — прекрасное винтовое судно, купленное монастыремъ за безцѣнокъ и крестьянами-монахами передѣланное для Бѣлаго моря. Легкій на ходу, быстрый пароходъ «Вѣра» совершенно приспособленъ къ этимъ капризнымъ и опаснымъ водамъ.

Мы втроемъ присѣли у самаго края кормы на кругѣ свернутаго каната и невольно заглядѣлись на широко разстилающуюся позади даль, окаймлявшую зеленовато-сѣрый просторъ Двинскаго лимана.

Направо и налѣво даль ограничивалась низменными, пустынными, зелеными берегами. Только изрѣдка убогое село сползало къ самой рѣкѣ. Кое-гдѣ, словно въ воздухѣ, висѣли бѣлыя колоколенки и куполы деревенскихъ церквей.

Порою изъ однообразной массы лѣсныхъ вершинъ, едва-едва замѣтныхъ въ отдаленіи, виднѣлись туманныя линіи еще болѣе далекихъ рощъ, точно окутанныхъ голубымъ флеромъ. Песчаныя промежи, сверкая золотыми извивами, тянулись вдоль зеленой каймы, то узкими, какъ остріе, чертами, то широкими, какъ ярко блестящіе щиты, отмелями. Съ парохода на нихъ можно было разглядѣть черныя точки вверхъ дномъ опрокинутыхъ карбасовъ; вблизи нихъ копошились и ползали въ разныхъ направленіяхъ еще меньшія точки.

Кое-гдѣ вдоль береговой линіи, будто крылья чаекъ, мелькали паруса. Они, казалось, вовсе не подвигались впередъ.

Въ самомъ центрѣ зеленой каймы, тамъ, гдѣ правая и лѣвая сторона ея почти смыкались передъ нами, висѣлъ въ голубомъ прозрачномъ воздухѣ бѣлый городъ; какъ мелкія искры блистали, мѣняя постоянно направленіе своихъ лучей, куполы церквей и соборовъ. Съ каждымъ движеніемъ парохода то выдвигались бѣлыя линіи набережной, то вырѣзывались бѣлые силуэты колоколенъ. Городъ поднимался надъ рѣкою все выше и выше. Казалось, между нимъ и уровнемъ воды легла смутная, иглистая полоса... она все ширилась и ширилась... искра за искрой пропадала надъ нею; бѣлая линія съуживалась и сокращалась... Вотъ и все погасло, только одна точка еще лучится, когда вглядишься въ эту даль. Одна слабая точка, да и та, кажется, высоко въ небѣ. И она потухла, и зеленые берега сомкнулись передъ нами.

А впереди были облака, вода и небо.

На самомъ краю его, какъ невѣдомый, чудный гористый край, постоянно мѣняя свои очертанія, вздымалась серебряная, матово-серебряная, съ золотисто-голубыми тонами полоса облаковъ... Воображеніе дорисовывало между этими фантастическими вершинами призрачныхъ горъ—глубокія, лѣсистыя долины, на тихихъ берегахъ бѣлые города, маленькіе, всѣ потонувшіе въ зелени. Такъ и манило туда, туда, далеко — въ эти поэтическія пустыни.

А капитанъ-монахъ опасливо глядѣлъ на эту, все выраставшую изъ-за моря кайму. Зоркіе глаза его какъ будто высматривали что-то грозившее пароходу. Не бурю ли?

Что за дѣло! Пока еще лазурь уходившаго въ недосягаемую высь неба была безмятежна, упругія волны смиренно лизали бока парохода, безконечный просторъ дышалъ красою мира и покоя.

Откуда-то съ берега вѣтромъ донесло какъ будто

звуки пастушьяго рожка... Да, это они. Цѣлый рой воспоминаній, красокъ, образовъ, голосовъ словно вспыхнулъ въ памяти. Такъ разомъ поднимается вверхъ встрѣвоженный рой пчелъ. Какою-то прелестью уединенія вѣяло отъ этихъ звуковъ... Мы, словно зачарованные, внимали имъ. И тихая грусть незримо неслышимо проникала въ сердце...

А берега казались все ниже и ниже, концы ихъ направо и налѣво все отходили отъ насъ, сливаясь съ сѣрымъ просторомъ лимана.

— Скажите, какая огромность!—послышалось за мною, и все очарованіе исчезло. Флюсъ въ юбкѣ наслаждался природой.

За одно это выраженіе я готовъ былъ выбросить ее за бортъ.

II.

Отецъ Іоаннъ—командиръ парохода.

Я поднялся наверхъ къ капитану.

Отсюда видъ становился еще шире. Казалось, что еще мигъ—и полусмытые берега лимана пропадутъ вовсе. Мимо насъ быстро проплыла поморская шкуна. На одну минуту въ глазахъ мелькнули двѣ невысокія мачты, три паруса и какой-то коренастый малый въ шерстяной фуфайкѣ, копошившійся на палубѣ. На кормѣ шкуны преспокойно спала поморка, въ аломъ кумачномъ сарафанѣ.

И снова пустынная ширь зеленовато-сѣрой воды.

Капитанъ парохода крайне заинтересовалъ меня своею наружностью. Небольшого роста, весь какъ будто состоящій изъ нервовъ и жилъ, онъ ни на одну минуту не оставался въ бездѣйствіи: то онъ сбѣгалъ внизъ къ рулю и самъ поворачивалъ его, избѣгая переносныхъ мелей, то опять зорко оглядывалъ окрестности, командуя [illegible]жу. Бѣлая парусинная ряса во всѣ стороны развѣ-

валась вѣтромъ, черный клобукъ торчалъ на затылкѣ, длинные, каштановые волосы обрамляли еще молодое, но серьезное и умное лицо, всѣ черты котораго обнаруживали мужество, силу и смѣтливость.

— Сколько поднимаетъ «Вѣра»?

— Пятнадцать тысячъ пудовъ!

— А на ходу пароходъ каковъ?

— Да безъ баласта девять узловъ въ часъ дѣлаетъ. Вотъ придемъ въ монастырь, поставимъ его въ доки, да перемѣнимъ винтъ, такъ еще быстрѣй пойдетъ!

— Дорого онъ достался монастырю?

— Тысячъ за двѣнадцать; восемь израсходовано на приспособленіе его къ Бѣлому морю. Разумѣется, ежели сообразить, что рабочіе у насъ даровые, то цѣнность «Вѣры» окажется еще выше!

— Такъ вы въ настоящее время не отправляете пароходы для передѣлки за-границу?

— Нѣтъ... Теперь мы и сами научились пароходы строить. Пароходъ «Надежду» мы сами выстроили. Вотъ для «Вѣры» винтъ отдѣлаемъ въ монастырѣ, въ собственныхъ горнахъ. Она еще недавно у насъ плохонько ходила. Винту не доставало хорошихъ приспособленій. Можетъ быть, слышали, что пароходъ Бѣломорско-Мурманской компаніи «Качаловъ» стоялъ въ нашихъ докахъ для починки; ну, мы высмотрѣли въ немъ новое устройство винта и сейчасъ же сдѣлали сами составной винтъ для «Вѣры».

— Какъ вы попали на пароходъ? Странно какъ-то видѣть монаха, командующаго судномъ!

— Да, вѣдь я съ четырнадцати лѣтъ по морю хожу. И за границею, и здѣсь!

— Ба! Я, вѣдь, значитъ о васъ-то и читалъ. Вы возили Диксона по Соловецкому монастырю?

— Я, самъ.

— Такъ вы и есть о. Иванъ?

— Я.

— Читали вы, что онъ пишетъ о васъ въ «Свободной Россіи»?

— Нѣтъ.

Я ему разсказалъ. Очеркъ Диксона оказался не совсѣмъ вѣренъ. Я воспользовался случаемъ, чтобы отъ самого отца Іоанна узнать исторію его жизни, полной самыхъ неожиданныхъ контрастовъ и приключеній. Онъ четырнадцати лѣтъ кончилъ курсъ въ Кемскомъ шкиперскомъ училищѣ. На поморскія шкуны и теперь не легко попасть воспитаннику этой школы. Наши поморы-судохозяева обходятся пролетаріями-лѣтниками, готовыми изъ-за хлѣба, да изъ-за податей наняться на суда. О. Іоанну дѣваться было некуда. Долго не думая, онъ поступилъ матросомъ на ганноверскій галіотъ, который нуждался въ русскомъ, такъ какъ, по случаю датской войны, онъ ходилъ подъ нашимъ флагомъ. Способный юноша только что сталъ свыкаться съ службою, какъ во время сильной бури, въ Нѣмецкомъ морѣ, галіотъ разбило о скалы, и изо всего экипажа спаслось только трое матросовъ. Однимъ изъ нихъ былъ нашъ соотечественникъ. Возвращаться домой ему не хотѣлось. Въ немъ кипѣли молодыя силы; сердце неудержимо рвалось впередъ, глаза смѣло глядѣли въ загадочныя дали будущаго. Добравшись до первой гавани, онъ поступилъ на нѣмецкое судно, обошелъ на немъ вокругъ свѣта и вернулся въ Германію, отлично узнавъ нѣмецкій языкъ. Тутъ подвернулся англійскій китоловъ, и о. Іоаннъ отправился въ южныя полярныя моря бить китовъ, потомъ ходилъ въ Ламаншѣ, въ Ирландскомъ морѣ, велъ жизнь кипучую, отважную до дерзости, полную огня и страсти. Вернувшись въ Лондонъ, онъ уже говорилъ по-англійски, какъ англичанинъ, хотя съ нѣсколько простонароднымъ выговоромъ. Потомъ опять рядъ скитальчествъ, рядъ морскихъ похожденій — то матросомъ, то шкиперомъ купеческаго корабля, то кочегаромъ на пароходѣ, то помощникомъ капитана на немъ же. Чего онъ не переиспыталъ въ это время! Онъ побывалъ подъ всѣми широтами, перезнакомился со всѣмъ, и образовалъ изъ себя отличнаго моряка-практика. Бродяжничая такимъ образомъ по

свѣту, онъ на какой-то набережной, въ Плимутѣ, услышалъ унылую русскую пѣсню, и сразу точно что-то оборвалось въ его сердцѣ. Вспомнилась далекая родина, забытая семья, скалистыя берега Поморья, гдѣ еще ребенкомъ онъ справлялся съ морскимъ карбасомъ, смѣло правя рулемъ противъ пѣнистыхъ валовъ. Съ тѣхъ поръ онъ не зналъ покоя. Родныя пѣсни его преслѣдовали повсюду. Задумается ли на палубѣ въ безсонную ночь, и кажется, что кто-то его кличетъ изъ далека; захочется ли пѣть — неудержимо рвутся изъ груди знакомые старые мотивы, столько лѣтъ забытые и въ одинъ мигъ воскресшіе въ его памяти. Чужбина ему стала ненавистна. Онъ чуть не дотосковался до чахотки, вернуться же было опасно. Россію онъ оставилъ самовольно, безъ паспорта прожилъ заграницею болѣе двѣнадцати лѣтъ— и настолько зналъ наши законы, что сильно опасался за себя. Долго еще онъ маялся такимъ образомъ и, наконецъ, рѣшился. Будь, что будетъ, а онъ вернется домой— хоть въ тюрьму. Острогъ на родинѣ казался ему милѣе привольнаго скитальчества по безпредѣльнымъ морямъ и океанамъ чужбины. Не долго было до исполненія. Онъ взялъ мѣсто на одномъ изъ пароходовъ, шедшихъ въ Архангельскъ изъ Ливерпуля, и, припавъ къ родной землѣ, поцѣловавъ ее и обливъ горячими слезами, добровольный изгнанникъ явился къ начальству. Мудрое начальство сейчасъ его — въ острогъ, къ ворамъ и разбойникамъ, въ одну съ ними камеру. Потомъ онъ узналъ прелести россійскихъ этаповъ. Прикованный съ шестью другими бродягами на одну цѣпь, онъ въ такомъ видѣ прошелъ въ Кемь, откуда уѣхалъ первоначально. Тамъ опять душный, смрадный острогъ, допросы, слѣдствія, цѣпи, и это— человѣку, привыкшему бороздить безконечные океаны, освоившемуся съ кипучею, полною огня дѣятельностью. Тутъ отецъ Іоаннъ, вѣроятно, искренно раскаялся въ патріотизмѣ. Здѣсь же онъ далъ обѣтъ цѣлый годъ, въ качествѣ простого рабочаго - богомольца, проработать св. Зосимѣ и Савватію въ Соловецкомъ монастырѣ, если удастся

избавиться отъ грозившихъ ему арестантскихъ ротъ. Судъ праведный, разумѣется, приговорилъ его къ ротамъ, но нашлись люди, принявшіе въ немъ участіе, и онъ былъ освобожденъ оттуда. Тотчасъ же, по обычаю, усвоенному населеніемъ Сѣвера, и согласно своему обѣту, онъ отправился въ монастырь «работать на св. Зосиму и Савватія». Въ монастырѣ его поселили въ казармѣ богомольцевъ-рабочихъ, и цѣлую зиму онъ проработалъ, не разсказывая о себѣ ничего. Трудъ ему доставался самый тяжелый, какой бы онъ едва-ли вынесъ, еслибы не одушевлявшая его мысль—отблагодарить Зосиму и Савватія за спасеніе отъ окончательной гибели. Тутъ онъ и таскалъ тяжести, и пилилъ доски, и рубилъ дрова, и занимался въ кожевнѣ, и былъ мусорщикомъ. Наконецъ, подошелъ іюнь мѣсяцъ, и монахи, еще не зная въ немъ моряка, выбрали его въ матросы. Пароходъ «Надежда» вышелъ изъ соловецкой гавани въ море. На самой серединѣ пути въ Архангельскъ разразилась страшная буря. Команда потерялась. Управлявшій кораблемъ и плохо знавшій свое дѣло монахъ путался, пассажиры своимъ смятеніемъ и отчаяніемъ еще увеличивали затруднительность положенія. А буря все усиливалась и усиливалась. Пароходъ потерялъ мачты, снасти изорвало въ клочки. Гибель казалась неизбѣжной. И вотъ, когда послѣдняя надежда была потеряна, когда одни шептали молитвы, заживо погребая себя, а другіе погрузились въ мертвую апатію — вдругъ на пароходѣ грянула громовая команда: все дрогнуло, матросы бросились по своимъ мѣстамъ. Всѣ обернулись къ капитану и на его мѣстѣ увидѣли отца Іоанна, самоувѣренно выступившаго на борьбу со стихіей. Онъ вдохнулъ свое мужество въ самыхъ робкихъ: энергическая дѣятельность смѣнила тупой ужасъ; новый командиръ цѣлую ночь, самъ стоя у руля, боролся съ разсвирѣпѣвшимъ моремъ, и уже въ полдень на другой день пароходъ тихо и благополучно входилъ въ архангельскій портъ. Такимъ образомъ отецъ Іоаннъ спасъ четыреста жизней и первое паровое судно монастыря.

Монахи не любятъ выпускать изъ рукъ полезныхъ людей, и о. Іоаннъ остался вольнонаемнымъ командиромъ монастырскаго парохода, съ жалованьемъ въ 300 р. и полнымъ содержаніемъ отъ обители. Тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ благочестивые иноки начали склонять дорогого имъ человѣка принять постриженіе. Хотя о. Іоаннъ и не высказывался никому, но понятно само собою, какую борьбу должна была выдержать эта страстная натура прежде, чѣмъ произнести обѣты отрѣшенія отъ жизни, добровольнаго самопогребенія. Наконецъ, онъ сдѣлался послушникомъ. Другіе до перваго постриженія ждутъ 8, 9 и 10 лѣтъ, а ему оно дано было въ первый годъ: ужъ очень нужный человѣкъ, какъ бы не одумался, да не ушелъ. Тотчасъ же вслѣдъ за постриженіемъ жалованье ему было сбавлено, ибо то, что онъ прежде дѣлалъ за деньги, теперь онъ долженъ былъ дѣлать по обязанности. Затѣмъ обитель дала ему второе постриженіе, послѣ котораго онъ имѣлъ случай везти на своемъ пароходѣ великаго князя Алексѣя Александровича. Когда Его Высочество предложилъ ему, кажется, 200 р. въ награду за трудъ, онъ отвѣтилъ: «монаху деньги не нужны; мнѣ было бы пріятно имѣть какую-нибудь память отъ васъ». И скорѣе согласился принять простые серебряные часы, чѣмъ деньги.

Когда я уѣхалъ въ Соловецкій монастырь, о. Іоаннъ уже получалъ только 100 р. въ годъ и 25 р. за навигацію въ видѣ награды. Всѣ эти деньги онъ тратилъ на выписку книгъ и инструментовъ по своей спеціальности. Послѣ уже я узналъ, что онъ получилъ третье постриженіе. Итакъ, іеромонахъ Іоаннъ крѣпкими узами связанъ теперь съ обителью. Да какъ послѣдней и не стараться залучить къ себѣ такого человѣка? О. Іоаннъ положительно лучшій морякъ во всемъ Бѣломорскомъ флотѣ. Жаль только, что его знанія пропадутъ даромъ, если онъ броситъ работать на томъ поприщѣ, гдѣ его способности такъ блестяще примѣняются теперь.

Ему станутъ платить, вѣроятно, очень немного.

— Я теперь работаю не на себя, а на св. Зосиму и

Савватія! — И въ его голосѣ слышалось глубокое религіозное волненіе, что ему, впрочемъ, не мѣшало зорко оглядывать окрестность, все болѣе и болѣе расширявшуюся передъ нами.

— И вамъ не хочется воротиться въ міръ?

— Въ мірѣ пагуба, въ мірѣ нѣсть спасенія!

И это говорилъ полный жизни, мужества и кипучихъ силъ молодой человѣкъ. Да, вѣра — великое дѣло, она дѣйствительно, движетъ горами! Кто бы могъ подумать, что подъ этою смиренною рясой хоронится жизнь, богатая такими сказочными переходами, событіями!

— И вамъ не скучно въ монастырѣ?—добивался я.

— Молитва и работа не допускаютъ скуки. Скучаютъ только тунеядцы!

Въ лицѣ о. Іоанна Бѣломорскій флотъ лишился человѣка, котораго ему не замѣнить нынѣшними своими капитанами. Это невознаградимая потеря.

Пока я размышлялъ о странной судьбѣ этого монаха, лѣвый берегъ Двины пропалъ вовсе, и въ сторонѣ передъ нами словно выросъ изъ однообразнаго сѣраго простора, мѣрно, ритмически катящихся валовъ, Мудюжьскій островъ, съ зеленой щетиной сосноваго лѣса и стройною круглою башней стараго маяка. Здѣсь тянется опасная мель. Тутъ же предполагается устроить станцію для спасенія погибающихъ при крушеніи судовъ.

Скоро мы были въ открытомъ морѣ...

III.

На палубѣ.

Палуба парохода была загромождена народомъ.

Богомольцы кучками сидѣли у бортовъ, у входовъ въ каюты, на свернутыхъ канатахъ, бочкахъ, ящикахъ, сундукахъ и узлахъ. Борты были унизаны головами. Всюду царилъ неумолкаемый шумъ. Около трехсотъ человѣкъ говорило, смѣялось, молилось и пѣло.

Изъ четырехъ-угольнаго отверстія трюма вырывались на свѣтъ Божій цѣлые снопы голосовъ. Тамъ, словно въ купели Силоамской, собралось множество слѣпыхъ и хромыхъ, глухихъ и болящихъ, всѣхъ чающихъ движенія воды. Калѣки въ невообразимой тѣснотѣ громоздились одни на другихъ. Сверху все это казалось цѣлою кучею тряпья, изъ-подъ котораго выглядывали изможденныя, измученныя лица, худыя, словно закостенѣвшія руки и голыя, струпьями и придорожною грязью покрытыя, ноги. Чѣмъ дальше къ угламъ, тѣмъ все это больше уходило во тьму и, наконецъ, совсѣмъ пропадало, только гулкій разноязычный говоръ позволялъ догадываться, что тамъ копошатся и отдыхаютъ кучки разнаго голутвеннаго и недужнаго люда.

И на верху народу было, что называется, не въ проворотъ.

Больше всего вятскихъ крестьянъ. Понурые, испостившіеся, они сидѣли артелями, безмолвно поглядывая другъ на друга, и только нѣкоторые подавали признаки жизни, съ трудомъ пережевывая черствый хлѣбъ. Олончане шумѣли больше всего. Между ними пропасть бабъ, и всѣ какія-то иконописныя, съ сухою складкою узкихъ губъ, на старческомъ, застывшемъ въ одномъ выраженіи отрицанія прелестей суетнаго міра, лицѣ. Кое-гдѣ бродили заматорѣлые въ бродяжествѣ странницы, тѣ обшмыганныя, юркія, на все готовыя странницы, которыя по землѣ русской и въ одиночку, и цѣлыми вереницами тянутся отъ однихъ угодниковъ къ другимъ, то на перепутьѣ пѣжа свои усталыя ноженьки въ купецкихъ благолѣпныхъ хоромнахъ, то попадая въ темницы тѣсныя, къ татямъ и разбойникамъ. Трудно сказать, что и въ настоящее время безъ этихъ ходячихъ четьи-миней дѣлали бы мастодонты и плезіозавры нашего торговаго міра. По захолустьямъ и теперь для шестипудоваго негоціанта нѣтъ выше наслажденія, какъ, попарившись въ банѣ, послушать за чайкомъ такую словоохотливую странницу, которая, по ея собственному признанію, отъ юности отвратила лицо свое отъ житія блуднаго, отъ міра прелестнаго, возлюби-

наипаче всего мати-пустыню прекрасную и обители святыя, благочестіемъ иноковъ и памятію угодниковъ своихъ, словно каменіемъ драгоцѣннымъ, украшенныя...

Были тутъ и странники. Это народъ — строгій, серьезный, неподвижный, съ устоемъ. Изъ-подъ черной, свалявшейся на головѣ, скуфейки зорко глядятъ острые, насквозь васъ пронизывающіе глаза; клочья сѣрыхъ, запылившихся волосъ выбиваются и на лбу, и по сторонамъ лица. Сѣрую изъ грубаго крестьянскаго сукна ряску охватываетъ широкій ременный поясъ. Въ рукахъ—посохъ, ноги—босы, а изъ-подъ ряски иногда выглядываетъ власяница. Только крупныя, алыя губы дышатъ чѣмъ-то инымъ, не аскетическою замкнутостію, порвавшей всѣ свои связи съ міромъ жизни, а чувственнымъ, жаднымъ, неудержимымъ стремленіемъ къ этому самому міру, къ этому самому блудному и піаному житію. Но пусть только этотъ гражданинъ лѣса и проселочной дороги замѣтитъ на себѣ посторонній взглядъ: въ одинъ мигъ погаснутъ глаза, на лицѣ разомъ отпечатлѣется стереотипная, иконописная сухость и строгость, губы какъ-то подберутся внутрь, и богатырская грудь станетъ впалой, и голова словно войдетъ въ плечи, и цѣпкія, крупныя руки благочестиво сложатся въ крестное знаменіе. Они на пароходѣ при другихъ, на улицахъ большихъ городовъ, въ монастырскихъ подворьяхъ сторонятся отъ странницъ, обзывая ихъ чертовыми хвостами, блудницами вавилонскими. Тутъ, разумѣется, говоритъ зависть. Страннику никогда не усвоить того юркаго, увлекательнаго языка, никогда не съумѣть съимпровизировать на мѣстѣ разсказы о чудесахъ и подвигахъ, о великихъ видѣніяхъ въ нощи, о князьяхъ власти воздушныя, на которые такъ щедры и изобрѣтательны странницы.

Между народомъ бродили и монашки-подростки. Это дѣти, одѣтыя въ костюмъ монастырскихъ послушниковъ. Возрастъ ихъ колеблется между 9 и 15 годами. Тутъ въ нихъ еще замѣтна какая-то робость, неумѣлость, но мѣсяца черезъ два—въ монастырѣ ихъ не узнать. Это большею

частію сыновья зажиточныхъ крестьянъ Архангельской губерніи, а также Вологодской, Вятской, Пермской и Олонецкой; отцы ихъ дали обѣтъ послать дѣтей въ монастырь на одинъ годъ для работы на Соловецкихъ угодниковъ. Какъ обитель воспользовалась этою живою силою, будетъ разсказано ниже. Тутъ же нельзя не выразить тяжелаго впечатлѣнія, производимаго этими молодыми, смѣющимися лицами, этими бойкими деревенскими парнишками, отъ которыхъ такъ и вѣетъ веселостью, но одѣтыми въ полу-монашескую черную одежду, знаменующую полнѣйшее и непримиримое отрицаніе жизни со всѣмъ ея свѣтомъ и тепломъ, со всѣми ея радостями и печалями. Монашки-подростки, прожившіе на Соловецкихъ островахъ годъ, побывавшіе затѣмъ дома и теперь возвращавшіеся обратно въ обитель добровольно, съ цѣлью остаться тамъ навсегда, носили уже на себѣ совершенно иной отпечатокъ. Ни одного рѣзкаго движенія, ни одного лишняго взгляда, на ихъ свѣжихъ лицахъ ни луча, ни смѣха. Они до непріятнаго подражали взрослымъ инокамъ. Та же спокойная, строгая осанка, та же размѣренность движеній, тѣ же опущенныя рѣсницы. Видна дисциплина самая безпощадная. Если бы возможно—малые сіи были бы большими аскетами, чѣмъ ихъ идеалы - взрослые и вполнѣ освоившіеся съ своею ролью монахи.

Только архангельскія мѣщанки безъ умолку трещали о своихъ дѣлишкахъ, занявъ лучшія мѣста между мачтами и у бортовъ. Тутъ живо переходили изъ рукъ въ руки чайнички, чашки съ чаемъ, кофеемъ, пироги и всякая снѣдь. Увы! Еслибы они знали, какую тяжелую участь приготовляли себѣ впереди.

Общая картина палубы была весьма эффектна.

Яркія наряды женщинъ, группы скученнаго народа, все это облитое знойными лучами яркаго лѣтняго солнца, все это двигавшееся, суетившееся, шумѣвшее. Въ кормовой части на платформѣ помѣщались пассажиры «почище», восторгаясь картиною открывавшагося впереди моря и повѣрявшіе другъ другу свои впечатлѣнія.

Я вошелъ туда.

Въ одной группѣ шелъ разговоръ о расположившихся внизу крестьянахъ. Мнѣ и прежде кидались въ глаза ихъ лохмотья и особенно измученныя, даже здѣсь выдѣлявшіяся какою-то натугою, лица. Казалось, цѣлыя поколѣнія нищенства, кабалы и неволи создали такія осунувшіяся черты, такіе равнодушные терпкіе взгляды. Рука невольно тянулась въ карманъ за подаяніемъ.

— Вы дѣйствительно думаете—убогіе? — разсуждалъ вятскій купецъ, одинъ изъ тѣхъ, которые готовы задушить своего рабочаго человѣка, чтобы только выжать изъ него лишній грошъ въ свой карманъ.

— Да, поглядите на нихъ, такъ голодомъ и несетъ!

— Потому что они добровольно голодали всю дорогу, именемъ Христовымъ питаясь. А знаете, что между ними есть такіе, что несутъ въ монастырь по 100 и по 150 рублей, завернутыхъ въ тряпкѣ. Спросите вонъ у монаха!

Спросили. — Бываетъ, да рѣдко... Все же случается. Одинъ пришелъ такой-то, триста рублей принесъ.

— Да вѣдь это пищіе!—вырвалось у меня.

— Нѣкоторые изъ нихъ только Христа ради нищіе. Такой нищій какъ придетъ, такъ мало-мало десять цѣлковыхъ вывалитъ, а нерѣдко и пятьдесятъ, и сто. Усердіе къ святынѣ! Поди, у другого и дома ѣсть нечего —а тоже на благолѣпіе обители отъ души жертвуетъ свою лепту. Есть, что коровенку свою продаютъ ради этого.

— Хороша лепта для крестьянина—цѣлый капиталъ!

— И какой еще капиталъ, семья на ноги встанетъ!

— Для Бога, господа, больше трудятся... Для Господа-Бога. Приверженность эту чувствуютъ.

— Разспросите вонъ у того, у кривого-то,—обратился ко мнѣ вятчанинъ,—какъ на него въ Орловскомъ уѣздѣ разбойники напали. Смѣху, то-есть, подобно. Передъ тѣмъ одинъ мѣщанинъ ѣхалъ—того ограбили и убили. Ну, а этого, какъ поймали, сейчасъ: «куда идешь?» — Въ Соловки... «Врешь, сучій сынъ. Кажи мошну». А у насъ знаете, коли кто идетъ къ угодникамъ, такъ все село

поминальныя записки даетъ, о вѣчномъ или срочномъ тамъ поминовеніи. Этакихъ документовъ у другого цѣлый возъ. Тотъ сейчасъ разбойнику кажетъ мошну, смотрятъ— дѣйствительно, что въ Соловки идетъ человѣкъ... Ну, говорятъ, ступай, помолись за насъ грѣшныхъ, потому ты, значитъ, о душеспасеніи... А атаманъ ихній вынимаетъ изъ кошеля своего двадцатьпятную, — на, говоритъ, запиши и меня, чтобы по гробъ моей жизни, потому какъ я во многомъ грѣшенъ... Въ Анзерскомъ, говоритъ, скитѣ запиши на вѣчное поминовеніе и отдай пять рублевъ, ну, а двадцать угодникамъ въ кружку. Закажи молебны о здравіи и въ кружку... А одначе сапоги съ него сняли, босымъ такъ и пустили.

— Извѣстно, народъ отчаянный... Легкій народъ.

— У насъ тоже крестьянинъ одинъ былъ — богачъ. Пообѣщался въ Соловки, въ видѣ нищаго то-есть. Такъ всю дорогу въ тряпкахъ и прошелъ. Милостыню просилъ. На грошъ хлѣба не покупалъ—все именемъ Христовымъ. А какъ въ обитель пришелъ, сейчасъ пятьсотъ... Ну, только домой воротился и закурилъ, и закурилъ... Потому, говоритъ, мнѣ все нонѣ простится... Великій я, говоритъ, передъ Богомъ подвигъ сотворилъ... Вотъ они пищіе какіе. Другой, можетъ, какіе грѣхи этимъ замаливаетъ.

— У Господа милостей много! Особливо ежели черезъ угодниковъ!—согласился монахъ.

Пароходъ начинало слегка покачивать... У многихъ уже вытянулись лица.

Воплощеніе насморка и флюса стонало у кормы, меланхолически поглядывая на окружающихъ.

Мы приближались къ бару.

— Ну, будетъ качка!—замѣтилъ мимоходомъ матросъ, проходя къ рулю.

Я оглядѣлъ небо. Весь сѣверо-западъ затягивало жемчужными, золотившимися по краямъ тучками. Волны становились крупнѣе и крупнѣе... Кое-гдѣ змѣились гребни бѣлой пѣны, и отдаленный гулъ все ближе и ближе подходилъ къ пароходу.

— Вамъ бы лучше въ каюту! — пригласилъ монахъ меланхолическую дѣву, весьма внимательно разсматривавшую что-то за кормою. Она наклонилась еще ниже, цѣпляясь за края борта.

— Уведите ее!—приказалъ рулевой монахамъ-послушникамъ. И еще недавно увлекавшаяся прелестями моря, а теперь первая жертва его—пассажирка подъ руки была уведена съ палубы.

IV.

Сибирячка.

Проходя между народомъ на палубѣ, я невольно остановился у одной группы. Ее составляли: въ центрѣ — слѣпецъ - старикъ, который, и сидя, опирался о посохъ. Жаркій лучъ солнца золотился на голомъ черепѣ, охватывая за-одно и не зрячіе глаза, и дѣтски-наивно улыбающееся сморщенное лицо. Изъ-подъ открытаго ворота посконной рубахи во всѣ стороны торчали углы костей. Рядомъ съ нимъ, пониже, на какомъ-то жиденькомъ узелкѣ помѣщалась небольшая худенькая дѣвушка съ робкимъ лицомъ и точно разъ когда-то испугавшимися и въ одномъ выраженіи страха застывшими глазами. Синій крестьянскій сарафанъ висѣлъ на костлявыхъ плечикахъ. Она только что начала сосѣдкѣ своей разсказывать о многотрудномъ пути, который довелось пройти ей до Архангельска.

— Я сама изъ Иркутскаго-города, въ Сибиряхъ это!

— Нну! У меня братанъ тамъ, на поселкѣ. Что-жъ ты сюда, по усердію, или по обѣщанію родителевъ?.. Тутъ больше по родительскому приказу бываютъ...

— Нѣтъ, сама. Потому я съ малолѣтства по обителямъ!

— А меня грѣшную только сей годъ Господь сподобилъ. Тебя какъ же это одну мать пустила?

— Много тутъ было... горя разнаго. Пять годовъ это дѣло задумано. Все съ отцомъ совладать не могла!

— А у тебя отецъ-то кто?

— Мѣщанинъ торгующій.

— Ну!? Чтожъ ты это съ сытой то купецкой жизти... Поди, на пуховикѣ спала...

— Судьба, знать!

— Давно ли ты оттуда?

— Семой мѣсяцъ!

— И все одна? Или со старикомъ?

— Нѣтъ. Старика-то я подъ Шадринскомъ нашла. Не родной.

— Извѣстно, кому какая судьба. Поди, сестры, коли есть, по праздникамъ пироги ѣдятъ, да съ утра до ночи на красу свою дѣвичью любуются. А ты на—поди! Босая всю путину прошла?

— Отъ Томскова-городка босая, потому какіе башмачонки были—совсѣмъ развалились!

— Ну, это тебѣ все зачтется. Много ты можешь согрѣшить теперь, потому твой подвигъ великъ. У Бога все на счету.

— Ужъ сколько и били меня, какъ сказала, что въ Соловки хочу.

— Родители?

— Они. А и пошла-то я, чтобъ, значитъ, родительскіе грѣхи замолить. Первый разъ я, не спросясь, пошла, безъ виду. Ну, меня верстъ за двѣсти отъ Иркутскаго и имали... И по этапу домой приволокли. Потомъ я опять ушла—отецъ на лошади догналъ. И на цѣпи сталъ держать. Мѣсяца три не спущали, однако, ради дня ангела—ослобонили. Сколько одного бою было—страсть. На смерть били!

— Ахъ, ты—болѣзная. Ишь, какъ тебя Господь сподобилъ! Все, милая, зачтется!

— Тогда я и сказала родителямъ: сколько ни калѣчьте, а воли моей съ меня не снимете. Потому было мнѣ видѣніе... Святой Зосима во снѣ являлся и ободрялъ на подвигъ... Отцовскіе грѣхи, говорилъ, замоли... Три раза было видѣніе. Тогда и задумала я идти—къ отцу. Ска-

зала ему—позеленѣлъ: одначе смолчалъ. Ступай вонъ,—говоритъ,—чтобъ и духу твоего не пахло... На утріе опять къ нему,—онъ за волосы и давай меня топтать. До безчувствія было. Переждала я еще день и опять про то же,—вдругорядъ оттаскалъ. Я въ третій... Какъ сказала я въ третій, тутъ его за сердце и забрало... Заплакалъ. Снялъ икону, благословилъ, какъ слѣдуетъ. Иди,—говоритъ,—къ святымъ угодничкамъ и за насъ помолись. На другой день сряжаться стали. Далъ онъ мнѣ два ста рублей на дорогу, да три ста угодникамъ, паспортъ и все такое... Ну, а на третьи сутки опять побилъ.

— Ну, и родитель у тебя!

— Потому обидно, что безъ его воли пошла.

— Что-жъ ты все пѣшкомъ?

— Все. Деньги, какія дали—несу угодникамъ.

— А кормилась въ дорогѣ какъ?

— Именемъ Христовымъ... Побиралась.

— Много, много нонѣ согрѣшить можешь, и все съ тебя за это снимется. Ну, а старичокъ слѣпенькій сродственникъ тебѣ, что ли?

— Какой родичъ! Подъ Шадринскомъ на дорогѣ нашла. Онъ съ мальчикомъ ходилъ, да мальчикъ бросилъ его, убегъ... Ну, я и подумала, что Господь мнѣ его послалъ, чтобъ я еще потрудилась. Такъ и прошли вдвоемъ. И назадъ поведу до Шадринскова.

— А тамъ какъ?

— На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ взяла—тамъ и оставлю.

— Посередь поля?

— А то какъ же, гдѣ Господь послалъ!

— Да онъ помретъ!

— Ужъ это какъ Богъ. Потому, гдѣ взяла — туда и предоставить его должна. Иначе какъ?

— А тамъ опять къ родителямъ?

— Да, годикъ пережду. Потомъ въ Іерусалимъ-градъ.

— А ты бы замужъ... Поди, женихи были?

— Были!.. — И худенькое личико дѣвушки все перекосило ненавистью.—Были... Какъ не быть, погубители!

— Что-жъ, ты не пошла?

— И не пойду. Наглядѣлась, какъ батюшка маму бьетъ.. Всѣ они такіе. На тиранство одно идти, что ли?

— Безъ этого ужъ нельзя... Одначе тоже съ опаской бей!...

— Лучше христовой невѣстой, по святымъ мѣстамъ ходючи, да родительскіе грѣхи замаливаючи...

V.

Монашекъ-подростокъ.

Тятенька мой торговою частью занимаются, тоже и подрядами, когда случится. Разъ онъ одинъ подрядецъ взялъ—мостъ строить. Дѣльцо было бы выгодное, коли-бъ не пришлось съ чиновниками дѣлиться, а то какъ раздашь половину всего—такъ смотришь, у себя въ карманѣ и на лѣсъ не хватитъ. Оченно заскучали тятенька, одначе мостъ выстроили, изъ гнилья правда, да все же мостъ. Хорошо... Прошло это, напримѣръ, полгода, вдругъ ревизоръ изъ самаго Питера. Тутъ тятенька и очунѣли. Къ тому, къ другому, къ третьему — куда тебѣ! Давай, говорятъ, Богъ, чтобы своя голова уцѣлѣла на плечахъ... Дѣлай, какъ знаешь. «Помилуйте,—объясняетъ тятенька,—да вѣдь вмѣстѣ брали?» —Про то,—отвѣчаютъ,—одинъ Господь всемогущій знаютъ, да только никому не скажутъ. Зря не болтай и ты, потому за безчестье съ тебя большія еще деньги слупимъ, а подъ судъ!..» Оченно это ошарашило родителя. «Ну, теперь,—говорятъ,—никто, какъ Творецъ небесный!» Назавтра примѣрно назначено свидѣтельство. Съ утра тятенька обѣгали всѣ храмы Божіи и вездѣ молебны съ водосвятіемъ заказали, потомъ и обѣтъ дали: «коли минуетъ, значитъ, чаша сія, такъ быть единоутробному сыну моему у Соловецкихъ угодниковъ одинъ годъ, пусть тамъ работаетъ на святыхъ предстателей нашихъ». Ну, сейчасъ поѣхали къ мосту, а тамъ уже вся коммиссія собралась. Питерскій ревизоръ-то пѣтушкомъ, такъ

и поскакиваютъ. На нашихъ чиновниковъ и не похожъ, потому въ емъ и фигуры нѣтъ. У насъ квартальный изъ себя значительнѣе, потому онъ себя съ форсомъ держитъ. А этотъ только что чистенькій, да гладенькій. Тятенькѣ ручку подалъ, тятеньку это, значитъ, ободрило.

— Тятька у тебя, поди, большой плутъ былъ?

— По торговой части, по нашимъ мѣстамъ, безъ этого не обойдешься. Потому дѣлиться нужно. Другому вся цѣна грошъ съ денежкой, а ты ему пять сотенныхъ подай, потому жадность эта у нихъ оченно свирѣпствуетъ. Особливо ежели съ купцомъ дѣло имѣютъ.

— Народъ!

— Народъ нонѣ норовитъ, какъ бы тебѣ съ сапогами въ ротъ залѣзть.

— Кая польза человѣку, аще весь міръ пріобрящетъ, душу же свою отщетитъ?

— Ну-съ, хорошо. Осмотрѣлъ левизоръ мостъ и оченно доволенъ остался. У насъ изъ ели мостъ - отъ строенъ, а тотъ удивляется — какая молъ лиственница отличная! Отлегло отъ сердца у тятеньки... И закурили же они тогда.

— Какъ съ этого случаю не закурить!

— Ну - съ, хорошо. Закурили они. Двѣ недѣли изъ дому пропадали, маменька даже въ полицію объявку подали. Тамъ успокоили. Будьте благонадежны, говорятъ, тутъ окромя запою ничего нѣтъ. Супругъ вашъ, опричь трактировъ, нигдѣ, въ такихъ чтобъ мѣстахъ не бываютъ. Наконецъ, вернулись тятенька и сейчасъ меня. «Собирайся, — говорятъ, — въ монастырь, великое есть мое усердіе, и значитъ, чтобъ ты тамъ годъ, тихо, смирно, благородно, потому, можетъ быть, еще такой случай будетъ, такъ угодничковъ Божьихъ обманывать не годится... Пригодятся! Великіе они за насъ грѣшныхъ молитвенники и предстатели. Помни это!» И таково ли все ласково, а допрежь того на всякой часъ тычокъ былъ.

— У васъ, у купцовъ, насчетъ этого оченно неблагородно!

— Невѣжество, что говорить!

— Одначе и не учить нельзя!

— А только бей съ разумѣніемъ. Любя, бей. Наказуй по человѣчеству!

— Что говорить! Извѣстно—господа купцы, поди, не одну скулу вывернутъ.

— Ну-съ, хорошо... Снарядили меня, подрясникъ тонкаго сукна сшили, скуфейку бархатную—все, какъ слѣдуетъ, и отправили. Какъ пріѣхалъ я въ монастырь, словно въ рай попалъ. Благолѣпіе, смиренство, насчетъ обращенія — благородно. Точно я опять на свѣтъ родился.

— Работалъ?

— Какъ же! По письменнной части занимался... Какъ пришло время къ отцу ѣхать, и заскучалъ я... А тутъ отцы-иноки: оставайся у насъ, потому въ мірѣ трудно, въ мірѣ не спасешься. У меня, говорю, невѣста есть.— «Оженивыйся печется о женѣ, а не оженивыйся о Господѣ»... Думалъ я, думалъ, наконецъ, и порѣшилъ въ монастырѣ оставаться. Тятенька сами пріѣзжали. Ничего, не попрепятствовали; живи, говоритъ, потому за твои молитвы Господь меня не оставляетъ!

— Много у васъ изъ купцовъ?—вмѣшался я.

— Изъ купцовъ во всемъ монастырѣ—человѣкъ шесть наберется!

— А остальные?

— Изъ крестьянъ все..., сами увидите нашу обитель пресвѣтлую.

Монашекъ-подростокъ говорилъ медовымъ, пѣвучимъ голоскомъ, поминутно закатывая глаза вверхъ.

— Много у васъ, поди, чудесъ?—вступила въ разговоръ синяя чуйка.

— Чудесовъ у насъ довольно!

— Что говорить! А тятенька вашъ какой губерніи будутъ?

— Изъ Сибири.

— Далеконько... Одначе, и у насъ по Волгѣ насчетъ

подрядовъ—вольно. Дѣло чистое. Съ казной—не съ человѣкомъ... Никого не грабишь, а деньги сами идутъ!

— Какъ кому Господь!

— Извѣстно, безъ него куда уйдешь... По всей жизни такъ-то.

— Одначе и угодники помогаютъ. Въ болѣзняхъ примѣрно!

— Всякое дыханіе хвалитъ Господа!

— Вѣрно твое слово!

VI.

Казни египетскія.

Качка становилась все сильнѣе и сильнѣе.

— Ну, будетъ потѣха, — замѣтилъ морякъ-монахъ другому, машинисту, только что выскочившему изъ камеры, гдѣ помѣщался котелъ. На этомъ тоже была скуфейка, только онъ снялъ рясу. Все его лицо было словно обожжено зноемъ и окурено дымомъ. Онъ съ наслажденіемъ вдыхалъ свѣжій, холодный воздухъ, навѣваемый все крѣпчавшимъ сѣвернымъ вѣтромъ.

— А что, сиверко?

— Да, вишь, оно—боковая и килевая!

— Искушеніе!

Почти вся палуба была покрыта мучениками. Вопли и стоны раздавались всюду. Больные быстро теряли силу; послѣ первыхъ двухъ пароксизмовъ они неподвижно лежали, не имѣя силы даже повернуться «съ одного галса на другой», какъ объясняли моряки-монахи. Нѣкоторыхъ перекатывало съ одной стороны парохода въ противоположную.

— Господи!.. Око всевидящее!..

— Ой, труденъ путь!

— Только-что чайку попила, и таково ли пріятно попила!..

— Помру, отцы родные!

— Монашки благочестивые,—бросьте вы меня, рабу, въ море, потому нѣтъ моей моченьки!

— Грѣхи мои тяжкіе!. За всякій-то грѣхъ теперь... ой...

— Собрать на молебенъ надо бы. На Зосиму и Савватія!.. Молебенъ угодничкамъ! — предлагали монахи, по силѣ возможности.

Публика, разумѣется, струсила еще больше. Молебенъ—значитъ, есть опасность. Старухи завыли, какъ сумасшедшія. Юноша въ гороховомъ пальто, полчаса назадъ бодро пожиравшій магнезію, на томъ резонномъ основаніи, что съ кислотами желудка магнезія образуетъ нерастворимыя соединенія и предотвращаетъ рвоту, катался теперь по палубѣ, призывая на помощь святого Тихона Задонскаго и обѣщаясь, по прибытіи въ монастырь, заказать три молебна съ водосвятіемъ. Куда дѣвалась и химія: онъ чуть-ли не громче всѣхъ требовалъ молебна, сознаваясь во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ.

— Полноте трусить! Никакой опасности нѣтъ!—утѣшалъ его отецъ Иванъ.

— Какъ нѣтъ опасности? Ой, свв. Зосимъ и Савватій... Помоги мнѣ грѣшному. А я еще магнезіи. Вотъ и нерастворимыя соединенія. Святый Боже! Нельзя-ли повернуть обратно въ городъ? Пожалуйста, поверните обратно!

Наступала ночь, а волненіе все усиливалось. Паруса собрали: вѣтеръ, пожалуй, изорвалъ бы ихъ въ лоскутья. Валы поднимались выше бортовъ корабля. Пароходъ то вздымался на ихъ гребняхъ, то вдругъ его сбрасывало внизъ, въ клокочущую бездну. Бывали моменты, когда онъ становился почти перпендикулярно. О. Иванъ дѣлался все озабоченнѣе. Вотъ одинъ валъ опрокинулся на палубу и прокатился по ней отъ кормы къ носу.

— Сгоняй народъ въ каюты и трюмы!

Въ одну минуту палуба была очищена. На ней остались только о. Иванъ, да матросы, которыхъ сбивало съ ногъ каждымъ порывомъ неудержимо ревущаго нордъ-оста... Отверстія трюмовъ и люки каютъ были закрыты.

— Будетъ буря!—замѣтилъ сквозь зубы о. Иванъ.

— Никто, какъ Богъ... Молебенъ бы!— робко проговорилъ рулевой.

— Стой у руля, да гляди, куда правишь. Ишь разыгралась какъ!..

Я сошелъ внизъ, въ каюту второго класса.

— На дно идемъ!—слышались всхлипыванія батюшки протопопа.

— Господи! Скажи ты мнѣ, Христа ради, давно мы по дну плывемъ?—обратилась ко мнѣ микроскопическихъ размѣровъ старушка...

— Ну, что, какъ ваша магнезія? — спросилъ я у юноши.

— Не-по-мо-га-етъ! А по химіи выходитъ хоро... Святители!.. Ой, грѣшенъ я, грѣшенъ!—И опять онъ заползалъ по полу.

— Батюшка,—приставала къ попу толстая барыня.— Кай меня... Что-жъ ты?—немного погодя, повторяла она,— Какой ты попъ, коли каять не хочешь?

— Несообразная! Подумай, какъ я тебя каять буду, коли у меня ни ряски, ничего нѣтъ. Кайся вслухъ, при всѣхъ. Церковь это допускаетъ!

— Да у меня, можетъ, какіе грѣхи есть! Господи, неужели-жъ безъ исповѣди и помереть?

— Коли въ Соловки, къ угодничкамъ ѣдемъ, такъ все одно что съ исповѣдью...

— Ты говоришь, нонѣ треска дорога будетъ?

— Племянникъ сказывалъ, быдто въ Норвегѣ рыба дешевле!—слышалось въ углу.

— Господи! И сколько-то я грѣшила... Люди добрые, простите меня...

— За что простить-то?..—потѣшалась въ углу чуйка, на которую качка не дѣйствовала.

— Какъ послѣ мужа — вдовой значитъ — такъ съ военнымъ офицеромъ спуталась... Ахти, мнѣ, горькой... Пять годовъ спутамшись была.

— Го-го-го!..—хохотали въ углу.—А давно ли это было, мать?

— Тридцать годковъ, голубчики, тридцать годковъ... Простите вы меня!

— Господь проститъ... Го-го-го... Какъ же это ты, мать, съ офицеромъ?

— По дурости, да по неразумію... Года наши такіе... Опять же въ великій постъ ноне согрѣшила — яичкомъ искусилась...

— Пять годовъ, говоришь, съ офицеромъ?—любопытствовала таже чуйка.

— Пять годовъ, родненькій!

— Ну, если пять—ничего!

— За это тоже, поди, на томъ свѣтѣ не похвалятъ... Старуху точно обожгло.

— И сама я знаю, голубчики, что не похвалятъ... Наставьте, отцы, какъ мнѣ мой грѣхъ замолить?

— А какъ китъ-рыба насъ въ окіанъ-море поташитъ?—пристала ко мнѣ другая старушка.

— О, Господи, бѣда это наша пришла!

— Вѣруй въ Бога—главное! — наставлялъ попъ. — Вотъ сказано: не вѣсте ни дня, ни часа... Всѣ, всѣ здѣсь помремъ. Дѣточекъ только своихъ жалко... Какъ-то вы одни сиротами останетесь. Кто-то пріютитъ васъ!.. Вотъ оно—вольнодумство наше...

— Да неужли-жъ мы въ самомъ дѣлѣ потонемъ? — встрепенулся вдругъ молчаливо сидѣвшій въ углу купецъ.

— Ужъ потонули, голубчикъ, ужъ потонули!

— Боже мой!.. Какъ же я тапереча буду... Праведники!

— Ужъ потонули... Всѣ потонули... На тридцать верстовъ, можетъ, подъ землю ушли...

VII.

Море.

Утромъ, на другой день по отплытіи изъ Архангельска, когда я вышелъ на палубу парохода, во всѣ стороны передо мною разстилалась необозримая даль сѣровато-

свинцоваго моря, усѣяннаго оперенными гребнями медленно катившихся валовъ. На небѣ еще ползали клочья разсѣянныхъ вѣтромъ тучъ. Свѣжій попутничекъ надувалъ парусъ. Тяжело пыхтѣла паровая машина, и черный дымъ, словно развернутое знамя, плавно разстилался въ воздухѣ, пропитанномъ влагой...

На передней части парохода стоитъ ветхій деньми старецъ. Волоса его, рѣдкіе, серебристые, развѣваетъ вѣтеръ, лохмотья плохо защищаютъ тѣло, впалая грудь чуть дышетъ, но взглядъ его неотступно прикованъ къ горизонту. Что онъ тамъ видитъ—въ этомъ безграничномъ просторѣ влаги, сливающемся съ еще болѣе безграничнымъ просторомъ неба? Вотъ онъ снимаетъ шапку и медленно творитъ крестное знаменіе. Онъ молится. Для него это море—громадный храмъ, въ туманной дали котораго, тамъ, гдѣ-то на востокѣ, возносится незримый, невѣдомый алтарь.

Да, море дѣйствительно храмъ. И ревъ бури, и свистъ вѣтра, и громовые раскаты надъ нимъ, это только отголоски, отрывочно доносящіеся къ намъ звуки нѣкоторыхъ трубъ его органа, дивно гремящаго тамъ, въ недоступной, недосягаемой высотѣ—великій, прекрасно охватывающій все небо и землю гимнъ.

Вотъ, сквозь клочья сѣрыхъ тучъ прорвался и заблисталъ на высотѣ широкій ослѣпительный лучъ солнца—и подъ нимъ озолотилась цѣлая полоса медленно колыхающихся волнъ... Вотъ новыя тучи закрыли его.

Божество незримо, но присутствіе его здѣсь чувствуется повсюду.

VIII.

Вятскіе хлѣбопашцы.

— Откуда Господь несетъ, кормильцы?

— Изъ Вячкой.

— А изъ уѣзда какого?

— Орловска...

— Знаю, хлѣбородная сторонушка.

— Ничаво... Хлѣбъ родится... Дюже хлѣбъ родится!

— Вятка хлѣбу матка,—сказано!

— Не то что наша Архангельская губернія.

— Поди, много хлѣба продаютъ?

— Какъ не продавать!.. Сами для себя, бываетъ, съ мякиной мѣшаемъ да ѣдимъ... Почти весь въ продажу идетъ.

Я, разумѣется, не повѣрилъ.

— Какъ Богъ святъ, да мы, милой, рѣже вашего архангельца-трескоѣда видимъ цѣльный хлѣбъ-отъ. Вѣрно твое слово, что хлѣба у насъ не впроворотъ, а только другихъ промысловъ у насъ нѣту, недоимки одолѣли... Ну, а хлѣбъ—дешевъ, а хлѣбъ дешевъ—и мужикъ дешевъ. Коли-бъ цѣна на рожь стояла настоящая, мы бы половину хлѣбушка съѣли сами, а другую продали. А то, вѣрь, крещеная душа, какъ передъ истиннымъ Богомъ, Царемъ небеснымъ, два лѣта назадъ по двоегривенному маклакамъ за пудъ сдали. Впередъ, значитъ...

— Хоша бы и по двоегривенничку—да и то денегъ не видимъ. Съ зимы влѣзли въ долгъ, словно въ петлю, ну, и бьемся въ ей... Да ты еще хлѣбъ предоставь на мѣсто купцамъ. Вымолотишь его осень—распутица, пути нѣтъ, жди зимы; какъ зима хватитъ, навалишь хлѣбушка въ сани и везешь. Морозы, вьюга... Сколько животовъ на дорогѣ поколѣетъ—страсть! Пріѣдешь въ Орловъ—въ контору, свѣта Божьяго не видишь. Все-то лицо потрескается, скрозь губы кровь идетъ, носъ горой раздуетъ. Моли Бога, что самъ цѣлъ остался!

— А въ городу, — подхватилъ первый,—опять прижимка. Какъ привезъ, глядь—цѣну сбили, отдашь хлѣбъ ни за грошъ, да и пойдешь домой ни съ чѣмъ!

— А и урожаи когда — не легше, потому дешевлѣ купцы эти за хлѣбъ даютъ... Аспиды!

— А ты не ругайся! Въ кое мѣсто идемъ?

— Больно нутро распалилось, потому у меня прош-

лой зимушкой чуть съ голодухи вся семья не поколѣла. Тоже, поди, чувство имѣемъ. Невесело—на бабу, да на дѣтокъ малыхъ глядѣть. Душа рвется. Не псы какіе, слава Богу!

— Вотъ и понимай, какова наша матка—Вятка!

— Какъ же вы, братцы, въ Соловки теперь?

— А мы по обѣщанію шли. Изъ одного мѣста всѣ—авось, полегчаетъ. Монахи, спасибо, на праходъ даромъ пустили. Очень оголѣли мы ужъ. Какіе достатки были—все ушло!

— Какіе у насъ достатки!

— Жизнь наша,—скажу я тебѣ, самая подлая. Сытости въ насъ настоящей нѣту, седни — не померъ и ладно. А завтра, можетъ, и помремъ. Давай молитвы читать, ребята; къ такому мѣсту плывемъ...

IX.

Бродяжка.

Монастырь былъ уже недалеко.

Въ носовой части парохода слышалось молитвенное пѣніе. Звуки мягко и плавно разносились въ безграничности морского простора. У самой кормовой каюты рапсодъ-олончанинъ пѣлъ объ Алексѣѣ божьемъ человѣкѣ, и нѣсколько богомольцевъ и богомолокъ благоговѣйно внимали ему. Это былъ слѣпецъ: голый черепъ, длинная сѣдая борода, прямыя и правильныя черты лица дѣлали его похожимъ на библейскаго патріарха, сидящаго у входа въ свой шатеръ, посреди выжженной солнцемъ пустыни...

Зеленыя лица показались изъ каютъ, осунувшіяся, измученныя качкой. Люди едва передвигали ноги, — но теперь пароходъ шелъ уже спокойно, миновавъ полосу морской бури. Попутный вѣтеръ надувалъ парусъ, и золотой крестъ на гротъ-мачтѣ неподвижно свѣтился надъ этимъ плавучимъ міромъ.

Въ центрѣ одной изъ палубныхъ группъ сидѣла старушка, вся сморщенная, вся сгорбленная, вся немощная. Казалось, потухающіе глаза съ трудомъ могли видѣть наклонившіяся къ ней лица; въ одеревенѣвшихъ чертахъ ея выражалось полнѣйшее равнодушіе ко всему; синяя крестьянская понява, босыя ноги, костыль и убогая сума.

— Бродяжка я, голубчики, бродяжка я съизмалѣтства. По градамъ и весямъ все странствую, святое имя Христово прославляя. Отца не помню, а матушка, та — далеко отсюда, на большой рѣкѣ, въ большомъ городу мѣщанкой была... И какой это городъ, кормильцы, не знаю, и какая это рѣка — не вѣдаю. Помнится только зеленое, зеленое поле, а за полемъ синіе лѣски.. Старый храмъ Божій, съ тонкой такой колоколенкой, по надъ самой рѣкою прихилился и въ свѣтлыя воды смотрится... Еще помню узкій проулочекъ, по обѣ стороны дома — избенки на курьихъ ножкахъ, и наша избушечка тутъ, что калѣка старая, что я же теперь, вся сгорбилась да перекосилась сердешная... И яблонь бѣлую помню... И смородину помню... Густая была... По задворкамъ лѣпилась на самомъ припекѣ... Еще помню матушку—добрая... А потомъ дорога какая-то, старцы убогинькіе... Тамъ опять пути дороженьки... Ну, и перепутала все!.. Давно это было!.. Все я на ноженькахъ на своихъ... Все одна странствовала. Всю землю крещеную обошла и вездѣ Божіимъ угодничкамъ молилась. Въ Ерусалимѣ-градѣ была, слыхала тамъ, какъ грѣшники во адѣ мучаются, Гробу Господнему поклонилась. Турку тамъ увстрѣла, а турка добрый, головы христіанской не рубитъ, а самъ же тебѣ и хлѣбушка подастъ; хлѣбъ у нихъ бѣлый и тонкій, что лепешка, все одно. Еще я тамъ много городовъ видѣла, и всѣ на припекѣ, на солнышкѣ всѣ... Таково-ли паритъ — страсть! Море знаю, какъ къ Ерусалимъ-граду ѣхать... Много насъ тамъ было, и померло много. Такъ Гробу Господню и не поклонились, сердешные!.. Монаховъ эллинскихъ на горѣ Аѳонѣ-святой тоже помню. Суровые... смотрятъ на тебя ненавистно; а въ

обителяхъ ихъ, сказываютъ, благолѣпіе неизреченное... Чудеса тамъ на каждой травушкѣ. Извѣстно, мѣсто излюбленное. И въ Кеевѣ была... Градъ святой Кеевъ—тамъ въ пещерахъ тысящи праведниковъ лежатъ, и всѣ въ вѣнцахъ осіянныхъ, у всѣхъ въ рученькахъ вѣтвь пальмовая, а въ ноженькахъ—каменіе самоцвѣтное. И идешь ты по пещерамъ этимъ, и свѣту нѣтъ — а все видно, потому отъ вѣнцовъ сіяніе изливается. И въ темницахъ была я со тати и со разбойники безвинно... За благочестное странствіе свое томилася. .

— Да, нонѣ строго! Всякъ человѣкъ при своемъ мѣстѣ состоять долженъ, всякому мѣсто его указано. .

— Купцы въ большомъ городу за меня, старицу безсчастную, вступилися... Ну, власти земныя и выпустили рабу, и опять пошла я по землѣ крещеной... И въ Сибири была.

— А смертоубивцевъ видѣла?

— Бывало все, кормильцы... все бывало. По Волгѣ разъ... давно, въ лѣсу злого человѣка увстрѣчала—молода была тогда, ну, онъ и изобидѣлъ меня... очень онъ меня изобидѣлъ... Опять потомъ подъ Смоленскомъ... Все я, раба, снесла, все претерпѣла!

— Много ты, мать, походила?

— Много, кормилецъ, много!.. Таково-ли еще ходила, какъ молода была... Легше вѣтру буйнаго. И все-то поля, поля зеленыя, и все-то снѣга, снѣга глубокіе, бѣлые... Все-то лѣса—тѣнь безпросвѣтная... Тутъ только верхушки шумятъ надъ тобой... тишь... идешь ты, и боязно тебѣ, чтобъ на не добраго человѣка не попасть... А медвѣдь что!—И человѣка онъ ѣстъ—а странниковъ и странницъ не трогаетъ, потому на это ему предѣлъ положенъ...

Нѣсколько чаекъ спустились на снасти мачтъ... Бѣлыя, ослѣпительно сверкающія подъ лучами солнца. Рѣзкій крикъ послышался надъ ними, словно плачущій.

— Скоро и Соловки наши будутъ...

X.

Острова.

Впереди засинѣли какія-то смутныя очертанія.

Большая часть богомольцевъ столпилась на носовой части парохода. Одни стояли на колѣняхъ и молились, другіе пѣли псалмы. Религіозное настроеніе охватило даже самыхъ равнодушныхъ.

На лицахъ странницъ выражалось самое искреннее умиленіе. Однѣ плакали, другія обнимались.

— Сподобилъ Господь святынямъ помолиться!

— Угодничкамъ, Соловецкимъ праведникамъ!

— Собрать бы на молебенъ, братцы?

— Слѣдуетъ!—одобрилъ батюшка и сталъ собирать деньги въ камилавку.

А острова все выростали. Неопредѣленно синѣющія массы становились зеленоватыми. Края ихъ очерчивались все рѣзче и рѣзче; изъ неопредѣленныхъ облачныхъ формъ они принимали ясные контуры. Что-то, словно искра, сверкало тамъ, лучась и точно колыхаясь въ синевѣ неба.

— Это—куполъ, братцы; святой соловецкій куполъ!

— Краса!—замѣтилъ угловатый олончанинъ стоявшей съ нимъ рядомъ странницѣ.

Вотъ зеленоватая кайма стала еще гуще. Напряженный взглядъ различалъ уже верхушки высокихъ сосенъ.

Прямо съ острововъ неслась къ намъ съ рѣзкими, словно привѣтственными криками громадная стая чаекъ. Точно сотни серебряныхъ платковъ развѣвались въ воздухѣ. Чайки кружились близъ парохода, забѣгали впередъ и вновь отставали. Одна изъ нихъ, описавъ громадный кругъ, смѣло уцѣпилась за крестъ гротъ-мачты, другая, словно камень, упала на палубу и, точно у себя дома, заходила между богомольцами. Третья очутилась на рулѣ парохода и стала чистить носомъ подъ широко распущенными крыльями.

— Чудеса этто, братъ!

— Птица и та отъ угодничковъ — встрѣчаетъ странничковъ христовыхъ... Тутъ не просто дѣло... Ишь, она, что собака, къ людямъ, ластится!

— И сподобилъ же Господь увидѣть...

А чаекъ все прибывало и прибывало. Вблизи показались въ водѣ какія-то круглыя, словно нырявшія, головы. Онѣ вмѣстѣ съ волнами то поднимались, то опускались. Ихъ было цѣлое стадо, юровье, какъ называютъ здѣсь.

— Глядь, робя, морская звѣря проявилась. Нерпой прозывается.

— Поди, человѣка дюже жретъ?

— Не... Онъ кроткій, за это ему отъ Господа два вѣка жизни положено.

— А вонъ бѣлыя головы-то... Это бѣлекъ... молодая нерпа... дите малое, неразумное.

— Тссъ!.. Сколь много чудесъ у Господа...

На кормѣ монахи пѣли молитвы. Волны все становились меньше и меньше. Солнечный свѣтъ льется мягкими полосами на крупныя вѣковыя сосны утесистыхъ береговъ. Море приняло зеленовато-голубой, почти прозрачный цвѣтъ. Громадные валуны и скалы кое-гдѣ лежатъ посреди тихихъ, никакимъ волненіемъ невозмущаемыхъ водъ. А верхушки этихъ оторванныхъ обломковъ острова уже зазеленѣли, и жалкая пока травка узорчатыми гирляндами спускается внизъ по сѣрымъ поверхностямъ гранита къ цѣлымъ массамъ водоросля, оцѣпившимъ внизу эти глыбы.

Пароходъ тихо плыветъ вдоль берега, словно въ безконечной панорамѣ развертывающаго передъ нами свои чудныя картины. То желтыя, песчаныя отмели, то зеленые откосы, то утесы, вертикально обрывающіеся внизъ... А тамъ, позади ихъ, что за ширь лѣсная, что за глушь тѣнистая.

Но вотъ одинъ поворотъ, и «Вѣра» входитъ въ зеленую бухту, въ глубинѣ которой, словно граціозный призракъ волшебнаго вешняго сна, поднимается бѣлостѣн-

ный монастырь съ высокими круглыми башнями, массою церквей, зеленые куполы и золотые кресты которыхъ легко и полувоздушно рисуются на синевѣ безоблачнаго неба.

Всѣ словно замерли. Не слышно и дыханія... доносится только крикъ морскихъ чаекъ.

Всѣ глаза устремлены на это мѣсто поклоненія... Всѣ словно ждутъ чуда и боятся пропустить его. Тихо приближается пароходъ къ обители, которая все ярче и выше поднимается передъ нами изъ голубыхъ волнъ спокойнаго моря.

«Нынѣ отпущаеши раба Твоего съ миромъ, яко видѣста очи мои спасеніе твое»!—шепчетъ рядомъ со мною старикъ и опускается на колѣни, поникая сѣдою, какъ лунь, головою.

И сколько головъ опустилось въ эту минуту, сколько рукъ творило крестное знаменіе!..

XI.

Монастырь. Гостиница. Святое озеро.

Невыразимо прелестенъ этотъ зеленый берегъ. Какое-то радостное чувство охватывало всего, когда я спускался съ пароходнаго трапа на плиты набережной. Прямо поднимались старинныя изъ громадныхъ валуновъ сооруженныя стѣны. Это—постройка циклоповъ. Нѣсколько башенъ, высокихъ, съ остроконечными павильонами на верхушкахъ, были сложены изъ тѣхъ же колоссальныхъ камней. На высотѣ, въ стѣнахъ и башняхъ чернѣли узкія щели бойницъ... Древностію, цѣлыми столѣтіями вѣяло отсюда. Тутъ все было такъ же, какъ во времена первыхъ царей московскихъ. Нѣкоторыя сооруженія напоминали эпоху господина Великаго-Новгорода... Отъ каждаго камня вѣяло былиною, каждая пядь земли попиралась героями нашей ветхозавѣтной исторіи. И теперь настолько же массивны и недоступны эти стѣны. Только вокругъ обители все

вѣетъ новою жизнью; громадное, трехъ-этажное зданіе гостиницы, доки, разводные мосты, искусственная гавань, набережная, подъемныя машины, деревянное зданіе странноприимнаго дома, разрушеннаго англійскими ядрами, слѣды которыхъ и на монастырскихъ стѣнахъ отмѣчены черными кружками; только небольшія бѣлыя часовенки на лугу передъ обителью производятъ непріятное впечатлѣніе. Эти карточныя, прямолинейныя будочки рядомъ съ каменными громадами, пережившими цѣлыя столѣтія и поражающими до сихъ поръ своимъ величіемъ, такъ и вѣютъ буржуазнымъ вкусомъ нашего вѣка, проникшимъ даже и въ эту аскетическую обитель, схоронившуюся въ бѣломорской глуши отъ всего живого и движущагося.

Изъ-за этихъ стѣнъ, созданныхъ какъ будто самою природою, золотятся кресты церквей, и мягко рисуются ихъ зеленые куполы. Рядомъ съ монастыремъ тянется зданіе лѣсопильнаго завода, а кругомъ всю эту площадь обступилъ зеленый, свѣжій, весь проникнутый изумруднымъ блескомъ, тѣнистою дремой и влажнымъ покоемъ лѣсъ. Такъ и манило туда.

Но что поразило насъ болѣе всего — это чайки. Ихъ тутъ было нѣсколько десятковъ тысячъ, по крайней мѣрѣ. Крикъ ихъ не умолкалъ ни на минуту. Ихъ, еще сѣрые, птенцы неуклюже бѣгали въ травѣ у самыхъ стѣнъ монастыря и гостиницы — каждый выводокъ въ своемъ точно опредѣленномъ участкѣ. Тутъ, въ центрахъ этихъ участковъ, матки высиживали яйца, нахально кидаясь къ богомольцамъ за подачкою. Чайка сама шла въ руки.

— Господи! Да онѣ нашихъ куръ смирнѣе...

— Отъ Бога имъ повелѣно обитель стеречь!

— Столько ли еще чудесъ тутъ повидаешь... Главное, чтобъ съ чистымъ сердцемъ!

Наконецъ, насъ позвали въ гостиницу, содержимую очень хорошо монастыремъ. Это красивое трехъ-этажное зданіе. Черезъ просторныя сѣни мы вступили въ корридоръ, посрединѣ котораго была большая комната, куда насъ всѣхъ пригласили. Тутъ каждый, прежде чѣмъ по-

лучить нумеръ, долженъ былъ записать, сколько и какихъ именно молебновъ ему требуется; при этомъ уплачиваются и деньги по установленной таксѣ. Простой молебенъ стоитъ 35 коп., молебенъ съ водосвятіемъ 1 р. 50 коп. Заплативъ деньги и получивъ взамѣнъ ихъ марки, мы поднялись наверхъ. Крестьянамъ и кто одѣтъ не совсѣмъ чисто, отводится нижній этажъ, гдѣ въ большихъ комнатахъ помѣщается въ каждой около 20 или 25 человѣкъ. Средній этажъ, отдѣланный безукоризненно, съ высокими и просторными комнатами, предназначается чиновникамъ—отъ тайнаго совѣтника и выше до коллежскаго регистратора включительно—и купечеству, которое поприличнѣе. Наверху, въ небольшихъ комнатахъ, по 4—5, помѣщаются разночинцы. Понятно, что всѣ эти градаціи отличаются по платью.

Комнаты средняго этажа оклеены обоями, въ остальныхъ просто выбѣлены. Вездѣ диванъ, стулья, столъ и кровать съ матрацами. Болѣе ничего не полагается. Разумѣется, тотчасъ же по прибытіи, богомольцы потребовали самоваровъ. Въ каждомъ корридорѣ, въ комнатѣ іеромонаха, завѣдывающаго имъ, имѣется нѣсколько громадныхъ вдѣланныхъ въ стѣну самоваровъ, откуда кипятокъ разливается въ большіе чайники на потребу странникамъ...

Видъ изъ оконъ гостиницы на монастырь и бухту—великолѣпенъ. Особенную прелесть придаютъ ему прозрачность воздуха, туманная кайма отдаленныхъ лѣсовъ и необыкновенная, почти южная, синева неба... Чудный уголокъ выбрали себѣ соловецкіе монахи. Тутъ бы хотѣлось видѣть многолюдное населеніе съ звонкимъ смѣхомъ дѣтей, рѣзвящихся въ зелени луговъ, съ улыбками и пѣснями красивыхъ женщинъ, съ косарями не въ клобукахъ и рясахъ.

— Что теперь, братцы, дѣлать слѣдуетъ?

— Отецъ іеромонахъ (корридорный), куда теперь?

— Теперь первымъ дѣломъ въ Святое озеро—купаться!

— Святое?.. Чудодѣйствуетъ, значитъ?

— Великая отъ него сила и въ недугахъ исцѣленіе!

И цѣлая ватага вышла изъ гостиницы. Я послѣдовалъ за ними.

Окаймленное лѣсомъ Святое озеро — почти чернаго цвѣта. Одною своей стороной оно примыкаетъ къ стѣнамъ обители. На немъ устроены двѣ купальни—мужская и женская. Мы вошли... Кто-то заговорилъ; его остановили.—Не знаешь, кое это мѣсто? Тутъ, можетъ, кольки святыхъ купалось?..

Воцарилось общее молчаніе. Всѣ раздѣлись.

— Крестись, робя... Главное съ вѣрою... Господи, благослови... Ну—вали, шутъ съ тобой!—И темныя тѣла грузно плюхнули въ воду. Всѣ плескались серьезно, точно исполняя религіозный обрядъ. Одинъ взялъ въ пригоршень воды и благоговѣйно выпилъ ее, другой крестился по груди въ водѣ, третій читалъ молитву. Вода была далеко нечиста. Мутная, но мягкая... Въ дверяхъ купальни показался монахъ.

— Благослови, батюшка!—Потянулись къ нему голыя руки.

— Мнѣ не даю еще... Господь благословитъ. Каково плавали?

— Потрясло... Дюже трясло!

— Это отъ Господа. Чтобъ грѣхи свои вѣдали и помышленія нечистыя у вратъ обители сложили!

— Рай земной теперича обитель святая ваша... Помогаетъ, говорятъ, вода-то?

— Отъ нутряныхъ болѣстей хорошо дѣйствуетъ!—твердилъ монахъ.

— Возьму-ко-сь... въ бутылочку для хозяйки. У нея нутро палитъ!

— Не воспрещено, возьми!

Монахъ вышелъ. Всякій, оставляя воду, крестился; какъ-то непривычно было видѣть голыхъ богомольцевъ, клавшихъ земные поклоны на узкомъ помостѣ, окружавшемъ бассейнъ.

Освѣженные, мы вышли, и тотчасъ же намъ кинулся въ глаза синій, темно-синій и какой-то блестящій на этотъ разъ морской просторъ, ласково охватывающій этотъ островъ. Прямо передъ монастыремъ изъ зеркальной глади поднимались небольшіе островки и утесы, увѣнчанные часовнями и елями.

XII.

Іеромонахъ-огородникъ.

Возвращаясь послѣ купанья, я случайно наткнулся на монастырскіе огороды. Между грядами копался главный огородникъ, малорослый, горбатый, колченогій, но съ удивительно добрымъ выраженіемъ неказистаго лица. Ватный черный клобукъ былъ вздернутъ на затылокъ, и какъ-то па бекрень. Монахъ любопытно оглядывалъ насъ, видимо, одолѣваемый охотою поразговориться съ живымъ человѣкомъ. При мнѣ онъ съ тремя даровыми работниками изъ годовыхъ богомольцевъ дѣятельно трудился надъ грядами. Тутъ росли: лукъ, капуста, картофель, огурцы, морковь, рѣдька. Это подъ 65° с. ш., а еще говорятъ, что огородничество невозможно въ Архангельской губерніи. Несмотря на неблагопріятное лѣто —холодное и сухое, овощь шла превосходно.—Мы разговорились.

— Я вячкой. Изъ крестьянъ. Крѣпостнымъ былъ— теперь іеромонахъ. Вотъ огородомъ заправляю... Что-жъ, поживите у насъ, мы гостямъ очень ради. Очень мы гостей любимъ, потому одичаешь безъ человѣка вовсе... Помолитесь угодничкамъ. Было время, у насъ и пѣли хорошо. Хоръ на славу былъ—да непригоже монастырю этимъ заниматься. Новый настоятель уничтожилъ пѣніе это. Теперь, какъ батька сказалъ: прекратить, такъ и бросили. Самое пустынное пѣніе у насъ нонѣ...

— Зачѣмъ же было уничтожать пѣвчихъ?

— Не подобаетъ монаху о красѣ клирнаго моли

словія заботиться. Просто, пустынно пѣть надо. Чтобы слухъ не занимало. Въ міру—дѣло другое...

— Каковы огороды у васъ?

— Огороды у насъ первый сортъ. Ничего въ городу не покупаемъ. Все, что нужно монастырю, здѣсь есть. Отъ сиверка мы лѣсомъ защитились. Одначе, и Господь помогаетъ, потому у насъ хозяева такіе, угодные ему—Зосима и Савватій. Хорошіе хозяева, блюдутъ свой домъ и стадо свое охраняютъ!

— Неужели вамъ и въ міръ никогда не хочется?

— Правду скажу тебѣ, не какъ иные прочіе, что отъ міра открещиваются, а сами душой къ нему стремятся,—не привлекаетъ насъ міръ, а почему, хочешь знать? Потому что всѣ мы изъ крестьянъ, и было у насъ въ міру, въ Рассеѣ, житье куда горькое. Что въ немъ—въ міру-то—грѣхъ одинъ. Ежели помышленія блудныя и одолѣваютъ, сдѣлаешь сотни двѣ земныхъ поклоновъ—все отойдетъ... А бѣсъ соблазняетъ... какъ не соблазнять, все бываетъ. А только Господь хранитъ, потому велика Его милость и покровъ Его надъ нами!

— Неужели въ монастырѣ мало монаховъ изъ духовнаго или изъ чиновниковъ?

— А, пожалуй, и двадцати не насбираешь. Да и не надо грамотныхъ намъ. Работать не работаютъ, а смута одна отъ нихъ... Грамотности не требуется. Соблазну меньше, мы вѣдь здѣсь по простотѣ!

— А всѣхъ-то сколько?

— Съ послушниками—поди, сотъ пять будетъ. Много насъ; сказано—обитель святая... Други милые, вы поотдохните немножко,—ласково обратился онъ къ работникамъ.—Чайки только одолѣваютъ насъ. Расподлая птичка. Страсть, какъ она огороды клюетъ. Мы было вересомъ обсаживать стали—не помогаетъ. Лисицъ у насъ много, повадились тѣ яицы у чаекъ ѣсть; что-жъ бы ты думалъ? Чайки-то подкараулили и выклевали глаза у лисицъ!

— Будто?

— Вѣрное мое слово. Она птичка умная. У ней

всякой свое мѣсто есть, которая съ яйцами или птенцами. Всякая мать свою округу имѣетъ а другія уважаютъ это. Сторонняя чайки ни за что на ея землю не зайдетъ, издали перекрикиваются.

— А съ чего это онѣ пароходъ встрѣчаютъ?

— Тучей летятъ. Это онѣ не праходъ, а богомольчей; какъ заслышатъ свистокъ, такъ и летятъ: потому богомольчи прикармливаютъ ихъ, онѣ и любятъ. Нонѣ, батька, велѣлъ лисицъ разводить, чтобы чаекъ уничтожить, потому одолѣли!

А между тѣмъ, несмотря на нелюбовь монаховъ, чайки придаютъ этому монастырю особенно поэтическій оттѣнокъ. Бѣлыя стаи ихъ безпрестанно кружатся въ воздухѣ, описывая громадные и красивые круги надъ старинными стѣнами. Рѣзкій крикъ ихъ, когда къ нему попривыкнешь, а это бываетъ въ первый же день, кажется даже пріятнымъ для уха. Онъ немолчно раздается въ монастырѣ и днемъ, и ночью. Въ немъ есть что-то радостное, задорное, возбуждающее. Да и что за красивая птица сама чайка! Серебристо-бѣлая, граціозная, она великолѣпна, когда, широко разбросивъ крылья, сверкаетъ высоко надъ вами, кокетливо ныряя въ синемъ небѣ. Хохлатые, большеголовые, сизые и сѣрые птенцы ихъ также не лишены нѣкоторой красивой неуклюжести. Они по цѣлымъ часамъ стоятъ, уставясь носомъ въ землю и разсуждая о чемъ-то весьма глубокомысленно.

Мы невольно любовались хорошо содержимыми огородами.

— У насъ еще въ Макарьевской и Савватьевской пустыняхъ огороды есть. Арбузы, дыни, персики и разную нѣжную ягоду въ теплицахъ разводимъ; потому краснобаевъ у насъ мало, зато работниковъ да знающихъ людей много. Всякій свое дѣло несетъ. Со всѣхъ концовъ Россіи къ намъ сходятся, ну, мы и присматриваемся, что гдѣ лучше, такъ и дѣлаемъ!

Обращеніе іеромонаха-огородника съ рабочими-міянами было почти нѣжно. Эту черту потомъ мы замѣчали у всѣхъ монаховъ. Они, дѣйствительно, братски отно-

сятся къ забитому и загнанному крестьянину. Оно и понятно. Почти всѣ монахи вышли изъ этой среды; произнося обѣты отрѣченія отъ жизни, они не могли окончательно порвать всѣ связи съ своимъ прошлымъ. Имъ не разъ вспоминается томительная безкормица далекаго, снѣгомъ занесеннаго села, гдѣ съ утра до ночи надъ непосильною работою изводятъ свои силы ихъ матери, братья и сестры. Отсюда любовь къ богомольцу-рабочему. Несладка жизнь послѣдняго дома, и его пребываніе въ монастырѣ—мирный отдыхъ. Повсюду его встрѣчаетъ братская ласка, привѣтное слово, улыбка. Ихъ иначе не называютъ, какъ—други, голубчики, кормильцы. Крестьянинъ оживаетъ здѣсь и бодро смотритъ впередъ, мечтая, рано или поздно, войти въ эту добрую рабочую семью въ качествѣ ея полноправнаго члена. Кромѣ того, надо отдать справедливость соловецкимъ монахамъ, они и сами ѣдятъ хлѣбъ въ потѣ лица своего. Они трудятся, какъ дай Богъ трудиться каждому мірянину. Монахъ, напримѣръ, огородникъ своимъ рабочимъ подаетъ первый примѣръ труда; онъ не ограничивается ролью наблюдателя, но самъ прикладываетъ руки къ дѣлу, возится въ грязи и, въ концѣ-концовъ, сдѣлаетъ больше всякаго богомольца. Такъ у нихъ вездѣ. Поэтому хозяйство ихъ цвѣтетъ, и монастырь, помимо своего аскетическаго значенія, имѣетъ всѣ признаки хорошей рабочей общины. Даже намѣстники работаютъ, какъ простые чернорабочіе, исполняя разныя «послушанія», не говоря уже о разныхъ іеромонахахъ, которые, кромѣ мантіи, надѣваемой въ церковь и за трапезу, ничѣмъ не отличаются отъ прочихъ иноковъ.

XIII.

Кузница и горны.

— Хозяйство у насъ основательное. Монастырь—хозяинъ хорошій. Все свое. Посмотри, посмотри, намъ даже оно и пріятно, если любопытствуютъ. Все во славу оби-

тели святыя. Посмотри литографію нашу, да кожевню, заводы, да мало ли чего у насъ нѣтъ. Не перечтешь. А это вотъ наша кузница будетъ!

Кузницей заправляютъ два монаха. При нихъ съ десятокъ годовыхъ богомольцевъ.

— Что это за двухъ-этажное зданіе?

— Для огородниковъ. Вонъ тамъ дома—тоже въ два этажа выведены—годовые богомольцы живутъ!

Мы отправились осматривать кузницу.

Скрипя, отворилась желѣзная дверь. Насъ обдало запахомъ каменнаго угля. Громадное черное помѣщеніе кузницы, словно подземелье, охватило насъ мракомъ, который не могли разсѣять даже закоптѣвшія, продѣланныя въ стѣнѣ окна. Въ темнотѣ передъ нами высились какія-то массы, неподвижные силуэты, столбы. Полъ весь былъ заваленъ кучами угля. Въ самомъ глухомъ углу, тлѣвшій въ горнѣ огонь тускло сверкалъ. Лѣтомъ работы бываетъ мало—монастырь занятъ богомольцами.

— Зимой зато кипитъ дѣло. Зимой мы ото всего свѣту отрѣзаны. По морю плавать нельзя—льды, мы тутъ по душѣ и живемъ. Ни надъ нами, ни подъ нами никого. Молимся Богу да работаемъ. А работа, извѣстно,—та же молитва... Хорошо у насъ зимою... Никуда бы не ушелъ!

— Будто бы такъ никуда не хочется отсюда? И молодые не рвутся въ міръ?

— Молодые?—Монахъ призадумался.—Бываетъ, дѣйствительно, кто изъ купечества, да изъ благородныхъ въ монахи идутъ... Тѣ тоскуютъ .. Тѣ шибко тоскуютъ. Измаются, особливо ежели весною; какъ это снѣга почнутъ таять, да подъ сугробинками ручьи побѣгутъ, такъ, словно потерянные, ходятъ. А какъ море очистится, такъ стоятъ по бережкамъ, да въ синь широкую глядятъ, иной мается, мается, плачетъ... Въ лѣса пойдетъ—пѣсни поетъ. Хорошія бываютъ пѣсни, не духовныя. Измаемся, глядя на нихъ. Другой первое время ничего, слюбится... А потомъ, годковъ черезъ пятокъ, и потемнѣетъ весь.

*

Находитъ это на нихъ. Только вѣдь изъ купцовъ да изъ дворянъ у насъ мало. Все больше крестьянство; ну, тѣмъ легко, тѣ ради. Работаютъ, да Господа Бога славятъ!

— У другого, пожалуй, семья; по ней тоскуетъ!

— Былъ одинъ. Жена молодая, сказываютъ, у него въ Питерѣ оставлена. Тотъ, бывало, лѣтомъ ляжетъ на лугъ да и смотритъ по цѣлымъ часамъ на небо. Подойдешь къ нему—не слышитъ, только слезы текутъ, да про себя шепчетъ что-то,—дьяволъ смутьянитъ. Изъ этихъ больше и выходятъ настоящіе схимники... Какъ онъ преодолѣетъ себя—такъ словно закаменѣетъ совсѣмъ человѣкъ. И лицо такое неподвижное станетъ, и глаза потухнутъ. Слова ты и него тогда не допросишься. Въ себя уйдетъ человѣкъ, все молитвы читаетъ, да поклоны бьетъ. Отъ этихъ у пользы монастырю мало. Плохіе они работники... А вотъ и наши кузничныя печи!

Жутко было тутъ, въ этомъ черномъ подвалѣ. Откуда-то смутно доносился говоръ, а здѣсь стояла мертвая недвижимая тишина. Зато необыкновенный эффектъ должна производить эта громадная кузница зимою. Кругомъ нея мракъ, тяжелый, сырой мракъ, а въ ней ярко блистаютъ багровые огни, слышится стукъ молотовъ, и сыплются цѣлые потоки яркихъ, серебряныхъ искръ.

— Это у насъ крестьянинъ одинъ устроилъ... Спаси, Господи, его душу... Наверху и кузнецы наши живутъ...

Тутъ, кромѣ пароходныхъ машинъ, монахи дѣлаютъ ножи, косы, топоры, короче—все, что нужно въ ихъ обиходѣ; желѣзо для этого покупается пока въ Архангельскѣ и Норвегіи, но уже при мнѣ монахи собирались добывать его, устроивъ заводъ въ Кемскомъ уѣздѣ, гдѣ болотная желѣзная руда находится въ изобиліи и гдѣ, къ сожалѣнію, до настоящаго времени она никѣмъ не разработывается. Явился какой-то аферистъ, пруссакъ, разорилъ мѣстныхъ крестьянъ, да и былъ таковъ.

XIV.

Монашеская школа.

День былъ свѣтелъ и ярокъ. Такъ и манило въ лѣса, окружавшіе обитель, въ ихъ прохладную глушь и тьму. Синее море нѣжно охватывало острова, едва подернутое легкою, чуть замѣтною рябью. Мы шли между двумя рядами деревянныхъ двухъ-этажныхъ зданій, внѣ монастырскихъ стѣнъ. Въ однихъ помѣщались рабочіе, въ другихъ мастерскія. Между ними одно намъ кинулось въ глаза,—это зданіе школы. Лѣстница вела въ большія прохладныя сѣни. Внизу было пусто. Наверху—корридоръ. Налѣво—рядъ небольшихъ дверей, числомъ съ 25, направо—просторныя комнаты двухъ классовъ.

Ни души живой. Только гдѣ-то густымъ басовымъ голосомъ жужжала муха, да смутно, сквозь запертыя окна, слышались крики чаекъ. Мы стали пробовать двери—не отперта ли какая-нибудь. Наконецъ, одна пріотворилась. Оказалась маленькая каморка шаговъ пять въ длину и три въ ширину. Тутъ на узенькой кровати спалъ старикъ-монахъ. Мы его разбудили. «Можно осмотрѣть школу»?

— Сейчасъ!—заторопился тотъ.. — Ключи... Гдѣ это ключи дѣвались?

Школа устроена для мальчиковъ, которые на зиму при монастырѣ остаются. Ихъ учится здѣсь до ста. Тутъ въ этихъ каморкахъ они и живутъ.

— Ну, однако, и тѣсновато имъ!

— Да, вѣдь, они тутъ только ночуютъ. Утро—на работѣ, потомъ трапезуютъ, опосля по дворамъ бѣгаютъ, въ лѣса уходятъ—кто во что. А вечеромъ въ школу!

— И давно школа открыта у васъ?

— Въ шестьдесятъ-второмъ. Архимандрита Парѳенія—усердіемъ. Я тутъ сторожемъ состою.

Мы вошли въ школу. Большая комната, черныя нары, кафедра. На стѣнахъ развѣшаны старинныя карты. На

окнѣ самодѣльный, но вѣрный глобусъ, по словамъ монаха, сдѣланный однимъ изъ мальчиковъ.

— На карту посмотрѣлъ, посмотрѣлъ, да и сдѣлалъ шаръ-отъ по картѣ!

Мы посмотрѣли и, дѣйствительно, подивились. Сколько для крестьянскаго мальчика надо было потратить соображенія и труда, чтобы сдѣлать этотъ глобусъ. И подумать, что всѣ его способности должны пропасть безплодно—въ стѣнахъ монастыря: грустное чувство охватывало насъ при этой мысли.

На стѣнѣ была табличка уроковъ: оказалось, что ежедневно на классъ посвящается отъ 2—3 часовъ времени. Привожу росписаніе уроковъ цѣликомъ:

1. Понедѣльникъ: Законъ Божій. Чтеніе св. писанія; 2. Вторникъ: Исторія ветхаго и новаго Завѣта 3. Среда: объясненіе Богослуженія. 4. Четвергъ: упражненіе учениковъ въ чтеніи молитвъ подъ руководствомъ всѣхъ наставниковъ вмѣстѣ. 5. Пятница: исторія церкви и государства русскаго. Географія. Ариѳметика. 6. Воскресенье: письмоводство.

И такъ, только два часа въ недѣлю опредѣлено на русскую исторію, географію, ариѳметику. Затѣмъ все остальное время занято чисто духовными предметами. Понятно, что такая школа, при ласковомъ обращеніи съ учениками монаховъ, приготовляетъ изъ дѣтей будущихъ кандидатовъ въ обитель. Тутъ они проникаются до мозга костей аскетизмомъ и духомъ монастырской общины. Возвращаясь домой, въ свои города, села и деревни, они спятъ и видятъ, какъ бы опять поскорѣе попасть въ монастырь, и уже навсегда.

— Наказываютъ монахи учениковъ?

— Чудно это дѣло, братецъ мой: безъ розги обходятся—а дѣти шибко учатся. Чтобъ это кто лѣнился—николи! Дѣтки такое усердіе имѣютъ, что другъ передъ дружкой стараются!

— Много идетъ ихъ въ монастырь потомъ?

— Всѣ, почитай; рѣдкій не вернется въ обитель. Потому духъ этотъ почіетъ въ нихъ!

— И молодыми поступаютъ?

— Да, подросточками. Годковъ по шестнадцати, по семнадцати *)...

Кромѣ этого класса, есть еще младшій, гдѣ учатъ молитвамъ, чтенію и письму. Цѣлесообразно вообще направляетъ монастырь свою дѣятельность. Мальчикъ является сюда забитымъ и запуганнымъ. Дома онъ голодалъ, былъ плохо одѣтъ, томился на работѣ; дома—грязь, нищета, пьянство отца; дома онъ слышитъ общія жалобы: недоимка одолѣла, становой притѣсняетъ, старшина куражится, староста пропилъ казенныя деньги—всякъ отвѣчай за него своимъ карманомъ; дома деревенскій мальчикъ растетъ, какъ волченокъ, чуя за собою постоянную травлю, видя, что та же травля одинаково преслѣдуетъ и взрослыхъ.

Въ монастырѣ онъ разомъ сталкивается съ инымъ міромъ, съ иною, привольною жизнью. Тутъ его никто не бьетъ. Съ нимъ обращаются мягко, даже нѣжно. Старики-монахи смотрятъ на него, какъ на свое дитя. Потребность любить пробуждается въ старческомъ сердцѣ аскета, и онъ серьезно привязывается къ крестьянскому мальчику, какъ къ родному. Товарищи, войдя въ общій тонъ обители, обращаются съ нимъ ласково. Онъ всегда сытъ: изобильный обѣдъ, ужинъ; хлѣба, мяса и рыбы въ волю; ѣшь до отвала. Первое время, дѣйствительно, онъ только ѣстъ да спитъ. Одѣтъ онъ опрятно и чисто. Бѣлье ему мѣняютъ въ недѣлю по два раза, нѣтъ своего подрясника—ему выдадутъ новый изъ монастырской рухлядной кладовой. На работѣ его не томятъ. Работай, сколько можешь, сколько есть усердія, потому что эта работа не на хозяина, а на св. Зосиму и Савватія. Грязи, нищеты не видать нигдѣ. Пьяныхъ и подавно. Жалобъ на судьбу, недоимку, подать и повинности не

*) Въ послѣднее время мѣры, принятыя Св. Пр. Синодомъ, посократили значительно случаи поступленія въ монастырь такого громаднаго количества послушниковъ, какъ прежде. *Прим. авт.*

слыхать; короче — приволье, рай земной, обѣтованная для крестьянскаго забитаго ребенка.

Понятно, что несчастный мальчуганъ въ восторгѣ отъ обители. Это для него —идеалъ земного счастія и благополучія. Чего еще искать, куда еще идти? А тутъ на помощь является школа, гдѣ каждый день ему твердятъ о великомъ подвигѣ спасенія, о грѣховности міра, о невозможности сохранить душу свою внѣ предѣловъ обители. Умъ его настраивается на монашескій ладъ. Онъ совершенно становится монахомъ. Пропадаетъ рѣзвость движеній, гаснетъ смѣлый взглядъ, рѣсницы опускаются внизъ, шаги становятся размѣренными, самая рѣчь подъ вліяніемъ школы дѣлается похожею на церковно-славянскую. Годъ такой жизни—и будущій монахъ готовъ. Что его удержитъ въ мірѣ? Любовь къ семьѣ? Но въ этой семьѣ онъ видѣлъ брань, колотушки, холодъ и голодъ. Стремленіе къ брачной жизни? Онъ еще не доразвился физически до этого. Онъ и идетъ въ монастырь, считая величайшимъ для себя счастіемъ попасть туда. Обитель становится его отечествомъ, его вѣрою, его жизнью. Это—самый лучшій монахъ. Онъ много работаетъ и мало разсуждаетъ. Не умѣетъ руководить и приказывать—зато слѣпо повинуется самъ. Отсюда понятно недоброжелательство монаховъ къ чиновникамъ, дворянамъ, купцамъ, поступающимъ въ обитель. Эти, пожалуй, не подчинятся строгой дисциплинѣ, на которую тѣ смотрятъ, какъ на легкое бремя, и даже не какъ на бремя, а какъ на легкую и пріятную обязанность. Эти станутъ разсуждать, станутъ сѣять соблазны въ ихъ средѣ. Да, наконецъ, и въ прошломъ этихъ прозелитовъ столько свѣтлаго, что они никогда не съумѣютъ порвать съ нимъ свои связи. Отсюда тоска, заражающая другихъ, недовольство и, наконецъ,—чего монахъ особенно не любитъ—оставленіе монастыря, растриженіе.

Впрочемъ, въ Соловкахъ послѣднее случается очень и очень рѣдко.

XV.

Самородки.

Въ трапезной Соловецкаго монастыря я видѣлъ картины художниковъ-самоучекъ. Первыя ихъ произведенія обнаруживали яркій талантъ, послѣднія бывали безжизненны, сухи, бездарны. Явился было одинъ мальчикъ, подававшій большія надежды. Его ученическіе эскизы дышали смѣлостію, чутьемъ художественной правды. Даже монахи были поражены ими. Обитель послала подростка въ Москву, въ художественную школу. Тамъ юный талантъ окончилъ курсъ и вернулся въ монастырь. Рисунки этого періода его жизни—хороши. Но по всѣмъ послѣдующимъ можно прослѣдить, какъ подъ вліяніемъ аскетизма, мертвенности, неподвижности, застоя жизни, гасъ его талантъ. Линіи рисунка выпрямляются, выраженіе лицъ становится все болѣе сухимъ, иконописнымъ. А хоть тотъ же мальчикъ, сообразившій, какъ по ландкартамъ сдѣлать глобусъ? Развѣ не скрывался въ немъ талантъ? Къ сожалѣнію, и онъ погибъ для жизни и науки! Вотъ, напр., разсказъ одного монаха.

— Привезъ къ намъ инокъ брата своего, зырянскаго мальчика. Оставилъ въ монастырѣ. Пугливъ мальченка былъ. Привели его въ классъ, показали азбуку—къ вечеру онъ ужъ и знаетъ ее. А черезъ два дня самъ читать сталъ. И что ему ни показывали, все понималъ разомъ. Книги читать началъ—не оторвешь, бывало. Мѣсяца черезъ четыре лучше монаховъ все священное писаніе зналъ. Память такая, что прочтетъ страницу, и все разскажетъ слово въ слово. Взялъ библію на славянскомъ языкѣ и на латинскомъ, словарь взялъ (одинъ монашекъ, изъ поповъ, помогъ ему), черезъ три мѣсяца ужъ и латынь зналъ. Задачи какія ариѳметическія — разомъ понялъ. Учителя своего втупикъ ставилъ. Задастъ, бывало, учителю задачу, тотъ бьется-бьется надъ ней, а зырянинъ смѣхомъ рѣшитъ. Любознательности у него гибель было. Ничего мимо не

пропуститъ. Такихъ способностей я на вѣку своемъ не видывалъ. Просто умъ помутится, какъ поговорить съ нимъ. Такой ли острый парень! Ну, только и предсказывали мы ему, что долго не проживетъ. Потому Господь не даетъ такимъ долгаго вѣка. Пробовали его отъ книгъ отваживать, на черную работу посылали—мигомъ покончитъ работу и опять за книгу. Мастерство завелъ—деревянные часы своимъ умомъ сдѣлалъ. Потомъ монастырь весь, до малѣйшей подробности изъ хлѣба слѣпилъ. Все для подъема воды колеса разныя придумывалъ. Братъ, бывало, отниметъ у него книгу—выпроситъ со слезами и опять читаетъ. Такъ года два или три шло. Просто мы диву дались. Однако знали, что не къ добру это... Уговаривали его бросить — засмѣется въ отвѣтъ, да и только. А въ это время пріѣхало къ намъ важное лицо, ему и показали этого мальчика, потому—чудо. Только въ нашей обители и могутъ проявиться такіе. Подивился и тотъ: часа два говорилъ съ мальчикомъ, задавалъ задачи, какія у насъ и не снились никому; думали, смутится парень—ничего. Все рѣшаетъ, и быстро такъ. Велѣли ему ѣхать въ Питеръ, тамъ его въ какое-то училище опредѣлили. Что же бы вы думали—въ три года онъ на двѣнадцати языкахъ говорилъ. Къ брату писалъ оттуда. А потомъ слухъ прошелъ, что послали его въ Парижъ на всемірную выставку, тамъ на выставкѣ этой и померъ.

— Отчего же онъ умеръ?

— Потому въ монастырѣ у насъ—строго. Въ Питерѣ братъ тоже своимъ его препоручилъ, въ оба за нимъ глядѣли. Ну, а въ Парижѣ во вся тяжкія пустился, отъ женщинъ, отъ блудницъ вавилонскихъ этихъ, и сгорѣлъ. Вотъ она судьба! А остался бы въ монастырѣ, доселѣ былъ бы живъ во славу обители. Очень мы его жалѣли. Извѣстно, міръ—въ немъ спасенія нѣтъ. Кто изъ монастыря туда уйдетъ—сгніетъ, какъ червь. Богъ такимъ не даетъ долгаго вѣка—не посрамляй обитель святую!

Стою я какъ-то у берега Святаго озера. Было это вечеромъ, на третій день моего пріѣзда въ Соловки. Солнце

уже заходило. День не становился темнѣе, потому что въ это время здѣсь ночи нѣтъ. Но изъ лѣсу уже ползла сырая мгла. На водѣ погасли искры, и вся ея гладь лежала, какъ тусклая сталь, съ береговъ опрокинулись въ нее силуэты темныхъ сосенъ. Прямо передо мною черезъ озеро поднимались стѣны монастыря. Гулкій звонъ колоколовъ только что замеръ въ воздухѣ, а ухо, казалось, еще слышало послѣдніе удары. Сердце невольно рвалось куда-то.

Вижу, ко мнѣ робко подходитъ молодой монахъ изъ послушниковъ. Мы заговорили.

— У меня къ вамъ дѣло есть!—И онъ замялся.

— Сдѣлайте одолженіе: радъ служить, чѣмъ могу!

— Правда, что вы пишите въ газетахъ и журналахъ? Мнѣ братъ одинъ сказалъ.

— Правда!

— Ахъ, давно я хотѣлъ повидать кого-нибудь изъ писателей. Я тоже (онъ покраснѣлъ) стихи пишу. Только не знаю, что выходитъ. Дрянь, должно быть... А, можетъ, и есть что!

Меня поразила симпатичная наружность этого юноши. На блѣдномъ лицѣ его ярко сверкали крупные черные глаза, волоса роскошными прядями обрамливали высокій лобъ, какое-то болѣзненное чувство тоски лежало въ каждой чертѣ его лица, въ каждомъ движеніи проглядывало что-то робкое, какая-то неувѣренность въ себѣ.

— Какъ вы сюда попали?—наконецъ спросилъ я.

— Это невеселая исторія,—началъ онъ.—Стоитъ ли только разсказывать?.. Любилъ я дѣвушку одну... Ну, и она тоже... Чудо дѣвушка была. Года два такъ шло. Вдругъ родители взяли, да и выдали ее за какого-то пьяницу-чиновника силкомъ, потому они тоже чиновники были, ну, а я изъ мѣщанъ. Чуть я не утопился тогда. Прошло мѣсяца три — она возьми, да и убѣги ко мнѣ. Отняли съ полиціей. Побоевъ сколько было!.. Вынесла, бѣдная, немало и... заболѣла чахоткою,—черезъ силу про-

говорилъ онъ какимъ-то надорваннымъ голосомъ.—Проболѣла недолго. Весною, съ первымъ листикомъ, и Богу душу отдала... И въ гробу, точно живая, лежала... Что было со мною—не знаю. Сталъ я ходить на ея могилу; только и счастія было, что поплачешь надъ ней... Ну, а какъ пришла зима, да занесло все снѣгомъ, такая меня тоска тогда обуяла, что порѣшилъ я бросить все и уйти въ монастырь. Лѣтомъ и пошелъ сюда пѣшкомъ... А какое созданіе славное было... Знаю, что большой грѣхъ думать объ этомъ, да ужъ съ вами душу отвелъ!

— Вы учились гдѣ-нибудь?

— Гдѣ учиться. До четвертаго класса гимназіи дошелъ, да оттуда отецъ силой взялъ—въ лавку надо было!

— Что же вы пишите?

— Стихи. Я, признаться, и въ міру стихи писалъ. Да то—другое дѣло!

— Пробовали вы посылать куда-нибудь?

— Куда?.. И то хоронюсь. Неприлично это монаху!

— Неужели вы думаете постричься окончательно?

— А то какъ? Тамъ мнѣ нечего дѣлать. Здѣсь хоть за ея душу молиться стану!

Онъ прочелъ мнѣ свои стихотворенія. Они были необработаны, риѳма не совсѣмъ удачна; размѣръ не соблюденъ—но какая сила выраженія, какіе яркіе образы! Талантъ такъ и звучалъ въ каждой строкѣ ихъ. Они были проникнуты чувствомъ великой скорби. Только порою въ нихъ отчаянно прорывался бурный, бѣшенный порывъ измученной души. Тоску они навели на меня. Жалко было видѣть такое дарованіе схоронившимся въ монастырѣ.

Всѣ мои убѣжденія были напрасны.

— Перстъ Божій!—твердилъ онъ.—Да и что изъ меня будетъ тамъ... Въ мірѣ нѣтъ спасенія!

XVI.

Кожевня и кирпичный заводъ.—Экономическое положеніе монастыря.

Нужно отдать Соловецкому монастырю справедливость. Это хорошій работникъ и хозяинъ. Начиная съ намѣстниковъ и членовъ собора, здѣсь работаютъ всѣ и каждый. Часто іеромонахъ справляетъ черную работу и не претендуетъ на это. Онъ только совершаетъ «послушаніе». Сюда стекаются изъ разныхъ концовъ Россіи. Тутъ есть монахи съ Кавказа, изъ-за Волги, изъ Западнаго края, изъ Крыма, изъ Сибири, изъ Турціи. Всякій приноситъ съ собою какое либо знаніе, кто по хозяйству, кто по механикѣ. Оттого въ монастырѣ вездѣ, гдѣ возможно, ручной трудъ замѣненъ машиною, и непремѣнно мѣстнаго изобрѣтенія. Даже вода въ гостинницы и монастырь не разносится носильщиками, а поднимается въ каждый этажъ посредствомъ ловко и удобно устроенныхъ воротовъ. Никто не долженъ находиться въ бездѣйствіи—вотъ принципъ этой аскетической рабочей коммуны.

— Да вѣдь у васъ, поди, полѣниваются работать?

— А надзиратели-то наши!

— Какіе падзиратели?

— Св. Зосима и Савватій невидимо присутствуютъ. Ихъ не обманешь—все видятъ. На нихъ, вѣдь, работаемъ, они наши хозяева. Повсечасно памятуемъ это. Опять же не забываемъ, что только труждающійся да ястъ...

Монахъ идетъ на работу безпрекословно. Ни недовольства не выскажетъ, ни о замѣнѣ его другимъ не попроситъ. Этому особенно способствуетъ то, что $^5/_6$ всего числа иноковъ больше крестьяне и только $^1/_6$ изъ другихъ сословій. Первые и внѣ стѣнъ монастыря привыкли работать и работать впроголодь.

— Разъ какъ-то я стѣну работалъ и затомился, такъ затомился, что руки поднять не могу. А хотѣлось стѣну вывести, не откладывая до другого раза. Ну, и сталъ я

на колѣни, сдѣлалъ нѣсколько земныхъ поклоновъ, помолился святому Зосимѣ-Савватію, и вдохнули хозяева наши силу въ меня. До самаго до вечеру безотходно работалъ. Стѣну и окончилъ!

Монахи имена святыхъ Зосимы и Савватія произносятъ, какъ одно имя: Зосимсавватій.

Понятно отсюда, какъ развилась въ Соловецкомъ монастырѣ такая производительность, какая не снится и Архангельску. Здѣсь строятъ пароходы, чинятъ ихъ, литографируютъ, дубятъ кожи, приготовляютъ кирпичи; тутъ есть фотографія, финифтщики, золотильщики, ювелиры, сапожники, портные, башмачники, восковщики, механики, скотоводы, сыровары, строители, архитекторы; тутъ есть магазины, великолѣпныя хозяйственныя помѣщенія, кладовыя, квасныя и пекарни; монастырю принадлежатъ два парохода и морская шкуна, на которой монахи ловятъ рыбу и промышляютъ звѣря вдоль береговъ Мурманскихъ, въ сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ. Тутъ есть рѣзчики, столяры, кузнецы, гончары, коневоды, огородники, опытные садовники, живописцы, даже золотопромышленники. Короче,—отрѣзанный въ теченіе 8-ми мѣсяцевъ отъ всего остального міра, Соловецкій монастырь ни въ комъ не нуждается и ничего нигдѣ не покупаетъ, а все, что ему необходимо, производитъ самъ, кромѣ хлѣба, крупъ и каменнаго угля.

Эта кипучая дѣятельность производитъ поразительное впечатлѣніе на людей, видѣвшихъ такія обители, каковы Троицко-Сергіевская, Юрьевская и др., не труждающіяся и не обремененныя, но все же вкушающія отъ плодовъ земныхъ въ изобиліи.

Соловки прежде вываривали до 400,000 пуд. соли на бѣломорскихъ берегахъ Кемскаго и Онежскаго уѣздовъ; кромѣ того, въ первомъ они разработывали желѣзо, серебро на Мурманѣ и отправляли промысловыя партіи на Новую Землю. Такимъ образомъ, эта рабочая община исторически выработала свои настоящія формы. Разумѣется, благосостоянія, удивляющаго теперь богомольцевъ,

они не достигли бы своими средствами исключительно. Тутъ отчасти важное значеніе имѣли приношенія богатыхъ крестьянъ архангельскихъ, олонецкихъ, вологодскихъ, вятскихъ и пермскихъ и особенно обиліе даровыхъ рабочихъ рукъ. Добровольныхъ работниковъ-богомольцевъ остается въ монастырѣ на годъ не менѣе четырехсотъ человѣкъ. Считая каждый рабочій день въ 30 коп. (minimum), мы получимъ сумму, остающуюся въ пользу монастыря, — 120 руб. въ день или 43,800 руб. въ годъ. Считая число мальчиковъ во 100, и принимая, что рабочій день каждаго станетъ 10 к., или всѣ 10 р. въ день и 3,650 р. въ годъ окажется, что даровой трудъ приноситъ обители— 47,450 руб. Ежегодно по разсчету монастыря у нихъ перебываетъ до 15,000 богомольцевъ. Считая, что каждый изъ нихъ принесетъ въ монастырь по 10 р. (minimum), а обойдется монастырю въ 2 р. (maximum), получимъ 120,000 руб. Часовня обители, находящаяся въ Архангельскѣ, подворья, гдѣ квартиры, лавки и кладовыя отдаются въ наймы, приносятъ ежегодно 10,000 руб., да пароходы около 15,000 руб. Итого, кромѣ неопредѣленныхъ, чрезвычайныхъ пожертвованій, вкладовъ и т. п., монастырь имѣетъ ежегоднаго, правильнаго неизбѣжнаго дохода около 200,000 р. Процентовъ съ принадлежащихъ ему капиталовъ монастырь, какъ мы слышали, получаетъ 25,000 руб. Прибавьте, что для себя Соловки покупаютъ только хлѣбъ въ Архангельскѣ и каменный уголь въ Англіи, что все необходимое производится здѣсь и въ такомъ излишкѣ, который допускаетъ продажу на сторону, достигающую 30,000 р., и вы тогда сообразите, насколько богата эта община. Тѣмъ не менѣе, истинныя средства ея выше показанныхъ нами. Монастырь своею работою содержитъ себя самъ. Онъ могъ бы легко обойтись и безъ всѣхъ этихъ рессурсовъ, которые только увеличиваютъ его фонды, неподвижные, не пускаемые въ обороты, его лежачій капиталъ. Если бы обратить въ деньги движимое и недвижимое имущество монастыря, т. е. самые острова, составляющіе его собственность (грамоты Марѳы Посад-

пицы, Іоанна IV Грознаго и пр.), строенія, скиты, пароходы, суда, доки, всѣ его производительныя заведенія фабрично-заводскаго характера, его церкви, ризницу, часовни, его табуны и стада, его подворья въ другихъ мѣстахъ, то получилась бы сумма навѣрно превышающая 10.000,000 руб. И все это цвѣтетъ, всѣ производства совершенствуются и расширяются. Вотъ краткій очеркъ экономическихъ средствъ монастыря. И это развилось въ глуши, посреди негостепріимнаго Бѣлаго моря, безъ всякаго участія грамотныхъ, образованныхъ классовъ, среди горсти крестьянъ, пріявшихъ иноческій чинъ и съумѣвшихъ въ теченіе четырехъ столѣтій обратить голые соловецкіе камни въ чудные оазисы, поразительные своею оригинальною красотою, богатствомъ и производительностію.

Прежде средства монастыря были еще значительнѣе. Несмотря на улучшеніе путей сообщенія на сѣверѣ устройствомъ пароходства по рѣкѣ Сѣверной Двинѣ,—обѣднѣніе нашего крестьянства дошло до той степени, что оно отразилось и на доходахъ монастыря. Прежде не только богомольцевъ было больше (до 25.000 чел.), но и приношенія дѣлались чаще и крупнѣе. Такъ, еще недавно, какъ мы слышали, цифра такихъ приношеній доходила до 280.000 р. Разумѣется, всѣ эти данныя только приблизительно вѣрны, но ихъ достаточно для общихъ заключеній.

— Оскудѣваетъ усердіе къ святой обители! — жаловался мнѣ старый сѣдой монахъ, опираясь на костыль.

— Духъ времени!

— Не духъ времени, а духъ вольномыслія, духъ погибельный, духъ зла...

— Работать нынче много приходится, все дорого, а средствъ мало. Обѣднѣли!

— А обѣднѣло все потому, что ослабѣло усердіе къ благолѣпію храмовъ Божіихъ. Вѣра оскудѣваетъ. Отъ князя власти воздушныя все. Послѣднія времена приходятъ. Крестьяне и тѣ скупятся на приношенія!

— Да, вѣдь, и они до голода доходятъ...

— Прежде слѣпая вѣра была—оттого и нищеты той не замѣчалось. Нынѣ разумомъ своимъ величаются и оскудѣваютъ!

— Что-жъ, послѣдній кусокъ нести въ монастырь?

— Зачѣмъ послѣдній... Господь подастъ: ты принесешь свой даръ обители, домой вернешься—а тебѣ, можетъ, за это ангелъ Господень нивѣсть какое богатство подастъ!

— Ну, на это мало надежды!

— Враны пророка питали въ пустынѣ!

Кожевня помѣщается въ двухъэтажномъ каменномъ домѣ; какъ и большая часть здѣшнихъ производительныхъ заведеній, она бываетъ въ дѣйствіи только восемь зимнихъ мѣсяцевъ. Четыре мѣсяца навигаціи, когда монастырь посѣщается богомольцами, она стоитъ безъ дѣла. Въ кожевнѣ работаютъ одинъ монахъ и шестеро рабочихъ изъ богомольцевъ; выдѣлываютъ здѣсь до 8.000 штукъ однѣхъ нерпичьихъ кожъ; кромѣ того, тюленьи, моржовыя, оленьи и коровьи. Тутъ-же и кельи работающихъ въ кожевнѣ людей. Кожевня приноситъ монастырю немалый доходъ, какъ и все устроенное у себя монахами. Валовой оборотъ ея равняется 50.000 р.

Отсюда мы вышли и углубились въ лѣсъ.

— Все это, — объяснялъ путеводитель, — когда-то сплошнымъ болотомъ было. Монастырь осушилъ острова, и теперь, кромѣ нѣсколькихъ луговъ, нарочно оставленныхъ, нигдѣ топкаго мѣста не найти. Луга и тѣ посередь острововъ больше, да въ Анзерахъ. Вездѣ прорыты канавки!

Меня тутъ поразило обиліе незабудокъ и такихъ цвѣтовъ, которые не встрѣчаются въ Архангельскомъ, Холмогорскомъ и Шенкурскомъ уѣздахъ, несмотря на то, что они гораздо южнѣе Соловокъ. Роскошная растительность послѣднихъ носитъ на себѣ отпечатокъ сѣверной природы. Тутъ есть, между прочимъ, великолѣпные лѣса, изъ-подъ почвы которыхъ постоянно прорѣзываются гребни гранитныхъ утесовъ.

Монастырь имѣетъ свой кирпичный заводъ. Тутъ ежегодно заготовляется до 400.000 шт. кирпича, и какого кирпича! Прочность его необыкновенна, и отъ времени онъ пріобрѣтаетъ крѣпость желѣза. Каждый кирпичъ вѣситъ 16-ть фунтовъ, и гораздо крупнѣе нашихъ. Изъ него выстроены всѣ позднѣйшія зданія, какъ, напримѣръ, гостиница — громадный трехъэтажный домъ, возведенный въ три мѣсяца, при чемъ надъ постройкой трудился самъ архимандритъ. Кирпичъ для этого строенія заготовлялся три года. Въ кирпичномъ заводѣ работаютъ около 20-ти человѣкъ съ пятью монахами. Онъ прекрасно содержится.

Нельзя отрицать, что жизнь въ монастырѣ для годовыхъ богомольцевъ-рабочихъ имѣетъ свою полезную сторону. Часто, т. е. почти всегда, крестьянинъ является сюда ни къ чему не подготовленнымъ. Работая здѣсь, онъ присматривается къ разнымъ хозяйственнымъ приспособленіямъ, упрощеніямъ, и дома у себя старается примѣнить видѣнное. Когда я проѣзжалъ Олонецкую губернію, то въ большомъ селеніи Юксовичи удалось мнѣ видѣть необыкновенно чистыя конюшни, особенно весьма выгодный и практическій способъ содержанія скота и нѣкоторые необычные въ крестьянскомъ хозяйствѣ пріемы. Разспросивъ старика-крестьянина, я узналъ, что село обязано этимъ — Соловецкому монастырю, въ которомъ перебывала, въ качествѣ добровольныхъ рабочихъ, большая часть населенія этого круга.

Особенно выгодно пребываніе въ монастырѣ отзывается на мальчикахъ, если, разумѣется, оставить въ сторонѣ склонность къ аскетизму и монашеству, выносимую отсюда. Они пріѣзжаютъ домой ремесленниками, или вообще производителями другого рода. Знанія эти даютъ имъ возможность упрочить свое экономическое положеніе; здѣсь-же они привыкаютъ къ опрятности и строгому порядку, — двумъ добродѣтелямъ, рѣже всего встрѣчающимся въ нашемъ крестьянствѣ.

XVII.

Каналы, лѣса и дороги.

Монахи умѣютъ пользоваться мѣстностью.

По склону, едва замѣтному, нѣкогда бѣжалъ ручей изъ одного внутренняго озера въ другое. Тонкая струя воды—и только. Казалось, она ни къ чему и не пригодна. Какой-то послушникъ расчистилъ берегъ ручья, углубилъ его ложе и выровнялъ его: незначительный истокъ обратился въ узенькій каналъ.

Я поднялся вверхъ по его теченію; монастырь и тутъ не упустилъ случая воспользоваться силою воды и устроилъ въ одномъ мѣстѣ точильню, на другомъ пунктѣ водоподъемную машину. Точильня состояла изъ большого ворота, движимаго водою. Діаметръ его $1^1/_2$ сажени. Воротъ стоитъ вертикально. Его дугу охватывали ремни, которые затѣмъ, перекрещиваясь, раздѣлялись на два, къ каждому изъ нихъ было прикрѣплено большое точильное колесо. Вслѣдствіе движенія воды въ каналѣ, воротъ вращался и въ свою очередь, посредствомъ ремня, вертѣлъ два точильныхъ колеса. Передъ послѣдними устроены были скамьи, на которыхъ при насъ сидѣли точившіе косы и топоры монахи. Механизмъ до крайности простъ, удобенъ и выгоденъ. Въ день такая точильня можетъ выточить болѣе 300 косъ, 450 топоровъ — и сколько хотите ножей. Ея одной достаточно на городъ средней руки. Надъ точильнею—домъ, чисто содержимый и весьма опрятный. Зимою, когда канава замерзаетъ, воротъ приводится въ движеніе механическою силой. Эта точильня—изобрѣтеніе крестьянина, прожившаго здѣсь годъ и, кажется, оставшагося въ монастырѣ навсегда.

Солнечный свѣтъ мягко обливаетъ зеленую муравy сухого луга. Безоблачное небо синѣло надъ нами, напоминая необыкновенно прозрачною лазурью своей дальній югъ. По окраинамъ словно замерли гигантскія сосны и бѣлыя березы, протянувъ недвижныя вѣтви въ свѣтъ и

тепло яркаго лѣтняго дня. Мы шли все вверхъ по теченію канала.

Новое зданіе каменное, большое:—это водоподъемная машина.

Мы вошли. Родъ сарая; посрединѣ несложнымъ механизмомъ вода подымалась вверхъ на высоту четырехъ аршинъ, лошадь съ бочкою подъѣзжала подъ кранъ, которымъ заканчивался жолобъ, и струя отвѣсно падала сверху. И легко, и просто, и удобно. А главное—сокращаетъ рабочую силу, замѣняя ее механической. Въ сарай влетѣла чайка и спокойно сѣла на край жолоба.

— Кто это строилъ у васъ?

— Монахъ одинъ... Изъ крестьянъ. Хорошо придумалъ!

— Да, хорошо!

— Все отъ угодниковъ. Ихъ заступленіемъ; не оставляютъ обители—домъ свой... Потому, здѣсь вси труждающіеся и обремененные. Шелковъ, да бархатовъ, какъ въ иныхъ прочихъ монастыряхъ, не носимъ!

Дѣйствительно, соловецкій монахъ — всегда и вездѣ является въ одной и той-же рясѣ изъ толстаго и грубаго сукна. Простое холщевое бѣлье, крестьянскаго покроя, сапоги-бахилы изъ нерпичьей кожи—одинаковы у всѣхъ, у намѣстника и у простого послушника. Черныя, грубыя мантіи дополняютъ костюмъ. Роскоши нигдѣ незамѣтно.

И какой здоровый, коренастый народъ—соловецкіе монахи! Все это люди сильные, незнакомые съ недугами. Оригинальную картину представляетъ здѣшній инокъ, когда съ засученными по локоть рукавами, клобукомъ на затылкѣ и подобранной спереди рясой, онъ большими шагами выступаетъ, съ крестьянской перевалкой и присѣданіями, по двору обители. Это тотъ-же самый хлѣбопашецъ, только переодѣтый въ рясу. Съ однимъ изъ такихъ подвижниковъ мы отправились въ лѣсъ.

По обѣ стороны дороги лежали громадные валуны. За ними недвижно стояли лѣсные гиганты. Оттуда вѣяло свѣжестью и прохладой. Мы вошли въ эту тѣнистую

глушь. Высоко надъ нами переплетались могучія вѣтви, мягкій дернъ устилалъ всѣ промежутки между деревьями. Что это были за прямые стволы! Порою изъ-подъ почвы выступала острымъ краемъ сѣрая масса гранита. Кое-гдѣ цѣлыя скалы торчали въ глуши, плотно охваченныя молодою порослью. Земля была холмиста. На верхушкахъ пригорковъ поднимались купы сосенъ, протягивая далеко на югъ свои вѣтви. Сѣверная сторона этихъ великановъ была обнажена. Деревья, росшія внизу, распростирали во всѣ стороны одинаково свои сучья. Ихъ не достигалъ грозный сѣверный вѣтеръ. И какія чудныя озера были разбросаны въ глуши этихъ лѣсовъ, чистыя, прозрачныя, какъ кристаллъ. Невольно приходило въ голову сравненіе ихъ съ красавицей, лѣниво раскинувшейся въ зеленой ложбинѣ. Кругомъ нея стоятъ ревнивыя сосны— а она нѣжится въ лучахъ яркаго солнца, отражая въ бездонной глубинѣ своихъ чудныхъ очей и это синее небо, и эти жемчужныя тучки!.. Тутъ все дышетъ идилліей, все навѣваетъ блаженныя грезы, все говоритъ о далекомъ миломъ краѣ, гдѣ намъ было такъ хорошо, весело и отрадно, о прекрасномъ, безконечно прекрасномъ краѣ, гдѣ царствуетъ вѣчная весна, о свѣтломъ краѣ воспоминаній, имя которому—юность!..

И какъ становится досадно, когда встрѣчаешь кругомъ только сѣрыя, аскетическія лица!..

А прозвучи здѣсь громкая, вдохновенная пѣсня, проникнутая всею нѣгой потрясеннаго страстью сердца, этотъ призывъ неудержимо рвущейся куда-то человѣческой души—и какъ волшебно прекрасенъ показался-бы этотъ идиллическій міръ, съ его лѣсною глушью и свѣтловодными озерами!..

На этихъ поразительно живописныхъ берегахъ какъ мила была-бы любящая пара, вся проникнутая довѣріемъ къ будущему, золотыми мечтами юности, радужными надеждами на счастье...

И развѣ это счастіе не было-бы лучшею молитвою, чистѣйшимъ славословіемъ, хвалебною пѣснію сердца?..

Побродивъ съ часъ по лѣсу, мы опять вышли на дорогу, ведущую назадъ къ монастырю. Соловецкія дороги замѣчательно хороши. Прямыя, плотно убитыя щебнемъ, достаточно широкія, онѣ во всѣхъ направленіяхъ перерѣзываютъ острова, свидѣтельствуя о предусмотрительной энергіи монаховъ. Какъ любилъ я бродить по нимъ, когда спадетъ полуденный зной, и тихая прохлада вѣетъ изъ лѣсу, съ зеркальнаго простора озеръ, съ синѣющаго безбрежнаго моря... Да, это прекрасный уголокъ земли, лучшая часть нашего далекаго сѣвера. Къ сожалѣнію, теперь здѣсь нельзя остаться даже на лѣто больному, потому что острова Соловецкіе принадлежатъ монастырю и тамъ негдѣ жить постороннему.

«Рай—наши Соловки!»—говорятъ монахи.

«Господь своимъ инокамъ предоставилъ ихъ, чтобъ здѣсь на землѣ еще видѣли, что будетъ даровано праведникамъ тамъ, на томъ свѣтѣ».

«Одно плохо, хлѣба не родитъ наша пустынь блаженная!»—дополняли третьи, болѣе практическіе.

XVIII.

Отецъ Авраамъ *).

Я забрелъ въ Благовѣщенскій соборъ рано утромъ. Меня тамъ почти оглушилъ шумъ многихъ голосовъ раздававшихся отовсюду. Двадцать три іеромонаха одновременно служили молебны. Стоя близъ служившихъ, нельзя было различить отдѣльныхъ словъ. Это былъ какой-то хаосъ выкрикиваній, звуковъ, пѣнія. Поминутно являлись новые богомольцы, и семи-восьми человѣкамъ заразъ, отбирая у нихъ поминанія, священникъ торопливо служилъ молебны. Деньги за молебны запрещено давать въ руки іеромонахамъ. Сначала покупается билетъ на молебенъ (простой 35 к., съ водосвятіемъ 1 р. 50 к.);

*) Имя измѣнено.

съ нимъ богомолецъ является въ соборъ, предъявляетъ его священнику, который уже затѣмъ начинаетъ службу...

— Сколько вы такимъ образомъ отслужите молебновъ въ одно утро?

— Всѣ вмѣстѣ — пятьсотъ случается. Бывало, и по шестисотъ удавалось. Все зависитъ отъ того, сколько богомольцевъ!

Говорившій со мною былъ приземистый, коренастый монахъ, только-что снявшій ризу. На крупномъ четырехъугольномъ лицѣ его бойко и умно смотрѣли нѣсколько вкось прорѣзанные глаза; густые сѣдые волосы обрамливали львиною гривою лобъ. На скуластомъ лицѣ отражалось выраженіе крайняго самодовольства. Еще-бы! Приходилось отдохнуть послѣ сорока молебновъ.

— Вы не изъ Архангельска-ли? — спросилъ онъ у меня:—Знаете Ф. и Д.?—Онъ назвалъ знакомыхъ.

— Какъ-же,—хорошо знаю!

— Ну, такъ пойдемъ ко мнѣ чай пить. Побесѣдуемъ, давно я не бывалъ въ Архангельскѣ!

Я съ удовольствіемъ принялъ его приглашеніе. До тѣхъ поръ мнѣ не удавалось видѣть внутреннюю обстановку. Пройдя двумя дворами, обставленными высокими зданіями келій, я воспользовался случаемъ поразспросить его о хозяйствѣ монастыря, и перечислилъ при этомъ только-что видѣнныя мною мастерскія.

— Ну, а чугунно-литейный заводъ видѣли? И восковой, и смолокурню не осматривали?.. Все у насъ есть. Главное, Господь невидимо покровительствуетъ. Чудодѣйственная сила во всемъ, куда ни посмотри!—И коренастый монахъ съ гордостью оглянулся кругомъ.

Мы вошли въ келью.

Бѣдная, выбѣленная комната. Прямо между двумя окнами налой. Два табурета, столъ, комодъ и кровать. Кстати вспомнилъ я, какъ соблюдаютъ обѣты бѣдности іеромонахи другихъ монастырей; сравненіе было не въ пользу послѣднихъ...

— Что, у васъ всѣ такъ живутъ?

— Нѣтъ,—самодовольно отвѣтилъ старикъ.—У меня попросторнѣй, да и посвѣтлѣе. А, впрочемъ, житіе пустынное, настоящее монашеское житіе. Развѣ мы нѣмецкіе пасторы или польскіе ксендзы, чтобы роскошничать?.. Пасторъ и польскій ксендзъ, а по нашему — попъ, и я попъ, а между нами разница, потому мы не отъ міра сего!

Отецъ Авраамъ безцеремонно снялъ рясу, шаровары и сапоги и очутился въ рубахѣ и нижнемъ бѣльѣ. Въ одинъ мигъ монахъ преобразился въ вологодскаго крестьянина. Такъ онъ и присѣлъ къ столу.

Засѣли мы за чай. Пошла бесѣда. Я спросилъ о библіотекѣ монастыря.

— Книгохранилище наше теперь опустѣло. Всѣ рукописи старинныя въ Казанскій университетъ мы отправили!

— Зачѣмъ вы ихъ отдали?—спросилъ я.

— Какъ зачѣмъ? Да вѣдь у насъ онѣ, что камни лежали. Кому ихъ разбирать. Вѣдь у насъ—пользоваться не умѣютъ. Теперь-же тамъ хоть что-нибудь извлекутъ. Мы и послали на свой счетъ. Теперь читаю кое-что, вижу и изъ нашихъ рукописей есть. Оно и пріятно, что нашлись умные люди.

— Неужели-жъ у васъ никого не было?

— Некому у насъ въ монастырѣ. И члены-то собора нашего, и мы всѣ—мужики. Крестьянское царство тутъ. Наше дѣло работать въ потѣ лица своего. Шестьсотъ манускриптовъ послали мы. Все старинныя самыя рукописи... Тутъ-бы ихъ или мыши, или черви съѣли. Не до того намъ. И некому, говорю тебѣ—некому!

— Ну, а библіотека ваша пополняется?

— Нѣтъ. Читать некому. Все-же есть кое-что. Недавно я вопросомъ о соединеніи церквей занялся. Много источниковъ нашелъ. Интересно было послѣ работы почитать!

И отецъ Авраамъ принялся излагать настоящее положеніе этого вопроса, такъ что я сталъ втупикъ. «Ошибся,—думаю,—этотъ вѣрно изъ духовныхъ».

— Давно вы въ монастырѣ?—спрашиваю.

— Сорокъ лѣтъ. Я изъ мужиковъ вѣдь. Изъ самыхъ изъ крѣпостныхъ. Какъ-то помѣщикъ честно отпустилъ меня помолиться въ Соловки. Я какъ попалъ сюда — и выходить не захотѣлъ. Потомъ бѣжалъ, скрывался, ну, а теперь кое-что могу понимать!

Изъ разговора оказалось, что отецъ Авраамъ вологжанинъ. На родинѣ у него и теперь сестры, которымъ онъ помогаетъ.

Бесѣда его обнаруживала большую начитанность и знаніе. Умъ проглядывалъ въ каждомъ выраженіи, въ каждомъ приводимомъ имъ аргументѣ. Это—находчивый и бойкій діалектикъ. Ко всему этому неизбѣжно примѣшивалось чувство нѣкотораго самодовольства. Вполнѣ, впрочемъ, законное чувство; «подивись-ка ты, ученый, какъ тебя со всѣмъ твоимъ университетскимъ образованіемъ простой мужикъ загоняетъ». Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ при случаѣ ссылался на свое происхожденіе, выражая кстати, что достаточно пустить въ монастырь двадцать пять дворянъ, чтобы вся производительность, все благосостояніе обители рушилось:—дурной примѣръ—соблазнъ. «У насъ столъ грубый, одежда грубая,—тѣ начнутъ заводить свои порядки—и все пойдетъ прахомъ. Оттого мы неохотно принимаемъ въ нашу среду чиновниковъ».

— А что, одолѣваетъ скука? Хочется въ міръ, отецъ Авраамъ?

— Отчего?.. Никогда не томитъ. Не зоветъ туда. Ну, впрочемъ, два мѣсяца было. Доселѣ не забылъ. Я ужъ лѣтъ пятнадцать состоялъ. Лѣтомъ какъ-то разъ стою у пристани и пріѣхали къ намъ богомолки, да богомольцы. Кто-то изъ нихъ и запой пѣсню. Такъ я и дрогнулъ. Точно съ той пѣсни что у меня въ сердцѣ оборвалося... Даже похолодѣлъ весь... Едва-едва въ келью добрался. Какъ пластъ на полъ упалъ, да до вечера и пролежалъ такъ... На другой день еще хуже... Все пѣсни въ головѣ... Хожу по лѣсу, начну псаломъ—а кончу пѣсней.

Бью поклоны въ соборѣ, а въ глазахъ не иконы—поле зеленое, село родимое... Садъ барскій, да рѣка синяя внизу излучиной тянется... а по за рѣкой степь, наша степь, и по ней низко-низко туманъ виснетъ, не колышется, только въ ширь ползетъ, разстилается. Слезы, бывало, по лицу такъ и катятся... До того доходило, что бѣжать изъ монастыря думалъ... Да, слава Господу, опамятовался. Пошелъ къ архимандриту и въ самую тяжкую работу попросился. Мѣсяца полтора прошло такъ, что вечеромъ, какъ придешь домой въ келью, такъ, не доходя кровати, въ углу свернешься, шапку подъ голову, и до утра—словно мертвый... Отошло тогда... Больше не бывало. Извѣстно, Господь испытывалъ!

— А бывали такіе что не выдерживали такихъ испытаній?

— Бывали, какъ не бывать! Малодушіе это, ну, дьяволъ и пользуется шепчетъ въ уши и передъ глазами живописуетъ. Не соблюдешь себя и сгинешь, какъ червь. Одинъ въ монастырѣ у насъ на что пустился, чтобы рясу сбросить: донесъ слѣдователю, что-де онъ убійство совершилъ. Ну, его въ острогъ въ Архангельскъ, стали справки собирать—никакого такого убійства и не бывало. Ну, его изъ монастыря и выключили. Что же-бы ты думалъ—съ вина человѣкъ черезъ годъ сгорѣлъ...

— Кстати, правда ли, что разсказывалъ архимандритъ Александръ о своей поѣздкѣ на англійскіе корабли во время осады монастыря?

— Должно быть, у Максимова читали? Просто англичане потребовали сдачи монастыря—имъ и отказали. У насъ одному монаху въ виду непріятеля пришлось за порохомъ въ Архангельскъ отплыть!

— И удалось?

— Еще бы. Крестъ за это получилъ. Ему дали лодку и отпустили. Въ три дня онъ въ городъ попалъ. И погоня была. Ко дну пустили бы, еслибы поймали. Онъ и причастился передъ поѣздкой. Вѣдь на смерть шелъ. Впрочемъ, и монастырь-то защищался не для сбереженія

своихъ сокровищъ. У насъ однѣ стѣны оставались. Всѣ драгоцѣнности, деньги, документы, даже ризы съ образовъ были отправлены въ Сійскій монастырь на храненіе. А англичане сильно добирались до насъ. Стрѣляли. Бомбы внутри зданій разрывались. Ну, и Господь показалъ свое чудо: не токмо человѣка не убило и не ранило—ни одной чайки, ни одного яйца птичьяго не тронуло. Чайки же и задали англичанамъ. Какъ тѣ стали палить—онѣ и поднялись. Тысячами налетѣли на непріятеля, да сверху-то корабли ихъ и самихъ англичанъ опакостили... Умная птица!

— Ну, а мужество духа, бодрость, дѣйствительно были обнаружены монахами, какъ писалъ Александръ?

— И этому не вполнѣ вѣрь. Перетрусили нѣкоторые до страсти, упали на землю и выли. Да и какъ не спужаться—мы народъ мирный, наше дѣло молитва да трудъ, а не сраженіе. Такого страха и не увидишь нигдѣ. Да вотъ спроси у о. Пимена—онъ былъ въ то время!

Я обратился къ только-что вошедшему о. Пимену. Это былъ высокій, худой монахъ съ длинною сѣдою бородой, сгорбленный, едва передвигавшій ноги. Онъ подтвердилъ, что дѣйствительно монахи очень тогда «испужались».

— Вотъ какое у нихъ мужество было. Человѣкъ пятьдесятъ порѣшительнѣе было!

— Что же, когда изъ Архангельска возвратились съ порохомъ?

— Къ тому времени англичане ужъ домой убрались. Раньше-то мы не запаслись. Заднимъ умомъ крѣпки!

— Какъ не спужаться,—продолжалъ старикъ. Поди, если попадетъ — ноги тоже протянешь. Бонба, она не пожалѣетъ, у ней разуму нѣтъ... Нешто она понимаетъ, въ кого летитъ. У ней всѣ виноваты!

Разговаривая съ монахами, я не разъ убѣждался, какъ фанатически привязаны они къ своей обители. Простые послушники съ озлобленіемъ отзываются о каждой попыткѣ мѣстной администраціи вмѣшаться въ ихъ дѣла.

Монахи, когда имъ предлагали отсюда ѣхать настоятелями въ другіе монастыри, заболѣвали отъ отчаянія и умирали. Это своего рода тоска по родинѣ. Добровольно изъ нихъ не выѣзжаетъ никто. А между тѣмъ къ этому средству еще недавно прибѣгали архимандриты, чтобы отдѣлаться отъ надоѣдавшихъ имъ, или почему бы то ни было непріятныхъ имъ монаховъ.

«Въ другихъ обителяхъ, правда, богато живутъ, рясы шелковыя носятъ, да у насъ все лучше. У насъ настоящее пустыножительство»...

Обитель для нихъ отечество. Она замѣняетъ имъ все— семью, родину.

«У васъ въ Рассеѣ»,—говорятъ монахи. «Завтра назадъ въ Россію ѣдете?»—Ну, какъ у васъ въ Россіи народъ живетъ?»—«То въ Россіи, а то у насъ!»

XIX.

Соловецкая тюрьма и ея арестанты.

Соловецкій монастырскій острогъ вмѣстѣ съ Суздальскимъ ѣдва ли не послѣдніе остатки стараго времени, ужасовъ, когда-то пугавшихъ нашихъ предковъ и получившихъ на страницахъ исторіи свое мѣсто.

Сколько крови пролилось на эти сырыя, холодныя плиты, сколько стоновъ слышали эти влажныя, мрачныя стѣны! Какимъ холодомъ вѣетъ отсюда, точно въ этомъ душномъ воздухѣ еще стелется и расплывается отчаяніе и скорбь узниковъ, тѣла которыхъ давно истлѣли на монастырскомъ кладбищѣ. Невольный трепетъ охватывалъ меня, когда я вступалъ въ ограду этой исторической темницы. Князья, бояре, митрополиты, архіереи, расколоучители, крамольники томились когда-то за этими черными, насквозь проржавѣвшими рѣшетками. Сотнями свозили сюда колодниковъ со всѣхъ сторонъ Россіи. Тутъ всегда страдали за мысль, за убѣжденіе, за пропаганду. Цари московскіе часто ссылали сюда своихъ при-

ближенныхъ. Петръ наполнялъ кельи этого острога людьми, не преклонявшимися предъ его желѣзной волей. Измученные, часто прямо отъ пытки, съ вырѣзанными языками и ноздрями, сюда отправлялись искатели истины, за заблужденія на пути этого исканія. Одиночество, суровыя условія жизни ожидали ихъ здѣсь, вплоть до могилы или новаго мученичества. Расколоучители иногда отсюда посылались внутрь Россіи, гдѣ ихъ живьемъ сожигали въ деревянныхъ срубахъ. Это была наша старорусская инквизиція. Соловецкая тюрьма, когда къ ней приближаешься, кажется такою же громадною, многоэтажною гробницей, отчуда вотъ-вотъ покажутся, открывъ свои незрячія очи и потрясая цѣпями, блѣдные призраки прошлаго. Суевѣрный страхъ охватываетъ васъ когда вы входите въ узкую дверь темницы, за которой тянется вдаль черный корридоръ, словно щель въ какой-то каменной массѣ.

Снаружи, передъ вами, ряды узкихъ оконъ. Порою въ нѣкоторыя выглянетъ блѣдное-блѣдное лицо... Нѣтъ, это галлюцинація!.. Тройные ряды рамъ и рѣшетокъ едвали пропускаютъ свѣтъ въ одинокую келью заключеннаго.

Кто попалъ въ Соловецкій острогъ, тотъ позабытъ цѣлымъ міромъ. Онъ схороненъ заживо. О немъ не вспомнитъ никто. Пройдетъ двадцать, тридцать, сорокъ лѣтъ—онъ увидитъ только лицо своего сторожа. Тутъ содержатся преступники противъ вѣры. Теперь здѣсь лишь два арестанта. Кромѣ того, живутъ въ тюрьмѣ двое «не въ родѣ арестантовъ» по оффиціальной номенклатурѣ.

На меня тюрьма произвела отвратительное впечатлѣніе. Эта сырая каменная масса внутри сырой каменной стѣны переноситъ разомъ за нѣсколько вѣковъ назадъ. Жутко становилось мнѣ, когда я подходилъ къ ней. На лѣсенкѣ у входа сидѣло нѣсколько солдатиковъ. Для двухъ арестантовъ содержатся здѣсь двадцать-пять солдатъ съ офицеромъ.

— Что, братцы, можно осмотрѣть тюрьму?

Всѣ переглянулись; молчаніе. Явился старшой. Оказалось, что арестантовъ видѣть не позволяется... Они помѣщены въ верхнемъ корридорѣ; но остальные корридоры видѣть можно.

Я вошелъ въ первый. Узкая щель безъ свѣта тянулась довольно далеко. Одна стѣна ея глухая, въ другой —нѣсколько дверей съ окошечками. За этими дверями мрачныя, потрясающе мрачныя темничныя кельи. Въ каждой окно. Въ окнѣ по три рамы, и между ними двѣ рѣшетки. Все это проволенѣло, прокопчено, прогнило, почернѣло. День не броситъ сюда ни однаго луча свѣта. Вѣчныя сумерки, вѣчное молчаніе.

Я вошелъ въ одну изъ пустыхъ келій. На меня пахнуло мракомъ и задушающею смрадною сыростію подвала. Точно я былъ на днѣ холоднаго и глубокаго колодца.

Я отворилъ двери другой кельи—и удивился. Въ этой черной дырѣ комфортабельно помѣстился жидокъ—фельдшеръ мѣстной команды. Онъ былъ, какъ у себя дома. Въ третьей жилъ фельдфебель. Второй корридоръ этажомъ выше—то же самое.

— Тутъ никако нѣтъ?

— Есть, только «не родѣ арестантовъ». Добровольно сидятъ.

«Кто рѣшится жить добровольно въ такой ужасной трущобѣ?» и я вошелъ къ одному изъ этихъ страшныхъ узниковъ. Передо мною оказался высокій высохшій старикъ. Какъ лунь, сѣдая голова едва держалась на плечахъ. Глаза смотрѣли безсмысленно, губы что-то шептали. «Арестантомъ то же былъ когда-то. Ему ужъ сто-два года» — пояснилъ солдатъ.—Что же, онъ освобожденъ?

Оказалось, что лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ этого старика посадили въ Соловецкую тюрьму и позабыли о немъ. Только лѣтъ двадцать назадъ вспомнили — и онъ былъ освобожденъ. Когда ему объявили объ этомъ—было уже поздно. Старикъ помѣшался за это время. Его вы-

вели изъ тюрьмы, онъ походилъ-походилъ по двору, глупо и изумленно глядя на людей, на деревья, на синее небо, и воротился назадъ въ свою темничную келью. Съ тѣхъ поръ онъ не оставлялъ ея. Его кормятъ, даютъ ему одежду, иногда водятъ его въ церковь. Онъ подчиняется всему, какъ ребенокъ, и ничего не понимаетъ. Гдѣ-то у него осталась семья, но во все продолженіе своего заточенія ни онъ о ней, ни она о немъ ничего не слышала. Какая печальная жизнь! Что можетъ сравниться съ этимъ!

Другой узникъ, помѣщавшійся рядомъ и тоже добровольный, былъ высокій, крѣпкій, красивый человѣкъ, съ окладистою русою бородою. Это бывшій петербургскій палачъ, пожелавшій, по окончаніи своего термина, постричься въ монастырѣ. Соловецкіе монахи не отказались принять его, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ предварительно, пока они присмотрятся къ нему, нѣсколько лѣтъ прожилъ у нихъ въ тюрьмѣ. Какое странное сближеніе: палачъ и монахъ. Этотъ узникъ совершенно доволенъ своею судьбою. Онъ замаливаетъ старые грѣхи, вѣруя въ искупленіе. Сила, чисто рабочая сила его не пропадетъ для монастыря даромъ. Изъ него будетъ хорошій каменотесъ или носильщикъ, а Соловкамъ ничего больше и не надо.

— Ну, а наверхъ рѣшительно нельзя? — спросилъ я у солдатика. Оказалось, что строго запрещено новымъ архимандритомъ.

— При старомъ капитанъ, что сидятъ здѣсь, ходили вездѣ. Ихъ и въ кельи монашескія пущали, по лѣсамъ, по лугамъ. Ну, а какъ новый вступилъ, сейчасъ ихъ высокоблагородіе заперли, и никого къ нимъ не пущаютъ... Они ничего, ласковы, я допрежъ съ ними въ лѣсъ хаживалъ вмѣстяхъ!

— Что-жъ онъ дѣлаетъ?

— Чудной человѣкъ и больше ничего. Изъ себя жида изображаютъ. Субботу соблюдаютъ и разное такое. Одначе съ архимандритомъ горды очень — не покоряются.

Тѣ ихъ обращаютъ назадъ, въ православіе, но одначе капитанъ не слушаются и на своемъ стоятъ!

— Скучаетъ, вѣрно?

— Какъ не скучать! Книжки тоже читаютъ!

Какъ оказалось, это человѣкъ весьма образованный... Властные люди, которымъ тюрьма открыта, видѣвшіе его говорили, что онъ помѣшанъ, и что его слѣдуетъ держать въ психіатрической лечебницѣ.

— Они подъ святыми воротами, при старомъ архимандритѣ, проповѣди богомольцамъ держали. Оченно это быстро говорятъ и руками машутъ! — замѣтилъ мой проводникъ.

— А кромѣ него кто еще тамъ есть?

— Купецъ одинъ... Хорошій человѣкъ... Обходительный...

Больше я ничего не могъ узнать объ арестантахъ Соловецкаго острога.

Когда я вышелъ отсюда, и меня со всѣхъ сторонъ охватилъ теплый воздухъ лѣтняго дня, когда впереди опять раскинулась передо мною синь морская, а въ вышинѣ лазурь безоблачнаго неба, я невольно почувствовалъ все безконечное счастіе свободы... Какое блаженство пройти по этому зеленому лугу, углубиться въ этотъ тѣнистый, словно замершій надъ зеркаломъ извилистаго озера, лѣсъ. А тамъ—въ этихъ черныхъ кельяхъ острога, въ этихъ погребахъ...

Да, только узникъ изъ-за рѣшетокъ своей тюрьмы поймѣтъ неизмѣримое, божественное счастіе свободы. Какъ оттуда онъ долженъ смотрѣть на едва доступный его взгляду клочокъ голубого неба! Съ какою мучительною болью слѣдитъ онъ за жемчужною каймою облака, набѣгающаго на него, за серебряной искрою чайки, ныряющей въ высотѣ, за робко мигающей оттуда звѣздочкой ясной зимней ночи. О, не дай Богъ никому пережить эти ужасные годы одиночества и неволи. Легче—смерть!

XX.

Въ трапезной.

Я освѣдомился у монаха объ историческихъ подземельяхъ Соловецкаго монастыря.

— Какія подземелья? Погреба наши, что-ли? Квасная, кладовая...

— Нѣтъ, тюрьмы подземныя!

— Этого у насъ вовсе нѣтъ. Слухъ одинъ пущенъ, что есть, будто. У насъ есть одинъ братъ, очень эту старину любитъ. Ничего и онъ не нашелъ. Потомъ слышно было, что никакихъ такихъ мѣстовъ у насъ нѣтъ и званія. Ты, поди, у газетчиковъ читалъ? Врутъ!

Наконецъ, мы отправились въ трапезную. Длинный коридоръ былъ весь расписанъ фресками, возбуждавшими въ крестьянахъ-богомольцахъ безпредѣльный ужасъ.

— Б-оже мой!... Глядь-ка, изъ глотки-то змѣй ползетъ...

Разговоръ шелъ, повидимому, между фабричными, которые и здѣсь оставались вѣрны своей безшабашной манерѣ говорить.

— Чудеса, братецъ мой. А чортъ во какой... Ишь... Господи, спаси и помилуй!

— А вонъ пламя адово...

— Змій, исходящій изъ гортани, обозначаетъ грѣхи, —объяснялъ монахъ:— сей грѣшникъ пріиде ко схимнику, дабы покаяться во грѣсѣхъ своихъ. И видѣ схимникъ, что по наименованіи грѣховъ изъ гортани кающагося излетаютъ гады и всяческая мерзость—скорпіи и жабы, василиски и аспиды, хамелеоны и драконы крылатые. Напослѣдокъ оттуда показася глава змія погибельнаго, но грѣшникъ не покаялся искренно, и змій обратно въ гортани сокрыся. Изъ сего научитеся не таиться передъ пастыремъ во дни покаянные!

— Удавитъ онъ его, братцы, змій этотъ...

— Не, онъ тихо...

— А змій сей обозначаетъ великій грѣхъ противу духа святаго...

— Поди, кто о благолѣпіи храмовъ не заботится, тоже не похвалятъ?—спрашиваетъ странница у монаха.

— Заботься по силамъ. Черезъ силу тоже не подобаетъ, ибо и о дѣтяхъ малыхъ подумать надлежитъ, а кто имѣетъ избытокъ, тому точно жутко будетъ за равнодушіе ко храму,—объяснялъ монахъ.—Древле на церковь десятина шла, нынѣ—на волю каждому предоставлено!

Богомольцы продолжали изумляться и пугаться изображеній адскихъ мукъ и дѣлать свои соображенія о тотъ, кого больше будутъ жарить на томъ свѣтѣ ..

— Всякому по дѣламъ его, значитъ... Все зачтется... Премудрость это, братцы!

Наконецъ, мы вошли въ трапезную. Эта громадная комната въ сводахъ поддерживается необыкновенной толщины колонной. Она вся расписана. Яркія краски, позолота, лазурь, такъ и бросаются въ глаза зрителю. Впрочемъ, все носитъ на себѣ отпечатокъ чисто восточнаго великолѣпія. Нѣкоторые рисунки отличаются талантливостью. Таковы работы отца Николая, молодого художника-монаха—25 лѣтъ. Чрезвычайно хороша его картина «Снятіе со креста». Въ ней изящно и тщательно отдѣланы женскія фигуры. Многія картины обнаруживаютъ хорошее знакомство съ анатоміей.

Столъ для богомольцевъ поставленъ отдѣльно. На счетъ монастыря каждаго кормятъ три дня. Затѣмъ нужно ѣхать, если на дальнѣйшее пребываніе въ обители не дано особаго разрѣшенія высшею властью. Богомольцу даютъ обѣдъ и ужинъ. За обѣдомъ, на которомъ присутствовали мы, все шло тихо, чинно и спокойно. Передъ каждымъ—оловянная тарелка, деревянная ложка, вилка и ножъ. На каждые четыре человѣка подается одна общая миска съ варевомъ. Сначала всѣ, стоя у своихъ мѣстъ, ждутъ колокола. При первомъ ударѣ всѣ молятся и садятся, но ѣсть еще не начинаютъ. Лишь при третьемъ

ударѣ ложки опускаются въ миски, и вдоль всѣхъ столовъ послушники разносятъ небольшіе куски благословеннаго бѣлаго хлѣба. Каждая перемѣна блюдъ возвѣщается колоколомъ. Хорошенькіе монашки-подростки, похожіе на дѣвочекъ, разносятъ миски съ кушаньемъ. По окончаніи обѣда всѣ строятся у своихъ столовъ въ два ряда, и поется благодарственная молитва. Затѣмъ опять раздача благословеннаго хлѣба и вновь пѣніе псалма. Во время обѣда читается св. Писаніе. Крестьяне обѣдаютъ внизу съ служителями, женщины же отдѣльно отъ всѣхъ. Какъ видите, и здѣсь относительно сословій соблюдается табель о рангахъ. При мнѣ на обѣдъ было подано: соленая сельдь, окрошка изъ щуки со свѣжими огурцами, супъ изъ палтуса, уха изъ свѣжихъ сельдей, пшенная каша съ масломъ и молоко. Кромѣ того передъ каждымъ лежалъ громадный кусокъ хлѣба, фунта въ $2^1/_2$. Мяса, разумѣется, не подается никогда, и монахи быстро привыкаютъ къ этому, тѣмъ болѣе, что большинство — крестьяне и дома у себя рѣдко видѣли мясо. Сѣверный крестьянинъ питается треской и прочими рыбами изъ рода gadus, хлѣбомъ, брусникой, морошкой, солеными грибами (волнухами) и у моря—сельдью.

— Хорошо ѣдятъ монахи!

— Кажись, такую бы жисть—не ушелъ бы изъ монастыря!

— А ты больше—о душеспасеніи... Подумай о душѣ... Ишь, тебя яства смущаютъ... А въ нихъ, въ яствахъ этихъ—блудъ!

— Если съ вѣрой—какой блудъ? Безъ молитвы, да безъ вѣры—блудъ. А я съ чистымъ сердцемъ...

— То-то... О душѣ подумай, главное. Потому ей то—душѣ оченно жутко ежели да безъ Господа-Бога!

— Одно слово всевидящее око... И все какъ на ладонѣ... Должны мы, кажется, это понимать и чувствовать...

— А мы не понимаемъ. Потому въ насъ грѣхъ вселился... И за это насъ слѣдуетъ во какъ... Гли, гли—бѣсы бабу хворостятъ... во-какъ. Поди, подлая, проштрафилась .. Извѣстно—она баба и въ ей умъ бабій... Од-

*

нако и ихъ на томъ свѣтѣ не похвалятъ... Ишь хворостятъ какъ, а ей больно, и она кричитъ...

— Кается...

— Поздно... На томъ свѣтѣ не спокаешься... Тамъ раздѣлка будетъ...

— А вотъ ежель на Паску помереть—безпремѣнно въ рай пойдешь—такой придѣлъ положенъ...

— А ежель еретикъ на Паску помретъ?

— Его въ жупелъ. Потому онъ поганый и въ Бога не вѣруетъ...

— Одначе и еретики есть, молятся!

— Глаза отводятъ—извѣстно. Потому въ Рассеѣ всѣмъ имъ царь приказалъ: у меня, значитъ, чтобъ молиться, а ежели нѣтъ—ступай вонъ!

— Извѣстно, народъ некрещенный. Въ пѣтуха вѣруютъ!

— Ну? Въ пѣуна?..

— Ванька Шалый сказывалъ, у нихъ замѣсто креста, пѣтухъ на церквахъ...

— Ахъ, ты злое сѣмя!.. Въ пѣтуха!... Ну!.. Какже это нашъ царь батюшка терпитъ? Разнесетъ онъ ихъ, поди, за это...

— Турка, сказываютъ, въ луну вѣритъ...

— То луна—планида небесная, не пѣтухъ. Въ ей въ лунѣ—премудрость... А пѣтухъ что, ему только бы горло драть, потому онъ дуракъ и ничего понимать не можетъ...

— На счетъ куръ тоже... блудливъ поганый!...

— Въ пѣтуха!.. Какихъ необразованныхъ нацый на свѣтѣ нѣтъ... Нѣмецъ, такъ говорятъ, въ колбасу больше вѣруетъ, оттого его Карла Карлычъ прозываютъ, и большой онъ, этотъ нѣмецъ, плутъ...

— Ноничe народъ плутъ. Время такое!...

— Жуликъ народъ!...

— Куда таперче?..

— Спать, братцы, давай, потому мы, какъ слѣдуетъ, утромъ, рано встамши, помолились, потомъ въ церкви были, опосля потрапезовали. Теперь спокой требуется...

XXI.

Поѣздка въ Муксальму. Гигантскій мостъ. Ферма.

Соловецкій архипелагъ, отданный Марфою Посадницею въ вѣчное и безраздѣльное владѣніе монастырю, право котораго признано было и Іоанномъ Грознымъ, состоитъ собственно изъ острова Соловецкаго и изъ острововъ Анзерскаго, Муксальмы, Зайцева и др. мелкихъ. На Муксальмѣ скотъ и молочныя фермы обители. Доѣхать туда можно весьма удобно въ монастырскомъ экипажѣ за пятьдесятъ копѣекъ.

Утро было чудное. Только-что поднявшееся солнце сверкало въ листвѣ зеленаго лѣса изумруднымъ, лучистымъ блескомъ. Въ вѣтвяхъ березъ задорно перекликались птицы. Роса на каждомъ просвѣтѣ отливалась брилліантовыми искрами. Кругомъ все дышало жизнью и привольемъ. Кое-гдѣ по обѣимъ сторонамъ дороги, словно колонны, подпирающія своды голубого неба, поднимались вѣковыя сосны. Сквозь чащу трепетали подъ свѣтомъ лѣтняго яркаго дня небольшія озера. Громадные валуны, вырытые, когда проводились эти дороги, лежали по краямъ ихъ, уже охваченные молодою порослью. Порою, изъ-подъ самыхъ ногъ лошадей, не торопясь, выбѣгали тетерки. Въ лѣсахъ, поляхъ и лугахъ Соловецкихъ острововъ никто не имѣетъ права убивать дичи. Вслѣдствіе этого олень здѣсь на десять шаговъ подходитъ къ человѣку, лисицы и тѣ не убѣгаютъ отъ него. Минутъ пять рядомъ со мною бѣжала на Анзерскомъ островѣ куропатка и взлетѣла только тогда, когда я вздумалъ ее погладить. Разумѣется, такое довѣріе къ человѣку развилось вѣками. Монахи гордятся этимъ и называютъ свои лѣса—скотнымъ и птичьимъ дворами.

Не было примѣра, чтобы они давали кому-нибудь разрѣшеніе охотиться здѣсь. Понятно, что все это производитъ сильное впечатлѣніе на богомольца, объясняющаго

себѣ подобныя явленія чудомъ, невидимымъ вмѣшательствомъ сверхъестественной силы.

— Кротость—это... Значитъ, и звѣрь чувствуетъ, что здѣсь ему милость!

— Нешто звѣрь чувствуетъ?

— Господь черезъ него, незримо!

— Ну, и чудеса, братцы мои!

— Молись, знай. Этакихъ чудесъ здѣсь по всякій часъ довольно, потому обитель святая!

— Древле враны пророка въ пустынѣ питали, а нонѣ... Гляди, олень не бѣжитъ...

Виды направо и налѣво становились все живописнѣе. Описывать здѣшнія озера—невозможно. Извивы на зеленыхъ берегахъ, ихъ зеркальныя прозрачныя воды, ихъ волшебные острова полны такой прелести, что я стоялъ по цѣлымъ часамъ въ какомъ-нибудь безлюдномъ уголкѣ, не отрывая глазъ отъ этихъ чудныхъ картинъ. Да, дѣйствительно, въ красотѣ этихъ озеръ и лѣсовъ Богъ явилъ величайшее изъ чудесъ своихъ. Каждое такъ и просится на полотно. На небольшомъ клочкѣ земли природа развиваетъ передъ вами всѣ свои богатства. Какія сочетанія цвѣтовъ и линій! Посмотрите, напримѣръ, хоть на это озеро. Оно и все-то протянулось саженъ на тридцать, но въ зеркалѣ его водъ отражаются серебряные, словно расплавленные, комья небесныхъ тучекъ, голубая синь и неровная зубчатая линія лѣсныхъ вершинъ. Какимъ блаженнымъ миромъ и спокойствіемъ вѣетъ на странника этотъ маленькій, весь потонувшій въ зелени черемховыхъ кустовъ островокъ. А этотъ острый камень, словно громадная игла, выступающій изъ воды? На крайней точкѣ его покойно усѣлась бѣлая чайка и цѣлые часы сидитъ она тутъ, словно нѣжась въ лучахъ полуденнаго солнца. У самаго берега точно повисли въ водѣ неподвижныя рыбки. Едва-едва шевельнутъ онѣ плавниками и снова замираютъ надолго. А вонъ по самому дну пробирается хищная щука. Вся она передъ вами какъ на ладони. Чудныя озера!

Всѣхъ озеръ на Соловецкихъ островахъ около четырехсотъ. Большая часть ихъ сообщается между собою. Безъ нихъ прекрасныя картины этого райскаго лѣтомъ уголка были-бы однообразны и безжизненны. Да, дѣйствительно, ежели отрѣшаться отъ жизни и бѣжать въ пустыню,— то именно въ такую, какъ эта. Тутъ все, что можетъ замѣнить и общество, и суету, и движеніе. Измученная душа труженика воскресаетъ и, словно почка долго нераспускавшагося цвѣтка, — раскрывается для счастія и свѣта... Какимъ бы чуднымъ пріюгомъ любви могли быть эти острова, гдѣ своды молодыхъ деревъ словно манятъ въ прохладную, тихую, ничѣмъ и никѣмъ невозмутимую глушь. Эти роскошныя купы деревъ посреди озеръ, эти челны, неподвижные на ихъ водахъ, это уединеніе... Тишина!.. Невольно забываешься и рисуешь себѣ иную южную природу, пока печальный псаломъ монаха не возвратитъ къ дѣйствительности.

И великъ, и страшенъ становится этотъ аскетизмъ рядомъ съ прелестною, полною жизни природою...

Наконецъ, мы выѣхали изъ лѣсного царства. Даль широко раздвинулась передъ нами. Скоро мы уже были у берега синяго, глухо шумѣвшаго моря. Передъ нами тянулся мостъ, если только такъ можно назвать эту работу титановъ. Островъ Муксальма находится въ разстояніи двухъ верстъ отъ Соловецкаго. Между ними— нѣсколько мелкихъ островковъ въ разныхъ направленіяхъ. Монахи всѣ эти острова соединили между собою—заваливъ море до самаго дна каменьями и покрывъ этотъ искусственный перешеекъ щебнемъ и пескомъ. Сооруженіе грубое, но колоссальное, вѣчное. Бури, ледяныя громады, время—безсильны передъ этою каменною стѣною. Сколько труда надо было потратить на такую стихійную, подумать работу—страшно. Это кажется скорѣе дѣломъ природы, чѣмъ твореніемъ рукъ человѣческихъ. Мостъ тянется зигзагами. Въ самой серединѣ его перерывъ для прохода судовъ. Тутъ устроенъ деревянный, разводящійся мостикъ.

Мы были поражены. По краямъ этого сооруженія на-

валены громадные валуны, цѣлыя скалы. О нихъ разобьется всякая ледяная масса, прежде чѣмъ тронетъ ихъ съ мѣста. И все это сдѣлано безъ помощи машинъ— одною рабочею ручною силою. Трудно вѣрить, не видѣвъ, что горсть крестьянъ-монаховъ могла создать это чудо труда и генія. И между строителями, замѣтьте, не было ни одного техника. Простые крестьяне устроили все сами.

— Господь намъ помогъ: архимандриту видѣніе было. Молились мы передъ этимъ долго. Мѣсяцъ постъ строгій соблюдали и начали постройку. Самъ настоятель помогалъ намъ. Намѣстники камни тащили... Ну, и явилъ Господь чудо свое! Вотъ оно въявь! Кто дерзнетъ усомниться, кто помыслитъ, что нынѣ изсякла чудодѣйственная сила Его?

— И долго строили вы?

— Не мы строили; Зосима и Савватій и легіоны ангеловъ съ ними. Бывало, подымаемъ камни: въ такое время, простое, никакъ и не шевельнешь ихъ, а тутъ легко, потому невидимая сила была. Схимникъ нашъ одинъ пѣніе въ воздухѣ слышалъ. Небесныя рати Творца своего славословили. Въ лѣто все кончили. Да! Вѣра — великое дѣло. Сказано—горами движетъ. Чрезъ простыхъ рыбарей Господь силу свою являлъ древле, а нынѣ мы, иноки неграмотные, носители откровенія его!

Два крестьянина, бывшіе съ нами въ экипажѣ, при этомъ вышли и стали молиться, припадая къ землѣ.

Монастырскія лошади бойко бѣжали по массамъ камня. Нѣсколько изгибовъ и поворотовъ—и мы въѣхали на Муксальму, зеленѣющую, покрытую пастбищами. При насъ на мостъ вошло цѣлое стадо превосходныхъ коровъ, телятъ,—всего штукъ двѣсти. Ихъ отправляли пастись на свѣжіе луга Соловецкаго острова.

Мы посѣтили птичій дворъ, ферму, гдѣ осмотрѣли великолѣпно содержимыя конюшни, которыя чистятъ и моютъ ежедневно. Отъ этого такъ необыкновенно красивъ и самый скотъ соловецкій. Теплая комната для сквашиванія молока—опрятна до педантства. Въ кладовой мѣдхорошо вылуженныя посудины для молока сіяютъ,

какъ зеркало. Здѣсь доятъ коровъ не въ деревянныя ведра, а въ металлическія. Прохладная горница для храненія молочныхъ продуктовъ и рядомъ ледникъ — верхъ хозяйственнаго удобства и чистоты.

Не знаешь, чему удивляться. Мы привыкли видѣть нашего крестьянина въ вѣчной грязи, тутъ приходится убѣдиться, что эта грязь только результатъ его нищеты. Тѣ же крестьяне въ Соловкахъ раціонально ведутъ свои хозяйства и по любви къ порядку напоминаютъ собою чистокровныхъ нѣмцевъ. Намъ подали сливокъ густоты необычайной.

На чемъ ни останавливался взглядъ — все было безукоризненно, все поражало своимъ удобствомъ и цѣлесообразностію.

— Монастырь — хорошій хозяинъ! — замѣтилъ одинъ крестьянинъ.

— Хозяева у насъ точно хороши—не отъ міра сего,— вступился монахъ.—Такихъ хозяевъ, какъ Зосима и Савватій, ни у кого нѣтъ. Блюдутъ они свои помѣстья и о насъ, рабахъ своихъ, заботятся!..

Общій видъ фермы совершенно напоминаетъ крестьянскія хозяйственныя постройки. Только, разумѣется, разница въ приспособленіяхъ, размѣрахъ и уходѣ.

— Гдѣ-же у васъ быки?.. Только коровъ мы и видѣли!

— А быковъ, въ началѣ іюня, какъ подымется трава, мы выпускаемъ пастись, гдѣ хотятъ. Такъ до конца лѣта о нихъ и не заботимся. Одичаютъ совсѣмъ. Ну, ихъ и ловимъ потомъ, по порошѣ. Что твоя охота!

Когда мы ѣхали назадъ,—въ морѣ передъ нами чайки ловили рыбу. Цѣлый рядъ ихъ сидѣлъ на выступѣ громаднаго валуна. Вотъ на гребнѣ одной волны мелькнула серебристая спинка сельди, и въ одно мгновеніе крайняя чайка кинулась, выхватила ее изъ волнъ, высоко взвилась и, сдѣлавъ кругъ въ воздухѣ, вернулась и сѣла уже послѣднею. Вторая, немного спустя, повторила этотъ же маневръ и такъ до конца, не нарушая очереди и порядка...

XXII.

Доки и лѣсопильный заводъ.

Пароходъ «Вѣру» ставили въ доки, для перемѣны винта.

Соловецкіе доки—уже не грубое сооруженіе, не работа громадной физической силы, а основанное на научныхъ выводахъ и, при всей огромности своей, — изящное созданіе человѣческаго генія.

Монахи съ гордостію указываютъ на него, и невольно чувствуешь, что въ этомъ случаѣ гордость ихъ вполнѣ законна.

— Наши, изъ крестьянъ, строили! — объясняютъ они вамъ.

— А кто наблюдалъ за постройкой?

— Тоже монашекъ изъ мужичковъ!

— И техниковъ не было?

— Зачѣмъ намъ техники: у насъ Зосима и Савватій есть. Чего не поймемъ, они наставятъ!

Не описываю самаго устройства доковъ; скажу только, что и за границей я не встрѣчалъ сооруженія болѣе прочнаго и красиваго. Бока его обшиты гранитомъ, все до послѣдней мелочи изящно, несокрушимо и удобно. Края доковъ состоятъ изъ 8,000 балясинъ въ два ряда, промежутки между которыми завалены каменьями и засыпаны землею. Подъ гранитною обшивкой ничего подобнаго, разумѣется, не видно. Въ докъ проведены каналы изъ Святого озера и изъ резервуара мельницы св. Филиппа. Когда откроютъ шлюзы, вода стремится по этимъ двумъ путямъ съ ужасающей быстротою. До входа въ бассейнъ дока двѣ эти водныя массы встрѣчаются въ небольшомъ углубленіи: тутъ они кружатся и пѣнятся съ такой быстротой и шумомъ, что у зрителей захватываетъ дыханіе. Говорятъ, что отъ брошеннаго сюда бревна остаются только щепки. Потомъ весь этотъ водоворотъ стремится въ шлюзы и съ громомъ наполняетъ бассейнъ доковъ.

Когда вода поднимется до опредѣленной высоты, ранѣе введенный въ постоянный бассейнъ пароходъ ставится въ брусья, и потомъ вода спускается.

— Вѣдь этакъ Святое озеро можетъ изсякнуть!

— Нѣтъ. Святое озеро соединяется съ другими. У насъ всѣ озера связаны между собою каналами и подземными протоками. Иначе какъ объяснить, что въ маленькихъ озеркахъ пропасть щукъ завелось? Черезъ Святое озеро и резервуаръ св. Филиппа въ доки идетъ вода восьмидесяти озеръ... Мы еще какъ приспособили: — каналъ, который проводитъ воду въ шлюзы, движетъ также и машину лѣсопильнаго завода!

— Какъ строился докъ?

— Днемъ и ночью строили безпрерывно. Днемъ богомольцы, подъ присмотромъ монаховъ, а ночью одни монахи, сами. А за всѣми работами крестьянинъ-монахъ смотрѣлъ!

— Тяжела работа была?

— Нѣтъ, многимъ въ это время разныя явленія были. Подкрѣпляло это. Мы вѣдь такъ: какъ затомимся — сейчасъ молитву хозяину обители, ну—какъ рукой и сниметъ; или псаломъ хоромъ споемъ—и опять за работу!

Пароходъ былъ вдвинутъ и поставленъ въ теченіе двухъ часовъ. Все это время іеромонахъ и намѣстники тянули бичеву и работали наравнѣ съ простыми богомольцами. Меня поразило здѣсь отсутствіе бранныхъ словъ и пѣсенъ, безъ которыхъ, какъ извѣстно, работа у русскаго человѣка не спорится. Впрочемъ, въ другомъ мѣстѣ — «ухни, дубинушка, ухни; ухни, зеленая сама пойдетъ», а здѣсь — псалмы. Понукали лѣнивыхъ мягко и снисходительно. Не было слышно ни безтолковаго крика, ни неидущихъ къ дѣлу совѣтовъ и замѣчаній. Все совершалось въ строгомъ порядкѣ. Вводомъ парохода въ докъ распоряжался командиръ «Вѣры», отецъ Иванъ.

— Ну, а постороннія суда въ докахъ у васъ бывали?

— Какъ-же, мы недавно пароходъ «Качаловъ» Бѣломорско-мурманской компаніи чинили. Какъ-то разъ шкуну

одного помора, кажись, Антонова, разбило. Ну, онъ явился къ намъ: плачетъ парень, только, говоритъ, на постройку судна сбился, какъ Господь гнѣвомъ своимъ посѣтилъ. Мы поставили его въ доки, починили, пожалуй, лучше, чѣмъ прежде—сдѣлали, и отдали ему—пусть Богу молится!

— Ничего не взяли?

— Ни единой полушки. Что брать, ежели Господь человѣка посѣтилъ?

— А свое что-нибудь строили въ докахъ?

— Какъ-же, теперь пароходъ «Надежду» сами здѣсь соорудили. Винты для пароходовъ дѣлаемъ. Скоро и машины станемъ производить. Дай срокъ—все будетъ!

— Ну, а съ чего намѣстникъ работаетъ тамъ вмѣстѣ съ простыми матросами?

— У насъ первое дѣло—примѣръ. Какъ гостиннипу строили — самъ архимандритъ камни таскалъ. Кирпичи на тачкахъ возилъ. Трудъ—дѣло святое, всякому подобаетъ. Не трудишься, такъ и хлѣба не стоишь!

— Экое богачество,—удивлялся рядомъ крестьянинъ. Видимо, что Промысломъ Господнимъ все!

— И что чудно, братецъ мой, никого не приставлено, а все, какъ слѣдоваетъ идетъ!

— Вотъ, монашекъ, по ихнему въ большихъ чинахъ состоитъ,—а тоже канатъ тянетъ!

— Дома-то, какъ почну разсказывать — уши развѣсятъ. Поди, на тотъ годъ полъ-села сюда вдарится!

Тутъ же мы побывали и въ сараяхъ лѣсопильнаго двора. Вездѣ чистота, порядокъ. Работа кипитъ, но шума не слышно, и суеты не видать. Монахи работаютъ рядомъ съ богомольцами, подъ общимъ надзоромъ небольшого приземистаго іеромонаха, тоже не ограничивающагося однимъ наблюденіемъ.

Весь этотъ монастырь показалъ мнѣ то, чѣмъ могло бы быть русское крестьянство по отношенію къ труду и производительности, если-бы поперемѣнно его не давило то иго монгольское, то безвыходное крѣпостное состояніе.

XXIII.

У благочиннаго.

Благочинный церквей Соловецкаго монастыря, отецъ Ѳеодосій, оказался моимъ архангельскимъ знакомымъ. Я посѣтилъ его келью. Та же простота обстановки, что и у остальныхъ монаховъ.

— Часто, я думаю, поминаете Архангельскъ,—все же тамъ веселѣе, чѣмъ тутъ?

— Нѣтъ, монаху мѣсто въ монастырѣ. Какъ жилъ я въ Соловецкомъ подворьѣ, въ Архангельскѣ, такъ не зналъ, куда и дѣваться отъ скуки. Ходилъ, бывало, по кельѣ, а на улицу и выглянуть боялся, потому тамъ міряне. На монаха, что на дикаго, смотрятъ: куда-де затесался? Ну, и сторонишься. Въ монастырѣ я только и отдохнулъ. Мы вѣдь всѣ такъ. Думаете, тѣ иноки, что на подворьѣ въ городѣ живутъ—довольны своею участью? Нѣтъ, они лучше на самую тяжелую работу въ монастырь пойдутъ, чѣмъ тамъ оставаться. Бѣда это, особливо коли день праздничный. Народъ ходитъ, и все-то на тебя, что на звѣря заморскаго смотритъ. Да и соблазна тамъ больше. Здѣсь ничего не видишь — и не искушаешься, а тамъ трудно!

— Все же есть такіе, что въ городъ бы съ радостію поѣхали?

— Есть-то есть... Да мы ихъ туда не пустимъ... Что за монахъ — если онъ въ міръ стремится. Надѣлъ рясу, да принялъ постриженіе, такъ и сиди въ кельѣ—работай да молись, а о мірѣ и позабудь думать, потому тебя заживо похоронили, ты это и памятуй. Нѣтъ, такого народа мы не пошлемъ туда. Въ городъ изъ монастыря идутъ самые надежные люди, чтобы обители нашей не посрамили. И то нынѣ имя монаха, словно клеймо Каиново, стало.

— Разскажите мнѣ о чинахъ монашескихъ. Я слышалъ, что у васъ постриженіе дается не легко!

— Да... У насъ послушниками по семи-восьми лѣтъ бываютъ. Рясофорными монахами — восемь лѣтъ, а до манатейнаго монаха и пятнадцать лѣтъ прослужишь. А правъ повышеніе никакихъ не даетъ: развѣ что жалованье побольше. Іеромонахи, которые особенныя должности занимаютъ, получаютъ рублей по 50-ти въ годъ, остальные отъ 40 до 25 р.; простые монахи по 10, 6, 5 рублей, ну, а рясофорные, поди, и рубля въ треть не получатъ.

— А архимандритъ?

— Прежній получалъ 4,500 руб., новый отказался, только 3,000 руб. взялъ. Онъ у насъ простую жизнь любитъ. Во всемъ себѣ отказываетъ. Ну, и строгъ тоже. Хорошо это... Дурно, ежели пастырь слишкомъ стадо свое распуститъ. Большое нестроеніе изъ этого происходитъ...

— Правда ли, о. Ѳеодосій, что богомольцевъ у васъ съ каждымъ годомъ меньше становится?

— Это правда. Но все же нынѣ хотя ихъ и меньше, а *кадка* для приношеній полна.

— Какая *кадка?*

— А у св. Зосимы стоитъ.

— Т. е. кружка?

— Нѣтъ кадка, т. е. цѣлый боченокъ. Ужъ мы ее и опростали въ этомъ году разъ—а вновь наполняется!

— А отъ казны монастырь получаетъ что-нибудь?

— Да 1,200 р. въ годъ беремъ!

— При вашихъ доходахъ это вѣдь совершенно лишнее!

— Отчего же не брать, все въ пользу св. обители.

— Монастырь самъ легко бы могъ въ казну платить подати!

— Подати?.. Это зачѣмъ же! Неслыханное дѣло, что-бы монахи подати платили. Мы не отъ міра сего!

— Богомольцы къ вамъ однимъ путемъ черезъ Архангельскъ направляются?

— Нѣтъ. Идутъ и черезъ Кемскій уѣздъ. Теперь вотъ [illegible]овѣкъ въ Сумѣ сидятъ—шкунъ ждутъ, что-бы въ

монастырь переправиться. Ничего, пусть посидятъ. Все жители Сумы *покормятся!*

О. Ѳеодосій въ простотѣ души смотрѣлъ на богомольцевъ, какъ на доходную статью. Такъ, впрочемъ, смотритъ на нихъ большинство монаховъ. До Сумы, какъ оказалось, эти богомольцы шли пѣшкомъ изъ Петербурга и Новгородской губерніи. Ежегодно сюда направляются изъ Архангельска до 12,000 чел. (это преимущественно крестьяне Вологодской, Вятской и Пермской губ., также и архангельцы), изъ Онеги до 690 ч. (олончане, новгородцы), изъ Кеми до 1,300 ч. (кемляне, корела, петербуржцы и псковичи).

— Я слышалъ, что въ докахъ за работу вы дорогонько берете?

— Мы беремъ дорого? Нѣтъ, у насъ англичане были и тѣ удивлялись дешевизнѣ. Мы за то, чтобы ввести въ докъ и вывести изъ дока судно, съ разными исправленіями, беремъ 100 р., и за то, чтобы снять судно съ мѣста крушенія, тоже—100 р. А намъ только развести пары да выйти лишь изъ гавани обходится въ 70 р. Вы говорите, что у насъ дорого. А вонъ, какъ Бѣломорская компанія содрала съ военнаго корвета «Полярная Звѣзда» за самыя ничтожныя исправленія 6000 р., это ужъ грабежъ. У насъ бы за то же больше 500 р. не взяли. На то они, впрочемъ, нѣмцы, а нѣмцамъ законъ не писанъ. Мы бѣднымъ судохозяевамъ-поморамъ и даромъ чинимъ суда, памятуя заповѣдь Христову. Про насъ много лишняго разсказываютъ!

— Ну, а относительно работъ у васъ какъ? Всѣ ли обязаны трудиться?

— Всѣ безпрекословно. Да оно и не трудно, потому вѣдь мы изъ мужичковъ. У насъ такъ искони ведется. Царь Петръ сюда духовника своего Іону присылалъ. Что-жъ?—Вѣдь онъ въ Соловкахъ поваромъ былъ. Примѣрно, я благочинный, ну, а пошлютъ меня камень тесать, я и пойду. Бывали примѣры! Потому это не работа, а «послушаніе». На свв. Зосиму и Савватія работаемъ. Коли

кому работы не назначатъ, такъ онъ самъ начнетъ либо ложки дѣлать деревянныя, либо образки рисовать. Продаетъ все это, а деньги въ казну нашу вложитъ!

— Есть у васъ урочные часы для работы?

— Нѣтъ, всякому предоставлено по мѣрѣ силъ, кромѣ общихъ работъ. Оно и лучше—больше и усерднѣе трудятся. Палка намъ не нужна, сами работаемъ!

Зазвонили къ вечернѣ. Мы вышли. Намъ пришлось проходить по лѣстницѣ архимандрита. Тутъ терлась упомянутая прежде меланхолическая дѣва.

— Сударыня, пожалуйте внизъ... Зачѣмъ вы здѣсь? Уходите, уходите. Тутъ нечего дѣлать...

— Архимандритъ страсть не любитъ,—замѣтилъ онъ мнѣ,—если у него на лѣстницѣ бабье торчитъ. Большое къ женскому полу отвращеніе чувствуетъ.

XXIV.

Могила Авраамія Полицына. — Похороны богомольца.

Въ лугахъ Соловецкаго монастыря стоятъ громадные стога сѣна. Его здѣсь хватитъ года на два. Предусмотрительные монахи запасаются надолго. Почемъ знать: сѣверная природа капризна; легко можетъ случиться, что на слѣдующій годъ сѣна и не хватитъ.

— Много у васъ лошадей? «Ста два, поди, есть. Ничего, мы ихъ прокормимъ. Овса тоже даемъ. Только вотъ сѣно олени ѣдятъ баско».—Что-жъ, ихъ стрѣляютъ?—«Не, у насъ звѣря стрѣлять нельзя. А для рабочихъ на зимнее продовольствіе мы ихъ въ сѣти ловимъ». — Какъ, оленя въ сѣти?—«Да, въ сѣти: разставимъ сѣть, да и загоняемъ стадо; иногда случается штукъ пятьдесятъ, семьдесятъ, сто попадаетъ. Потомъ ихъ бьютъ, ну, и на обѣдъ рабочимъ свѣжинка идетъ. Извѣстно, рабочій человѣкъ не то, что нашъ братъ, монахъ. Мірянинъ, онъ къ одной рыбѣ не привыкъ. Его кормить нужно, онъ и будетъ потомъ въ Рассеѣ говорить, что мы рабочаго человѣка бе-

режемъ. Какъ убьютъ оленей да посолятъ, смотришь, на зиму и хватитъ».

Мы въ это время шли мимо большого кирпичнаго строенія съ открытыми окнами. Это оказался хлѣбный магазинъ.

— Муку да капусту мы только и покупаемъ. Тысячъ двадцать пудовъ въ годъ, случается, а то и всѣ тридцать. Хлѣбъ у насъ тутъ въ зернѣ. Мельницы свои, слава Богу... На сухомъ мѣстечкѣ здѣсь и складено. Вѣтеркомъ провѣваетъ—оно и не портится. Ты вотъ говоришь — звѣря стрѣлить, а вѣдаешь ли: что однова богомолецъ пошелъ оленя стрѣлить въ лѣса наши, такъ ангелы его оттуда лозой выгнали. Самъ разсказывалъ, старики говорятъ. У насъ мѣсто святое, излюбленное. Тутъ ни звѣря, ни птицы не тронь—кровь вопіетъ!

— Гдѣ-то здѣсь вы могилу Авраамія Полицына открыли?

— Неужели не видалъ еще? Пойдемъ!

Мы вошли въ ограду монастыря, и тутъ, у самой стѣны громаднаго собора, монахъ показалъ мнѣ небольшую могилу, тщательно укрытую желѣзнымъ колпакомъ.

— Почему же извѣстно, что это и есть могила Полицына?

— Потому у насъ есть старецъ одинъ Серафимъ, онъ это и знаетъ. Надписи на камнѣ разобралъ!

— Къ чему же было забивать желѣзными листами камень въ такомъ случаѣ?

— А чтобъ не портился...

Дальнѣйшихъ доказательствъ подлинности этой могилы не оказалось.

Когда я изъявилъ желаніе поговорить съ о. Серафимомъ о могилѣ—онъ оказался больнымъ. На другой день тоже. Такъ я и уѣхалъ.

Могила этого героя была открыта, какъ говорятъ, въ прошломъ году. Вокругъ нея монахи построили ограду весьма мизернаго вида. Единственное, что еще производитъ нѣкоторое впечатлѣніе, это возносящіяся тутъ же

старинныя стѣны собора, вѣющія цѣлыми столѣтіями пережитаго былого, связанныя съ цикломъ многочисленныхъ легендъ. Говорятъ, надъ могилою Палицына нынѣче служатъ молебны.

Заговоривъ о памятникахъ, нельзя умолчать еще о двухъ, выстроенныхъ близъ доковъ. Это небольшія колонны изъ цѣльнаго гранита. Одна воздвигнута въ намять защиты Соловецкаго монастыря отъ англичанъ, другая—въ память построенія соловецкой гавани. Художественными достоинствами ни та, ни другая не отличаются. Вообще, монахи соловецкіе лишены артистической жилки. Всѣ ихъ часовеньки, памятники не отличаются вкусомъ и изяществомъ. Это просто или вычурныя постройки, удовлетворяющія мѣщанскимъ требованіямъ, или прямолинейныя по рутинному рисунку.

Во дворѣ монастыря находятся кучи ядеръ, брошенныхъ сюда англичанами. Говорятъ, что на многихъ изъ нихъ вовсе не англійскія клейма. Думаю, что такой слухъ несправедливъ. Хотя монахи и преувеличиваютъ подвиги свои во время такъ называемой осады монастыря, но, тѣмъ не менѣе, бомбардировка его—несомнѣнное и важное историческое событіе.

На другое утро, только-что я открылъ глаза, какъ прямо въ лицо мнѣ ударилъ знойный, ослѣпительный лучъ солнца. Этотъ яркій, лѣтній день нельзя было не назвать пышнымъ, рѣдкимъ на сѣверѣ. Я началъ бродить по окрестностямъ монастыря, только-что осмотрѣвъ его литографію и слесарню—заведенія, устроенныя здѣсь въ большихъ размѣрахъ и весьма раціонально. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ руководятъ дѣломъ исключительно крестьяне-монахи.

Зайдя въ одинъ тѣнистый уголокъ, я наткнулся тамъ на высокаго болѣзненнаго олончанина, какъ оказалось, изъ Повѣнецкаго уѣзда. Разорванная рубаха, плохенькій армячекъ, лапти, осунувшіяся черты блѣднаго, истощеннаго лица,—все это вѣяло лютою нищетою, тяжелой борьбой изъ-за куска насущнаго хлѣба. Даже обильная ме-

настырская трапеза не повліяла на него. Я разговорился съ нимъ.

— На годъ бы остался здѣсь... Потому баско тутотко... Да, семьишка въ деревнѣ. Кто ее кормить станетъ?

— А теперь они какъ?

— Да, вишь, я въ Онегу на лодкѣ доплылъ. Муку отъ купчей возили. За одно ужъ къ соловецкимъ угодникамъ: не пошлютъ ли святители наши какого облегченія... Тяжко намъ нодѣ, такъ ли тяжко, что хоть въ омутъ. И хлѣбца-то цѣльнаго по праздничкамъ не увидишь. Вотъ оно каково житьишко наше горькое—неурожаи одолѣли!

— Хлѣба у васъ плохи?

— Хлѣба у насъ, парень, колосъ, что волосъ, глянешь зерно — всего одно... Вотъ они наши хлѣба. На промыслы бы какіе, такъ міроѣды поѣдомъ ѣдятъ насъ. Такова ли жадность у нихъ. Не подступайся. Изъ кабалы и не выходимъ. Только лѣтомъ чуть уплатишь подати—зимой жрать нечего...

Къ говорившему подошли товарищи. Что это были за лица! Блѣдные, жалкіе, искалѣченные, съ мутными, потухшими глазами, тяжело дышавшіе люди казались отмѣченными тѣми рѣзкими чертами, которыя холера кладетъ на свои жертвы. Поступь ихъ была неровна, понуренныя головы, безсильно повисшія руки, вдавленныя отъ лямокъ груди производили на свѣжаго человѣка самое тяжелое впечатлѣніе.

— Вы всѣ черезъ Онегу шли?—спросилъ я... Они переглянулись. Я повторилъ вопросъ.

— Онегой...

— Вы сюда какъ? Въ Онегу какъ попали?

— Спервоначалу лямились... Потомъ и пошли въ Онегъ-рѣку къ Соловкамъ. Напредь уговоръ былъ.

— Трудна была, поди, работа?

— Чего трудна... Ровная... Средственная работа!— Казалось, они потеряли даже сознаніе тяжести этого неустаннаго, обезсиливающаго, лошадинаго труда.

— Заработка мало осталось?

— Прохарчились очень. Нонѣ харчъ дорогъ. Рубля по четыре остаточныхъ пришлось.

— Тоже, вѣрно, и въ кабакъ снесено не мало?

— Безъ кабака не обойдешься. Никакъ безъ кабака не обернуться. Таперчи какъ у всѣхъ животы подведетъ, такъ и рѣжетъ, а кого и лихоманка съ огневицей хватитъ. Какъ безъ кабака? Прогрѣетъ внутри, другимъ человѣкомъ станешь!

— Безъ кабака—пагуба. Почитай, всѣ бы легли... Ахъ, родители наши, зачѣмъ на такое голодное житьишко произвели насъ!

— Молитва предъ св. Иринархомъ помогаетъ въ эфтихъ случаяхъ!—вмѣшался молодой монашекъ.

— Какой Иринархъ?

— Подъ спудомъ почиваетъ!

— Святой?

— То-есть, они еще не святые, не утверждены Синодомъ, одначе, многія чудеса бываютъ. Особливо, ежели кто съ вѣрою... Зубная боль теперь—тоже помогаетъ. У насъ и молитва такая есть. Но главное, чтобъ сердце чисто. Онамедни вдова одна благочестивая молебенъ отслужила, что-жъ бы вы думали?—Нынѣ извѣщаетъ изъ Архангельска, что ей пенціонъ вышелъ!

Я пошелъ за ограду зеленѣвшаго тутъ-же кладбища. Все было тихо и покойно. Птицы задорно перекликались въ изумрудной листвѣ, широкіе лучи солнца обливали мягкимъ свѣтомъ насыпи и могильные кресты. Цвѣты пестрѣли въ прогалинахъ. Откуда-то доносилось молитвенное пѣніе. Я пошелъ на голоса.

Къ свѣжей, вырытой только-что могилѣ подходили іеромонахъ и іеродіаконъ. Четыре послушника выносили за ними изъ кладбищенской церкви деревянный гробъ, еще не закрытый.

Хоронили богомольцы, умершаго на первый день своего пріѣзда въ монастырь, въ мѣстной больницѣ; темное, [illegible]лодавшее, лицо, синіе земляные круги подъ

глазами, странно заострившійся носъ. Волосы были расчесаны. Онъ лежалъ въ чистомъ бѣльѣ, покрытый савановъ. Монастырь на свой счетъ одѣлъ его во все новое. Даже валенки на ногахъ, подшитые кожей, были свѣжіе. Только гробъ оказывался не по росту трупу. Колѣни покойнаго были какъ-то согнуты.

— Кто это?—спросилъ я у послушника.

— Господь его вѣдаетъ... Рабъ Божій Василій!

— И больше о немъ ничего не извѣстно?

— Ничего!

Привезли его на пароходѣ больного, чуть не холерой, отъ дурной пищи, отъ холода и сырыхъ ночлеговъ во время дороги. Несчастный, прошедшій цѣлыя тысячи верстъ, питаясь подаяніемъ, умеръ у порога всѣхъ святынь, которымъ онъ думалъ поклониться. Умеръ въ забытьи, не сознавая, гдѣ онъ. Говорятъ, бредилъ, звалъ жену, дѣтей, ласкалъ ихъ, говорилъ съ ними...

На соловецкомъ кладбищѣ одною могилою больше; гдѣ-нибудь въ далекой глуши, въ неисходномъ захолустьѣ, однимъ кормильцемъ меньше. И долго будетъ ждать осиротѣвшая семья хозяина, и часто будетъ выходить на дорогу убогая жена его—не покажется ли милый странникъ вдалекѣ, покрытый пылью и грязью.

Изъ могилы поднимутся цвѣтики алые, покосится черный крестъ надъ нею;—а родимая семья все не будетъ знать, что сдѣлалось съ ея кормильцемъ. И цѣлые ночи на-пролетъ станутъ плакать дѣти съ своей больною матерью, при тускломъ, словно вздрагивающемъ свѣтѣ лучины... Какъ горячи ихъ молитвы!..

А надъ нимъ—тяжелая зеленая насыпь, и эта темная мозолистая рука уже не будетъ ласкать бѣлобрысыя заскорузлыя головки дѣтей, словно рой пчелъ кружившихся около отца когда-то...

Наконецъ, и ждать его перестанутъ. Только бродя подъ окнами съ сумою, станетъ ныть жена его о томъ, какъ бросилъ ее съ малыми дѣтками хозяинъ и ушелъ къ Соловкамъ, а оттуда невѣдомо куда. Дѣйствительно—невѣдомо куда!

Умершій прибылъ въ обитель одинъ. Паспорта при немъ не оказалось. Должно быть, оставилъ его въ сумѣ, а сума попала къ какому-нибудь Ѳомушкѣ-блаженному или къ Макридѣ-странницѣ. Такъ и осталось неизвѣстнымъ, что за человѣкъ померъ. Звалъ его кто-то Василіемъ—за Василія и схоронили.

Вмѣстѣ съ землею яму заваливали и каменьями. Тутъ ужъ такая почва. Я до конца достоялъ здѣсь, и грустныя думы, и скорбныя воспоминанія мелькали въ головѣ.

Хотѣлось плакать надъ этою жалкою, безразсвѣстною жизнью.

И досадно стало на яркое, равнодушное ко всему солнце, на этихъ задорно перекликавшихся птицъ, на всю эту роскошь яснаго дня.

— Былъ человѣкъ, и нѣтъ человѣка! — замѣтилъ послушникъ.

— Всѣ помремъ! Вѣрно твое слово! — согласился другой.

XXV.

Въ больницѣ у схимниковъ.

— Велика ли у васъ больница?

— Что больница! Что въ ей... Одинъ грѣхъ. Господь гнѣвомъ своимъ посѣтилъ, а міряне къ земнымъ медикамъ прибѣгаютъ. Точно они сильнѣе Царя Небеснаго. Охъ—невѣріе! Что медика призывать, что идолу поклоняться—все едино!

— Такъ у васъ, значитъ, доктора нѣтъ?

— Постъ и молитва—вотъ доктора. Больница есть, но для мірянъ больше. Истинные монахи гнушаются этимъ. Отцы церкви къ докторамъ не прибѣгали и погибельныхъ лекарствъ не вкушали, а, простираясь предъ алтаремъ, молили Господа объ исцѣленіи и исцѣлялись. Такъ и нынѣ у насъ многіе иноки въ случаѣ недуга

какого поступаютъ. Постъ и молитва! Мудренъ больно народъ сталъ, противъ Бога идетъ. Что означаетъ болѣзнь? Гнѣвъ Господень означаетъ; ибо сказано, что безъ воли его ни единый волосъ не спадетъ. Забываемъ заповѣди! Не писано ли на горѣ Синаѣ— «не сотвори себѣ кумира», а мы кому поклоняемся—магамъ и волшебникамъ!

— Ну, доктора—не маги!

— Какъ не маги, ежели зелья составляютъ, ежели съ силою небесною бороться мнятъ? При Фараонѣ волшебники тоже жезлы свои обратили въ зміевъ, но змій Моисеевъ пожралъ ихъ всѣхъ. Что доктора! Господь смилуется и пошлетъ исцѣленіе. Вотъ, напримѣръ, было у насъ: инокъ заболѣлъ, горячка, тифъ-ли, Господь знаетъ. Въ черныхъ пятнахъ сталъ весь. Что-жъ Призвалъ трехъ монаховъ и просилъ молебенъ у себя отслужить и помолиться за него. Три дня по утрамъ въ кельѣ его служили, а на четвертый онъ всталъ и работать пошелъ. Вотъ наши доктора—Зосима, Савватій, Филиппъ и Ирмогенъ. Такъ это медики не отъ міра сего. Въ Архангельскѣ тоже мальчикъ одинъ-было заболѣлъ, ну, мать за него обѣщаніе дала:—если оправится, такъ на годъ въ Соловки. Сейчасъ, какъ встрепанный, вскочилъ. Потому, здѣсь наука небесная—чудодѣйствіе, а не суемудріе и вольномысліе языческое, не измышленіе сатанино... Нечего ее и смотрѣть, больницу эту!

Богомольцы-крестьяне подтверждали это недовѣріе къ лекарямъ.

— Въ емъ, въ лекарѣ, настоящій штобъ силы ни на эстолько нѣтъ. Кого Господь захочетъ сказнить, что лекарь подѣлаетъ? Мужиченко одинъ у насъ былъ, заболѣлъ это... Ну, сельскій дохтурь сичасъ. Разное давалъ ему; сказываютъ, мастью какой-то обкладали... Всталъ мужиченко, съ виду и здоровъ, что жъ бы ты, милой человѣкъ, полагалъ—не прошло и мѣсяца, какъ съ вина сгорѣлъ. Вотъ они—доктора. Что въ ихъ—мечтаніе одно... Прахъ!..

— Духъ самомнѣнія,—продолжалъ монахъ.—Есть у насъ монашки: какъ заболятъ, сейчасъ лекарства глотать. Но я все же такимъ говорю: что творите? Бѣса въ нутро свое пущаете!

— А ежель да съ молитвой,—вмѣшался другой крестьянинъ:—ежель съ вѣрою, напримѣръ, псаломчикъ?..

— Сіе тому подобно, ежели бы ты на разбой или святотатство съ молитвой шелъ. Сіе усугубляетъ, но не отвращаетъ. Истинно глаголю вамъ, не пещитеся о тѣлесахъ вашихъ, но о душѣ непрестанно помышляйте. Не вѣруйте въ медиковъ земныхъ, но на медика небеснаго уповайте ..

Другой уже монахъ указалъ намъ больницу. Она вся заключалась въ двухъ маленькихъ комнатахъ. На 600 человѣкъ, составлявшихъ постоянное зимнее населеніе обители, этого мало. Воздухъ здѣсь спертъ и пропитанъ міазмами. Большинство больныхъ—богомольцы. Было при мнѣ двое трудныхъ.

Бѣлье на кроватяхъ безукоризненно чисто, лекарствъ не замѣтно, хотя и есть аптека.

Управляетъ больницею фельдшеръ-монахъ. Сначала онъ былъ нанятъ обителью, а потомъ монахи убѣдили его, ради душеспасенія, принять постриженіе. Оно и выгоднѣе для монастыря. Нужный человѣкъ пріуроченъ навсегда, да и денегъ ему не приходится платить. Что касается до денежнаго интереса, тутъ монахъ забываетъ, что онъ не отъ міра сего.

Я видѣлъ монаховъ соловецкихъ въ Архангельскѣ, заключающихъ договоръ о поставкахъ хлѣба, каменнаго угля, управляющихъ подворьями, и все тотъ же рисовался предо мною русскій мужикъ, тонко замѣчающій подходцы благопріятеля и умѣющій соблюсти свою выгоду. Тутъ онъ только трудится не для своего кармана, а для обители. Но мы уже видѣли выше, что монастырь для него отечество, семья родная. Внѣ монастыря ему все чуждо и дико. Чѣмъ сильнѣй и богаче монастырь, тѣмъ сильнѣе и богаче онъ самъ.

— Какъ вы лечите?—обратился я къ монаху, присматривавшему за больницею.

— А мы больше на Божью волю уповаемъ. Нечего надѣяться на медиковъ земныхъ!

На одной изъ кроватей больницы лежалъ горячечный больной. Онъ метался, дико оглядывая окружающихъ. Мокрые волосы прилипли ко лбу; иногда, судорожно вздрагивая и скрипя зубами, онъ что-то говорилъ про себя. Мы уловили одну минуту сознанія, когда онъ удивленно взглянулъ на насъ и потомъ обернулся къ окну, откуда видѣлся ему клочокъ голубого неба, съ яркими искрами чаекъ, носившихся въ его лазури. Какая-то невыразимая грусть сквозила въ его неподвижномъ взглядѣ. Онъ словно прощался со всею завидною волей, съ свободнымъ воздухомъ родныхъ далекихъ полей, съ милымъ угломъ, гдѣ живутъ его близкіе и дорогіе. На одно мгновеніе блеснули слезы, и опять онъ заметался. Въ бреду онъ поминалъ дѣтей, жену, поименно звалъ ихъ... и, право, намъ казалось,—онъ былъ счастливъ въ эти минуты.

— Выздоровѣетъ?—спросили мы у фельдшера-монаха.

— Какъ Господь. Молебенъ отслужимъ, авось, и полегчаетъ...

Вообще же нужно замѣтить, что, благодаря необыкновенно здоровому воздуху Соловецкаго архипелага, здѣсь мало больныхъ. Чаще всего монахи умираютъ отъ чахотки. Я видѣлъ нѣсколько еще шевелившихся, но уже близкихъ къ смерти монаховъ. У нихъ землистый цвѣтъ лица, худоба, впалая грудь, воспаленныя очи... Видно, не легко дается подвигъ самоотреченія и аскетизма, пустынножительство недаромъ обходится своимъ адептамъ.

— У насъ вѣдь лѣтомъ только и лежатъ въ больницѣ. Зимой мало—человѣка два. Монахъ въ больницѣ не станетъ лежать, ему въ кельѣ лучше!

Изъ больницы мы вышли въ корридоръ, по одну сторону котораго шли маленькія кельи. Тутъ мы наткнулись на полнѣйшее воплощеніе смерти. Это былъ схимникъ. Онъ только-что вышелъ изъ собора, и, едва пере-

двигая ноги, брелъ домой. Весь въ черныхъ покровахъ, усѣянныхъ изображеніями гробовыхъ крестовъ и адамовыхъ головъ, въ капюшонѣ, полузакрывавшемъ лицо, онъ производилъ крайне мрачное впечатлѣніе. Изъ-подъ савана, надѣтаго на него, глядѣли совершенно неподвижные, безцвѣтные глаза. Это были глаза не только безъ блеска, но и безъ взгляда... Медленно онъ прошелъ мимо насъ, и только-что мы успѣли оправиться, какъ съ другой стороны на темномъ фонѣ полусумрачнаго корридора показалась другая фигура... Длинная-длинная. Только этотъ былъ еще ужаснѣе. Дайте мертвецу острый, но холодный взглядъ — и передъ вами будетъ встрѣченный нами призракъ.

— Нѣтъ спасенія... Бѣсы, дьяволы... Геенна огненная... Пламя, пламя адово... Плачьте, скорбите!..—бормоталъ онъ, проходя мимо насъ.

— Помѣшанный!—шепнулъ намъ монахъ.

Мы выбѣжали вонъ...

Воздуху, свѣту!..

XXVI.

Мельница св. Филиппа. — Прогулка по стѣнамъ. — Въ башнѣ.

Нѣсколько столѣтій тому назадъ св. Филиппъ, замученный потомъ Іоанномъ Грознымъ, устроилъ въ стѣнахъ обители мельницу, существующую и теперь на томъ же мѣстѣ, но, разумѣется, въ иномъ видѣ. Я отправился туда.

На дорогѣ мнѣ попалась неизмѣнная дѣва съ флюсомъ. За краткое пребываніе въ монастырѣ, она до того успѣла надоѣсть монахамъ, что тѣ бѣгали отъ нея, какъ отъ чумы. Несчастная, кромѣ того, имѣла претензію изъясняться съ крестьянами въ рясахъ на французскомъ діалектѣ. Такія дѣвицы только и возможны въ захолустьяхъ самыхъ глухихъ провинцій. Меланхолическая дѣва и моего проводника не оставила въ покоѣ.

— Изыди, сатана! Да воскреснетъ Богъ, и расточатся врази его! — ожесточился благочестивый инокъ. — Яко отъ лица огня! Иди вонъ, что смущаешь крещеную душу. Я вѣдь тебя не трогаю. Повѣрите-ли,—обратился онъ ко мнѣ, когда дѣвица удалилась,—отбиться отъ нея нельзя. Такъ лѣзомъ и лѣзетъ. Экая, прости Господи, несообразная. Вчера къ монаху одному въ келью забралась, едва ее оттуда выгнали—неймется. Ахъ, ты расподлая душа. Страсть, какъ въ нихъ любопытство свирѣпствуетъ!

— На Аѳонѣ лучше, тамъ ихъ совсѣмъ не пущаютъ. Что въ ихъ—прахъ одинъ. Нешто она человѣкъ... Хвостомъ вертятъ передъ тобою, очами помаваютъ, плечами водятъ... Ахъ, тварь!.. Бываютъ, впрочемъ, и между ними скромныя, молятся, не лѣзутъ... А и смѣшныя же есть. Года три тому изъ Онеги къ намъ одна англичанка пріѣхала. Ей кто-то сказывалъ, что монахи женскій полъ не своей вѣры убиваютъ. Такъ она все русскую изъ себя представляла: крестится по нашему, поклоны отбиваетъ. Смѣхота!

— Говорятъ, кемлянокъ вы особенно не любите?

— Правда, потому развратныя онѣ... Сто бѣсовъ въ каждой сидитъ!

Наконецъ, мы вошли внутрь монастырской башни, гдѣ помѣщается мельница св. Филиппа. Монахи размалываютъ здѣсь рожь, покупаемую въ Архангельскѣ.

Въ темнотѣ что-то вращалось и гудѣло. Слышались какіе-то исполинскіе взмахи, рокотъ воды и глухой, разсыпчатый грохотъ. Я остановился въ дверяхъ, не осмѣливаясь идти дальше, и хорошо сдѣлалъ. Когда глаза мои привыкли къ темнотѣ, я увидѣлъ, что здѣсь вертикально вращался громадный воротъ, каждый зубецъ котораго могъ бы убить неосторожнаго зрителя. Кромѣ того, прямо внизъ отвѣсно шелъ громадный провалъ. Вышина — ужасная. Упасть, такъ и костей не соберешь. Мельница водяная. Тутъ свой резервуаръ, онъ приводитъ воротъ въ движеніе. Мука здѣсь стоитъ въ воздухѣ; ею дышешь, она покрываетъ лицо, руки, платье. Помостъ

дрожитъ подъ вами, и вы невольно смущаетесь, а тутъ, какъ нарочно, словно въ успокоеніе, объясняетъ вамъ провожатый:

— Не извольте сумлѣваться; тутъ двадцать сажóпъ глубины. Одного монашика внизъ бросило — и косточки смололо... Да вы подайтесь впередъ, тутъ можно!

Разумѣется, вмѣсто того, чтобы податься впередъ, я со всевозможною быстротою подался назадъ — прямо въ двери, а оттуда во дворъ. Изъ резервуара этой мельницы вода выводится частію и въ доки. Въ самые же резервуары проведены каналы изъ внутреннихъ озеръ острова. Сила воды́ становится понятна, когда открываютъ шлюзы. Она съ ревомъ бѣшено стремится впередъ, съ такою быстротой, что движеніе ея невозможно уловить глазами. Слышишь только его и чувствуешь.

— Хорошо у васъ тутъ устроено!

— Я подумываю кое-что сдѣлать самъ; тутъ вода требуется, а я, признаться, хочу, чтобы безъ воды дѣйствовало!

— Что-жъ, паровую?

— Гдѣ!... Нѣтъ, мысль у меня есть... На модели я пробовалъ, хорошо выходитъ.

— Какъ же это?

— А чтобъ заводить мельницу, какъ часы заводятъ!

Я посмотрѣлъ въ глаза провожатому, не сумасшедшій ли... Нѣтъ; онъ говорилъ чрезвычайно просто, точно дѣло шло о погодѣ.

— Гдѣ же у васъ модель?

— Модель?.. Исторія тутъ вышла... Сдѣлалъ я ее, да подумалъ, что это гордыня во мнѣ, суемудріе, духъ вольномыслія... Ну, по маломъ разсужденіи, помолился я Богу и сжегъ модель... Одначе мнѣ потомъ объяснилъ монашекъ одинъ, тоже изъ нашихъ крестьянъ, что въ этомъ грѣха нѣтъ—ежели собственно для обители, потому все на пользу... Опять дѣлать стану!—Какъ ни просилъ я его описать мнѣ механизмъ этой необыкновенной, заводящейся мельницы — толку добиться не могъ. Начнетъ — собьется, наконецъ, бросилъ.

— Языкъ-то у меня, парень, суконный, понимать-таково-ли ясно понимаю: зажмурю глаза, такъ до послѣдняго колеса все вижу, какъ и что... Ну, а сказать не могу. Не моего ума дѣло. Я и часы могу, тоже самъ обучился. Только тонкой работы не могу. А поправить—хоть сейчасъ. Всякую пружину понимаю, а грамотѣ второй годъ учусь—и ни въ зубъ. Нѣтъ дарованія, значитъ. Кому отъ Бога не дано—грѣхъ и стараться, потому противъ его воли выходитъ!

Мы вошли на галлерею, устроенную наверху, на стѣнахъ. Она тянется вокругъ монастыря. Прекраснъ видъ синяго моря изъ узкихъ бойницъ этого холма. Даль раздвигалась въ безконечный просторъ, направо и налѣво зеленѣли окраины лѣса—а прямо недвижное голубое зеркало. Ни волнъ, ни зыби... Чайка—и та отражалась въ немъ до послѣдняго перышка... Не хотѣлось отрываться отъ этой чудной картины.

— Сегодня въ церкви архимандритъ служитъ, приходите пѣнія нашего послушать. Напѣвы у насъ простые, пустынные напѣвы, но, однако,—стройно, душа паритъ... А теперь, прощайте... Дѣла есть!

Мы разстались; долго я стоялъ у бойницъ, оглядывая окрестности. Говорятъ, подъ этимъ ходомъ есть еще ходъ, но совершенно темный. Безъ бойницъ, безъ оконъ, безъ луча свѣта. Воображаю, что это за черная щель! Добиться входа туда я не могъ. Едва-ли и сами монахи бывали тамъ, ежели преданіе о немъ не миѳъ. О подземныхъ соловецкихъ тюрьмахъ писали не разъ—а ихъ не оказалось вовсе.

Безконечная морская даль такъ и манила къ себѣ. Здоровый свѣжій воздухъ охватывалъ меня на высотѣ. Дышалось легко, бодро... Сердце мое приростало къ этому прелестному острову. Если-бы не аскетизмъ его обитателей, я, кажется, былъ бы готовъ остаться здѣсь на всегда.

Черезъ полчаса я бродилъ уже внизу вдоль стѣнъ. Это было внутри монастырскаго двора. Подхожу къ башнѣ,

вижу низкій, сводчатый входъ. Дверь отворена. Я вошелъ. Мракъ, сырость, плѣсень охватили меня со всѣхъ сторонъ. Тутъ была тьма; только гдѣ-то на высотѣ, словно остріе ножа, свѣтилась какая-то щель. Я осторожно переступалъ по влажнымъ каменьямъ, пока не забрался внутрь. Тутъ стояли какія-то не то бочки, не то чаны. Видѣть нельзя было ничего. Передъ глазами сверкали огнистыя спирали, распадаясь на тысячи блестокъ; извивались золотыя змѣи, словно плавали какіе-то яркіе круги, сегменты... Я дышалъ сыростью... Становилось нестерпимо.

Сообразивъ, что зашелъ далеко, я обернулся ко входу— его не видно. Что за чудеса! Я, едва переступая, пошелъ къ нему—мракъ повсюду. Гдѣ-же двери? Какое-то холодное, отвратительное чувство страха скользнуло въ грудь мою. Мнѣ казалось, что я заживо схороненъ въ склепѣ.

Я шелъ впередъ, протянувъ руки и зажмуривъ глаза. Все равно, ежели-бы и открылъ ихъ—ничего бы не увидѣлъ. А такъ казалось покойнѣй. Подъ ногу попался влажный и скользкій камень, я поскользнулся и упалъ. Наконецъ, шаговъ черезъ десять я ладонями оперся о какой-то мокрый бархатъ и тотчасъ же отдернулъ руки съ отвращеніемъ. Это внутреннія стѣны сводовъ поросли мохомъ и лишаями.

Мое положеніе становилось сквернымъ. Прошло болѣе часа, пока я былъ въ башнѣ. Я и безъ того усталъ, бродя все утро — а тутъ некуда и прислониться. Наконецъ, я крикнулъ. Еще разъ... Громче. Ни отзыва, ни отвѣта... Я сообразилъ, что звуки терялись въ этихъ влажныхъ сводахъ. Нужно, во что бы то ни стало, найти выходъ. Я пошелъ опять вновь, поскользнулся и на этотъ разъ уже цѣлыми ладонями и лицомъ попалъ въ холодный, мокрый бархатъ стѣны. Изъ-подъ самыхъ ногъ моихъ что-то съ противнымъ плюханьемъ шарахнулось въ воду. Не крысы ли? И, какъ нарочно, вспомнилъ я въ эту минуту рыжихъ тощихъ, съ лысинами, вѣчно что-то [illegible]цихъ водяныхъ крысъ... Крикнулъ громче—то же

молчаніе. Оступился и по колѣно попалъ въ какую-то щель, переполненную водою... Что-то мягкое какъ будто скользнуло по моей рукѣ, что-то склизкое, гадкое заползаетъ за воротникъ; вонъ, въ углу шевелятся какія-то, еще болѣе темныя, чѣмъ этотъ мракъ, очертанія, складки чего-то длиннаго, чего-то живого, чего-то словно протягивающаго руки...

Я крикнулъ еще.

— Боже мой... Кто тутъ?

— Отоприте, ради Бога, дверь этой западни!

— Бѣги за ключемъ, у Симеона онъ, знаешь...

Когда я вышелъ изъ этого склепа на свѣтъ, на воздухъ, весь мокрый, въ зеленыхъ пятнахъ плѣсени, дрожа отъ холода, я далъ себѣ слово не лазить въ такія скважины безъ провожатаго. Я приглашаю васъ пожаловать въ это черное царство холодной и влажной плѣсени, накоплявшейся здѣсь нѣсколько столѣтій, мокрыхъ крысъ и этихъ бархатныхъ стѣнъ, чтобы уяснить себѣ мое отвращеніе. На первы дѣйствовало.

XXVII.

Поѣздка на Сѣкирную гору.—Савватьевская пустынь.—Сѣкирный скитъ.—Еще разсказъ объ осадѣ.—Видъ съ высоты.—У строителя въ кельѣ.

«Соловецкіе острова—вѣнецъ, а Сѣкирная и Голгоѳа—адаманты вѣнца сего»,—говорили мнѣ монахи объ этихъ мѣстностяхъ. «Одно важное лицо посѣтило ихъ въ 1870 г., такъ сказывало, что такихъ мѣстовъ по всей землѣ нѣтъ».

— Ну, ужъ и по всей землѣ!

— Вѣрно говорю. Наши монахи этого не понимаютъ. Имъ бы только польза была, до красы дѣла нѣтъ. А вы вотъ хоть сегодня поѣзжайте...

И монахъ тотчасъ распорядился наймомъ лошадей. Проѣхать туда стоитъ не дорого, 50 копѣекъ съ человѣка.

Всего насъ отправилось на Сѣкирную гору до тридцати богомольцевъ; поѣздъ, какъ видите, вытянулся довольно длинный. Дешевизна сообщеній въ Соловкахъ — невѣроятна. До Сѣкирной горы и обратно 16+16 верстъ. Разумѣется, при этомъ необходимо принять въ соображеніе, что монастырь пользуется своими сѣнокосами, трудомъ даровыхъ ямщиковъ, и самыя лошади не куплены имъ, а пожертвованы крестьянствомъ сѣвернаго края.

Какъ только мы выѣхали на лѣсную дорогу, глаза стали разбѣгаться во всѣ стороны. Пейзажи одинъ прелестнѣе другого развертывались передъ нами, какъ будто въ волшебной панорамѣ. Не успѣешь вглядѣться въ одинъ, какъ вдругъ передъ вами раскинется еще болѣе красивый, подъ свѣтомъ этого яркаго, солнечнаго дня. Дорога тянулась по горамъ. Она пробита на ихъ откосахъ: часто налѣво передъ вами возносится крутая, заросшая гигантскимъ лѣсомъ, стѣна, а направо обрывается внизъ такая же щетинистая стремнина. Сосны, одна величавѣе другой, выростали на каждомъ поворотѣ дороги. То словно канделябры, онѣ раздѣлялись у самой вершины на три или на четыре прямыхъ и параллельныхъ стволу отрасли, также стройно возносящіяся въ высь. Другія, точно въ лазури неба, раскидывали свои вѣтви, и какая внушающая благоговѣніе тишина стояла подъ этими сводами! Что за чудная глушь, какой здоровый несравненный воздухъ!.. А озера! Не могу еще не остановиться на нихъ. Я бывалъ въ Финляндіи, южной Германіи, въ Альпахъ, но не видѣлъ такихъ чудныхъ озеръ, при крайне незначительной длинѣ и ширинѣ ихъ. Особенно врѣзалось въ мою память одно. Длинное и узкое, извиваясь, легло оно въ изумрудныхъ берегахъ. Небольшой лѣсокъ словно опрокинулся въ его глубину. На немъ только одинъ островокъ — но какой! Его и не видно: глазъ замѣчаетъ только три высокихъ сосны, какъ будто выросшія изъ самой середины этихъ серебристо-голубыхъ водъ. Но живописныя линіи берега, кучи валуновъ, поросшихъ уже травою, отраженіе ныхъ тучекъ, спокойное, словно все изъ распла-

вленнаго металла, зеркало водъ — нужно видѣть самому. Никакое перо не дастъ понятія о чудной красотѣ соловецкихъ пейзажей. Въ другомъ мѣстѣ видъ распадается на два художественныхъ момента. Дорога взлетѣла на самый гребень горы... Тутъ сосны рѣже. Сквозь нихъ налѣво синѣетъ неизмѣримая яркая даль моря, а направо между стволами серебрится нѣсколько постепенно пропадающихъ въ отдаленіи озеръ, словно окутанныхъ легкою, придающею имъ таинственную прелесть дымкой. Но верхъ красоты и совершенства — Бѣлое озеро. Стоишь и не насмотришься. Затаиваешь дыханіе, точно боишься, чтобы волшебный призракъ не исчезъ изъ глазъ. Представьте себѣ зеленую котловину, на дно которой брошенъ серебряный щитъ. Въ немъ отразились всѣ берега — и какіе берега! Въ немъ опрокинулись и маленькіе, то лѣсистые, то покрытые травою граціозные островки. Нельзя выразить такъ глубоко охватывающаго васъ впечатлѣнія. Эти переливы свѣта и тѣни, эти нѣжныя мягкія краски, эти изящныя линіи не имѣютъ ничего себѣ подобнаго.

Всѣ эти озера — рыбныя. У берега часто словно замерла въ водѣ темная лодочка. Спуститесь внизъ, къ самому берегу, и вы увидите, какъ въ кристальной влагѣ недвижно висятъ, пошевеливая лишь изрѣдка плавниками и жмуря розовые глаза, лини, караси и другіе обитатели этого поэтическаго дворца. Одно, что поражаетъ здѣсь, это — отсутствіе птичьяго гомона, пѣнія и стрекота... Это — спящая царевна. Какой витязь пробудитъ ее къ жизни?

Такимъ образомъ, оставивъ экипажъ, то сбѣгая съ горы, то подымаясь на откосы, я добрался до Савватьевской пустыни. Скитъ святого Савватія не очень красивъ. Просто казарма. Тутъ монахами разбиты изящные цвѣтники; клумбы рѣдкихъ для сѣвера растеній сверкаютъ яркими кистями пышныхъ и благоухающихъ цвѣтовъ, изъ открытыхъ дверей церкви доносилось сюда молитвенное пѣніе. Я вошелъ туда. Давка была страшная. Здѣсь столпились всѣ поѣхавшіе на Сѣкирную. Одни служил

молебны, другіе просто глазѣли. Оказалось, что іеромонахъ, священнодѣйствовавшій здѣсь, читаетъ только по складамъ. Имена съ поминальныхъ листковъ разбиралъ онъ съ величайшимъ трудомъ.

Пока служились молебны, я прилегъ въ травѣ на берегу большого озера. Что это былъ за мирный уголокъ! Тоже много острововъ. На одномъ изъ нихъ въ свою очередь—микроскопическое, словно алмазъ, вправленный въ зеленую эмаль, озерко. Далеко-далеко, за другимъ берегомъ, синѣютъ лѣса, пропадая тамъ, гдѣ-то, на югѣ. Послѣднюю черту ихъ трудно отличить отъ дымчатой полосы облаковъ, выступившихъ на краю неба...

Лежа тутъ на травѣ, посреди цвѣтовъ, я невольно грезилъ о далекомъ дѣтствѣ. И цѣлый рой картинъ, одна, ярче другой, воскресалъ въ памяти, и сладкая, свѣтлая грусть прокрадывалась въ сердце... Хорошо, очень хорошо было здѣсь. Беру на свою совѣсть совѣтовать каждому рѣшиться на далекій путь, чтобы побывать на островахъ Соловецкихъ, да только не три дня, а недѣли двѣ-три...

Уже желтовато-розовые тоны кое-гдѣ окрасили края облаковъ, когда я поднялся опять.

Не ожидая спутниковъ, я пошелъ впередъ по дорогѣ. Долго пришлось бродить по полянамъ, и, наконецъ, на одномъ поворотѣ я сталъ, какъ вкопанный.

Передо мною, нѣсколько вдали, высокая гора.

Дорога прямою колеей взвивается на нее; лѣсъ направо и налѣво раздвинулся и образовалъ гигантскую аллею, доходящую до самой вершины горы и тамъ, на крайней точкѣ, на высотѣ воздушной, словно вися въ лазури недосягаемаго неба, сіяетъ Сѣкирный скитъ, заканчиваясь легкимъ, необыкновенно красивымъ абрисомъ колокольни,—все это до того призрачно, все это словно плаваетъ въ пространствѣ: кажется, дунетъ вѣтеръ и разомъ унесетъ это обаятельное видѣніе.

Что поражаетъ болѣе всего—это неожиданность такихъ художественныхъ моментовъ. Идешь, ничего не ожидая,

и вдругъ передъ тобою раскинется такая картина, что въ первую минуту не сообразишь, гдѣ ты, что съ тобою; не миражъ ли этотъ величавый, воздушный силуэтъ монастыря, повисшій въ вышинѣ голубого неба?

На Сѣкирную гору взбираться трудно. Лошади догнали меня внизу, и тутъ всѣ сошли съ дрожекъ. Всѣ едва полѣзли въ высь. Разумѣется, не обошлось и безъ смѣшныхъ эпизодовъ. Толстая барыня собиралась умирать на первой половинѣ пути и, не доходя до монастыря, сѣла на выступъ гранитной скалы: такъ она и не окончила своего путешествія. Она было попросила крестьянина, шедшаго съ нами, подсобить ей, но несчастный подъ тяжестью ея скатился внизъ, и сама она едва-едва удержалась за стволъ дико растущей черемухи.

Наконецъ, мы взобрались на Сѣкирную гору. Новыя красоты, новыя очарованія!

Съ перваго шагу здѣсь я наткнулся на интересную сцену. «Блаженный», бывшій съ нами, запрыгалъ на площадкѣ и забормоталъ какую-то чепуху. Народъ обступилъ его и крестился на юродиваго. «Сила чудодѣйствуетъ...—Поди, пророчить начнетъ»!

Нѣкоторые клали земные поклоны, другіе шептали молитвы, одна странница плакала отъ умиленья.

— Ахъ, ты, голубчикъ нашъ,—причитала она:—все-то за ны грѣшныя труждаешься. А мы-то и не понимаемъ и не чувствуемъ этого. Помолись хоша ты за наши душеньки бѣдныя, скажи ты намъ что-нибудь, открой судьбу!

— Летала птица, безъ хвоста синица, а волкъ съ хвостомъ!—бормоталъ блаженный.

— Господи!.. Какъ ему Вседержитель открываетъ. Птица-то—душа наша грѣшная, а волкъ — бѣсъ... Что же, голубчикъ, бѣсы съ душенькой-нашей дѣлать будутъ? Что они съ ней, разнесчастной, во ади сотворятъ?

Но тутъ юродивый пустился въ такія подробности, что бабъ отъ него какъ помеломъ смело.

Къ счастію, попался монахъ, и пророка убрали невѣ-

*

домо куда. «Промышляютъ этимъ, трудиться лѣнь—ну, и безумствуетъ. А дураки кормятъ»! замѣтилъ монахъ...

— Это вѣрно — народъ глупъ. Потому въ немъ настоящаго разума нѣтъ!—согласился ближе стоящій крестьянинъ.

— А ты—Богу молись... Онъ тебѣ и пошлетъ разума!

Я попросилъ у монаховъ напиться квасу.

Одинъ изъ нихъ тотчасъ же повелъ меня къ себѣ. Трудно сказать, какъ радушно принялъ онъ меня въ своей кельѣ. «Вотъ тебѣ, голубчикъ, булку... хорошая булка»!..

— Сколько у васъ здѣсь монаховъ живетъ?

— «Семеро, родной, всего семеро... Что-жъ ты булочку-то не возьмешь»?

Нужно было взять, отказъ бы оскорбилъ его. Желая чѣмъ-нибудь отблагодарить, я спросилъ у монаха, не дѣлаетъ ли онъ ложекъ—занятіе, которымъ, въ видѣ отдыха, пользуются соловчане. Ложки оказались. Я взялъ нѣсколько и положилъ на столъ деньги.

— Что ты, что ты, милый... Такъ, такъ возьми себѣ; я вѣдь не изъ корысти. Гость—Божій даръ. Мы гостю рады!

Судя по тому, какъ монахъ хотѣлъ наговориться со мною — видно, что ему, дѣйствительно, рѣдко приходится видѣть постороннихъ въ своей кельѣ.

Келья была шаговъ въ пять длины и въ три—ширины. Нары, покрытыя рогожей—вмѣсто кровати, некрашенные табуретъ и столъ.

— Скучно, поди, вамъ семерымъ сидѣть здѣсь?

— Благодать у насъ, а не скука; работаемъ, кормилецъ, работаемъ. Некогда и скучать. Зимой только, какъ рано темнѣетъ, ну, дѣйствительно, иной разъ и радъ бы въ обитель. А все ничего. Роптать грѣхъ!

Разговоръ сошелъ на осаду Соловецкаго монастыря англичанами, и я опять имѣлъ случай убѣдиться, какъ крѣпко держатся здѣсь преданія объ этомъ событіи. Монахъ мой говорилъ о немъ необыкновенно быстро, раз-

махивая руками и какъ будто вновь переживая всѣ случайности той эпохи.

— Подошелъ непріятель, и оробѣли, обмерли всѣ мы. Батюшки, думаемъ, что мы робить станемъ, какъ онъ въ насъ палить начнетъ? У него ружье, у него мортиръ-пушка. Расшибетъ онъ насъ, думаемъ. Кто плачетъ, кто въ щель забился и сидитъ, не дышетъ, потому, какъ непріятеля не бояться, на то онъ и прозывается врагъ. Ахъ, ты, Боже мой — всѣ-то истомились да измучились... А военные корабли все ближе, да ближе. Только и собралъ насъ архимандритъ Александръ и говоритъ: ежель что — не сдаваться, потому Россея и прочее такое. Пусть врагъ, что хочетъ, дѣлаетъ, а вы стойте... Боже мой... Сейчасъ солдатъ впередъ поставилъ!

— А у васъ и солдаты были?

— Какіе солдаты! Они только солдатами назывались. Анвалиты были. Десять анвалитовъ при нашемъ острогѣ жили, кто хромой, кто безрукій, кто безногій. Ружья у нихъ не палятъ. Они ихъ замѣсто палокъ носили. У кого и ружья не было. Ну, Александръ и говоритъ: «братцы, выручай, потому какъ вы христолюбивое воинство, и церковь васъ въ молитвахъ своихъ поминаетъ и не забудетъ, ежели врагъ окровянитъ васъ тапереча... Помните, говоритъ, что святыню защищаете»! Мы слушаемъ—бѣда. Всѣ помремъ — думаемъ. Вотъ хорошо; немало это прошло—съ парохода аглицкаго лодка. Страсть!

— Ну, а пушки вѣдь и у васъ были?

— Какія пушки! Съ кораблей Петра Великаго. Пушченки самыя необходительныя... Вотъ съ аглецкой лодки епутата требуютъ!

— Парламентера вѣрно?

— Его, его самого... У насъ въ это время въ тюрьмѣ полковникъ одинъ сидѣлъ. По-аглецки хорошо говорить умѣлъ. И предложилъ онъ намъ, что пойдетъ въ епутаты. Насъ и возьми сомнѣніе. Какъ измѣнитъ? Вѣдь онъ рестантъ. Господь знаетъ, на душѣ у него. Долго мы объ этомъ говорили и порѣшили, чтобы онъ на бе-

регъ съ солдатикомъ шелъ, а солдату приказъ былъ данъ, что ежели только тотъ измѣнитъ—сейчасъ штыкомъ приколи,—рестанта этого. Ну, хорошо...

— Да какъ-же бы понялъ солдатъ? Вѣдь тѣ-бы по-англійски говорили!

— Ахъ, братецъ мой, пусть его говоритъ, но ежели, то-есть, рестантъ бѣжать задумаетъ — тутъ ему и капутъ. Ну, только полковникъ и пошелъ. На палочку бѣлый платъ навязалъ, и начали они говорить промежду собой. Англичане приказываютъ: подавайте ключи отъ монастыря,—кто у васъ тутъ комендантъ? Сейчасъ архимандритъ Александръ выходитъ. Я, говоритъ, этой крѣпости комендантъ и все могу, мнѣ власть дана... Ну, тѣ требуютъ ключи!—Они не у меня, берите ихъ сами.—У кого-же?—У двухъ стариковъ!—У какихъ стариковъ? У простенькихъ старичковъ, у Зосимы и Савватія, на ракахъ лежатъ, на мощахъ — возьмите, если можете. Ну, тѣ, какъ прослышали про стариковъ нашихъ и испужались. Сейчасъ назадъ, на пароходъ. И давай оттуда палить, спужавшись!.. Тутъ мы всѣ и сѣли, потому онъ палитъ — страшно это очень. Ежели-бы еще попалилъ — померли-бы всѣ, мы вѣдь люди мирные, не отъ міра сего!

— А если-бы онъ согласился взять ключи съ мощей?

— Съ мо—ощей?..—самодовольно протянулъ монахъ,—Съ мо—ощей? Бери, другъ любезный. Бери у нашихъ старичковъ. Они бы тебѣ показали силу свою... Сейчасъ-бы корабли ко дну пошли, и праха отъ непріятелевъ-бы не осталось, потому — святыня. Ни одинъ-бы не уцѣлѣлъ!

— А правда, что Александръ самъ на корабли къ нимъ ѣздилъ?

— Врутъ; потому я тутъ былъ, и хошь очень испужался, а все помню!

Изъ этихъ легендарныхъ разсказовъ все-таки можно было убѣдиться, что многое вымышлено въ крестьянскихъ разсказахъ о защитѣ Соловецкаго монастыря, хотя

замѣчательное мужество архимандрита Александра не подлежитъ сомнѣнію. Такъ составляется легенда. Словоохотливый монахъ, вѣроятно, задержалъ-бы меня долго, если-бы я не изъявилъ желанія взобраться на колокольню скита.

Всѣ разсказы о видахъ отсюда оказались блѣднымъ, ничего не говорящимъ очеркомъ великолѣпной дѣйствительности. Всѣ четыре окна колокольни были рамками несравненныхъ картинъ.

Весь Соловецкій островъ раскидывался далеко внизу, съ своими лѣсами, озерами, полянами, церквами, скитами, часовнями и горами. Какіе нѣжные переливы красокъ, какіе мягкіе изгибы линій! Тутъ темная зелень сосноваго лѣса, тамъ изумрудный просторъ поемнаго луга и повсюду серебряные щиты изящныхъ озеръ! Эти—точно искры на зеленомъ бархатѣ. Берега острова рѣзко очерчивались передъ глазами, какъ на картѣ, но каждый пунктъ ихъ былъ отдѣльной изящной картиной. Тамъ группа скалъ, обрывъ, тутъ длинный мысъ, поросшій щетиною темнаго лѣса. Тамъ зеленая отложина, нечувствительно сливающаяся съ моремъ; тутъ послѣднее глубоко врѣзывается въ землю, образуя въ ней внутреннія озера, едва замѣтными проливами связанныя съ громаднымъ водянымъ просторомъ. Сначала глазъ былъ пораженъ только цѣлымъ ансамблемъ этого чуднаго неописуемаго ландшафта, но потомъ, мало-по-малу, стали выдѣляться его детали. Эти золотящіяся лѣсныя дороги—онѣ, словно змѣи, извиваются въ чащѣ, то пропадая въ ней, то вновь выбѣгая прихотливыми линіями. Вотъ бѣлыя церкви. Онѣ разсѣяны повсюду. Какъ малы и какъ изящны онѣ отсюда. Вотъ по лѣсамъ блестятъ и лучатся золотыя искры. Всмотритесь—это кресты затерявшихся въ глуши часовенъ. Вотъ на зеленой бархатной лужайкѣ раскинулось стадо оленей. Глазъ едва различаетъ ихъ съ этой высоты. Но какъ хороши гребни этихъ холмовъ, этотъ чудный воздухъ, это безбрежное море кругомъ. Какая это точка лучится на самомъ краю пейзажа?

— Это гора Голгоѳа и скитъ Голгоѳскій!

Засіяла розовая заря. Сотни озеръ, раскинутыхъ внизу, вспыхнули разомъ. Глазъ нельзя было отвести отъ нихъ: точно со всѣхъ концовъ запылали безчисленные костры, по всѣмъ лѣсамъ, полямъ и лугамъ острова. Вершины лѣса были тоже охвачены этимъ нѣжнымъ сіяніемъ. Море вокругъ райскаго уголка сіяло пурпуромъ, золотомъ, и лазурью. Казалось, небо укрыто жемчужными тучками, море съ его неугомонными волнами и земля съ ея божественными дарами оспаривали пальму первенства другъ у друга... Вокругъ всего острова лежала тоже огнистая полоса... Бѣлыя церковки стали розовыми, пурпурными, золотыми... Кто бы не сталъ поэтомъ лицомъ къ лицу съ такою идеальною красавицей, какова эта неотразимопрекрасная природа!

По одной изъ дорогъ ползетъ муравей-лошадь. Она тоже горитъ, какъ золотая искра... Вотъ она скрылась за лѣсомъ. Вотъ въ одномъ озерѣ шевелится черная точка. Это челнокъ. Кто сидитъ въ немъ—не видно, но точка движется и пропадаетъ въ черномъ заливѣ...

Нельзя было насмотрѣться.

Изъ противоположныхъ оконъ видно только море. Тутъ Сѣкирная гора почти отвѣсно обрывается внизъ. Пурпурно-золотой просторъ движется передъ вами. Вы не видите волнъ, но замѣчаете только волненіе. А тамъ—точно въ огнистомъ вѣнцѣ—подымается группа острововъ «Кузова». А еще дальше—туманное пятно и нѣсколько искръ. Оно словно виситъ въ голубомъ небѣ. Это кемскій берегъ и Кемь. Иногда, говорятъ, она вся видна отсюда—за 60 верстъ разстоянія.

Какой чудный лѣтній пріютъ можно было бы создать здѣсь, гдѣ теперь живутъ только семеро монаховъ, равнодушныхъ къ этой сіяющей, ослѣпительной красотѣ!

Мы уже собирались уѣзжать, какъ насъ пригласилъ къ себѣ строитель скита...

Это—красавецъ. На видъ ему сорокъ, а въ дѣйствительности шестьдесятъ лѣтъ. Онъ оказался воронежскимъ

крестьянномъ. Въ немъ вполнѣ выразился типъ бодраго, веселаго и живого труженика.

У насъ быстро завязался разговоръ. Темою послужило недавнее монастырское неустройство, вызвавшее присылку изъ Петербурга слѣдственной комиссіи. Въ это время особенно гналъ настоятель моего теперешняго собесѣдника, честная душа котораго не мирилась съ тѣмъ, что онъ видѣлъ въ излюбленномъ имъ монастырѣ.

— За что же онъ гналъ васъ?

— А за то, что посмѣтливѣй другихъ выхожу. Онъ меня чуть было не удалилъ отсюда настоятелемъ въ Онежскій крестный монастырь. Едва-едва я отдѣлался. Лучше бы померъ, чѣмъ туда пошелъ. Я этотъ монастырь хорошо знаю. Строилъ его послѣ пожара.

— Вы строили?

— Я самый. Вы смотрите, небось, что грамоты не знаю. Это у насъ ничего. Гостинницу нашу видѣли?

— Еще бы. Громадное зданіе и, какъ видно, выстроено архитекторомъ перваго разбора!

— Этотъ архитекторъ—я самый и есть. Моихъ рукъ дѣло. Скиты тоже строилъ. Гостинницу въ одно лѣто вывели. Самъ архимандритъ кирпичи таскалъ!

— Ну, этого быть не можетъ, чтобъ въ одно лѣто!

— Справьтесь. Кирпичи предварительно три года заготовляли, а гостинницу въ четыре мѣсяца вывели всю и отдѣлали!

Я вспомнилъ отзывъ Диксона объ этой постройкѣ простого, неученаго воронежскаго крестьянина: «направо отъ насъ большой отель, такой красивый, чистый и свѣтлый, что любой отель на итальянскихъ озерахъ не веселѣе и не привлекательнѣе его»; пришлось невольно подивиться этой богато одаренной натурѣ.

— Отчего же вы не захотѣли ѣхать въ Онежскій крестный монастырь настоятелемъ?

— Я—монахъ, а тамъ господа больше. По 70 руб. рясы носятъ. Прости, Господи, осужденіе мое. Развѣ это иноки? Роскошествуютъ, мамона тѣшутъ. Не по на-

шему. У насъ—пища грубая, жизнь пустынная. Никуда бы я отсюда своей волей не ушелъ!—Лицо отца Митрофана сіяло, словно озаренное, когда онъ описывалъ преимущества Соловецкаго монастыря.

— Ну, а въ городъ, въ Архангельскъ, хотѣли бы?

— Монаху въ городѣ не житье, назадъ рвемся. Дико намъ между людей. Опять же и соблазны на каждомъ шагу...

Мы заговорили объ образованныхъ монахахъ.

— Спаси Богъ отъ нихъ, отъ образованныхъ. Мужичокъ—нашъ работничекъ и кормилецъ, а образованный смуту сѣетъ, да неустройству всякому глава. Отъ нихъ и обителей паденіе и посрамленіе чина иноческаго предъ міряпами. Намъ безъ образованныхъ хорошо живется: мы и безъ нихъ устроили у себя все, что нужно. Образованные у насъ ничего не-подѣлали. Все наша братія, сѣрое крестьянство, съ помощію Всевышняго и угодниковъ Зосимы и Савватія, созидала. Видалъ на берегу у насъ большой подъемный кранъ съ рычагомъ?—Крестьянинъ строилъ. Набережную видѣлъ?—Крестьянская работа; гавань тоже, доки,—все мужицкія головы задумали, да мужицкія руки сдѣлали. Отлично мы и безъ образованныхъ справляемся. А заведись ихъ поболѣе, чѣмъ теперь—все прахомъ пойдетъ. Особливо ежели изъ дворянъ монахи. Тѣ хорошо жить любятъ, тѣло свое покоить, да рученьки-ноженьки нѣжить. Ну, ослобонишь его отъ работы—смотришь, и другимъ примѣръ дурной. Нѣтъ, счастье намъ, что мы по-просту живемъ. Давай Богъ мужичковъ намъ побольше, они все тебѣ сдѣлаютъ. Вотъ маякъ построили. Да возьми хоть меня. Я мужикъ неученый, азбуки вѣдь не знаю; а я тебѣ безъ архитекторовъ дворецъ выстрою. Вотъ и эту обитель на Сѣкирной горѣ я строилъ!

Мы всходили на сѣкирный маякъ, но тотчасъ же сошли внизъ. Нужна была привычка. Гора и безъ него высока, а на ней это сооруженіе—высоты ужасной. Голова кружилась, все мѣшалось передъ глазами.

Уже на возвратномъ пути съ Сѣкирной горы я узналъ, что въ числѣ монаховъ этого скита находится фотографъ Сорокинъ, которому новый архимандритъ запретилъ заниматься фотографіею, находя ее неприличной для монаха. Не мѣшало бы только знать, что одинъ изъ нашихъ митрополитовъ, признанный святымъ, занимался химіей и въ области ея производилъ спеціальныя изслѣдованія. Теперь Сорокина тѣснятъ, и его удерживаетъ въ монастырѣ только то, что тутъ же пострижены два его брата, а мать—инокиня холмогорскаго женскаго монастыря. Фотографа смиряютъ разными способами, то посылая его на работы, то уединяя въ скиты, гдѣ всего-на-всего живутъ 4—7 монаховъ.

А пейзажи Соловецкаго острова дѣйствительно заслуживаютъ фотографическихъ снимковъ.

Возвращаясь домой, въ гостинницу, мы вновь любовались тѣми же чудными картинами, но уже при розовомъ освѣщеніи заката, трепетавшемъ и въ листвѣ березъ, и въ струяхъ озеръ, и въ туманной дали лѣсной чащи, и въ муравѣ посмнаго луга. А внизу, въ глубинѣ горныхъ долинъ, уже курился паръ, окутывая могучіе стволы сосенъ сѣрыми однообразными клубами. Грустное чувство охватывало душу, когда мы думали о скоромъ отъѣздѣ отсюда.

Каждый холмъ, каждая гора здѣсь увѣнчаны часовнями, зеленые куполы и золотые кресты которыхъ мягко рисуются среди окружающаго ихъ пейзажа.

На половинѣ пути—часовня съ вырытымъ въ ней колодцемъ. Вода здѣсь холодна, какъ ледъ. Тутъ останавливаются и отдыхаютъ странники. Мѣсто чрезвычайно красиво, особенно когда на пролегающихъ скатахъ раскинутся пестрыя толпы богомольцевъ, и слышится отовсюду говоръ разноязычной толпы...

XXVIII.

Еще нѣсколько подробностей.

Когда мы вернулись, была уже ночь. Сѣверная лѣтняя ночь—тотъ же день, только безъ солнца. Меня мучила безсонница, и я долго сидѣлъ у окна, глядя на прекрасную набережную, гавань и пароходы соловецкіе. Вся окрестность наполняется несмолкающими криками чаекъ; глухой прибой морскихъ валовъ казался фономъ, на которомъ выдѣлялся птичій гамъ.

Я думалъ обо всемъ, видѣнномъ мною на этихъ нѣкогда пустынныхъ и безлюдныхъ островахъ. Я сравнивалъ ихъ нынѣшнее благосостояніе съ положеніемъ такого торгово-промышленнаго центра, какъ Архангельскъ. Пришлось отдать преимущество монастырской общинѣ, какъ это ни странно. Въ Архангельскѣ, несмотря на его милліонные обороты, заграничный отпускъ, торговлю хлѣбомъ, смолою, льномъ и пенькой, нѣтъ и десятой доли того, что поражаетъ васъ на каждомъ шагу въ Соловкахъ. Въ Архангельскѣ, несмотря на то, что онъ весь въ рукахъ новыхъ хитроумныхъ улиссовъ-нѣмцевъ, не найдете ни доковъ, ни такихъ гостинницъ, ни такой набережной. Я уже не говорю о томъ, что здѣсь есть такія промышленныя учрежденія, о которыхъ и не снилось городу.

«Нашъ крестьянинъ глупъ, нашъ крестьянинъ безпеченъ, нашъ крестьянинъ неряшливъ нашъ крестьянинъ не способенъ къ самодѣятельности, не изобрѣтателенъ»— на тысячи ладовъ проповѣдуетъ пресса и въ серьезныхъ статьяхъ, и въ беллетрическихъ очеркахъ нашихъ литераторовъ-жанристовъ. Отчего же, скажите на милость, здѣсь онъ и уменъ, и смѣтливъ, и заботливъ, и изобрѣтателенъ, и чистъ въ своей домашней обстановкѣ, и самостоятеленъ, и готовъ тотчасъ отбросить старое, подмѣтивъ что-нибудь получше, поновѣе у другихъ? Отчего здѣсь онъ не является троглодитомъ,—какое троглоди-

томъ—тою гориллой, какою вы его рисуете на столбцахъ газетъ, на страницахъ журналовъ? Взгляните на него здѣсь,—какой у него самосудъ, какъ онъ справляется съ своими нуждами, съ своими обязанностями. Тутъ онъ имѣетъ возможность пьянствовать и не пьянствуетъ; имѣетъ возможность не работать, а работаетъ хорошо, хотя и не чувствуетъ надъ собой палки или не боится голода. Тутъ онъ, наконецъ, преисполненъ сознаніемъ собственнаго своего достоинства, какъ членъ могучаго соціальнаго тѣла, и не поступится передъ вами ни однимъ своимъ правомъ, также какъ не забудетъ ни одной своей обязанности. Отчего это?

Дверь въ мою комнату слегка пріотворилась.

— Не спите?... Побесѣдовать развѣ?

— Заходите, о. Гавріилъ!

Это былъ корридорный.

— Какъ чайки нонѣ разорались. Экая птица безпокойная. А умная птица. Весной, тапериче, двѣ чайки сначала прилетятъ, посмотрятъ, посмотрятъ—обойдутъ весь островъ и улетятъ назадъ. Смотришь, черезъ недѣлю, за ними—видимо-невидимо. Цѣлыя тучи!.. Соглядатаевъ, какъ Іисусъ Навинъ, пущаютъ. Что и говорить, птица бойкая!.. А зимой у насъ вороны!

— Что же воронъ лѣтомъ не видать?

— А чайка гоняетъ... заклевываетъ. Она птица смѣлая. Съ легкимъ сердцемъ птица. А жретъ сколько—страсть. Много и звѣрья разнаго. Лисицъ мы въ зиму штукъ тридцать имаемъ. У насъ звѣрь ручной, онъ не бѣжитъ: имай его; самъ въ руки дается. На горѣ Сѣкирной, у о. Митрофана, куница есть, что твоя кошка: заберется въ рукавъ къ нему, на шею сядетъ. Затѣйница! У насъ звѣрь чувствуетъ, что тутъ ему льгота предоставлена. Мы одного нѣмца таково ли по шеямъ накостыляли—страсть. Забрался онъ въ лѣса наши, да давай звѣря стрѣлять. Онъ, паршивый, того и понять не можетъ, что ему на часъ забава,—а у насъ навсегда звѣрь пуганый будетъ. Экая у нихъ жадность, право!

— Зимою у васъ рабочимъ скучно, поди?

— Лучше зимою. Крестьянину у насъ—лафа. Кормятъ его такъ, какъ онъ дома по великимъ праздникамъ не ѣдалъ: безъ мяса и рыбы за столъ не сядетъ. Пироги имъ даютъ. Одѣваютъ ихъ чисто, тепло. И такъ онъ къ чистотѣ этой пріобыкнетъ, что потомъ и дома у себя тоже наблюдаетъ, чтобы округъ грязи не было. Работать не заставляемъ, а сколько усердія есть. Ежели человѣкъ бѣдный, обитель и деньгами поможетъ. Ну, а кто человѣкъ зажиточный, работать не хочетъ, а такъ восчувствуетъ желаніе провести въ монастырѣ годъ—заплати сто рублей и живи. Келью дадимъ отдѣльную, платье, столъ. Радуйся да замаливай грѣхи вольные и невольные... А грѣховъ у насъ много. И за всякій грѣхъ отвѣтъ держать придется...

Къ счастію, оказалось, что мой собесѣдникъ—не охотникъ говорить проповѣди.

— Гдѣ у васъ рыбу ловятъ?

— Сельди вездѣ, даже въ гавани. Треску мы промышляемъ въ Сосновской губѣ, близъ Соловецкаго острова,—ярусами, семгу въ Анзерахъ. Нонѣшній годъ семга не баско ловится. Прошлый уловъ хорошъ былъ. Года на полтора заготовили, да еще продали сколько.

Вотъ еще характеристическій фактъ. Въ то время, какъ земскій крестьянинъ извлекаетъ весьма ничтожныя выгоды изъ сельдяного промысла, потому что не умѣетъ солить сельди, крестьянинъ, монахъ соловецкій, великолѣпно приготовляетъ свою сельдь, не уступающую норвежской и голландской. За что они ни возьмутся, все у нихъ выходитъ удачно, все ведется съ знаніемъ дѣла, упорно, неотступно, пока полный успѣхъ не увѣнчаетъ ихъ усилій.

— Слышалъ я, что вы и на Мурманскій берегъ свою шкуну отправляете?

— Да, нынѣ командиромъ этой шкуны у насъ молодой парень. Прежде онъ на кемскихъ судахъ ходилъ, [illegible] пришелъ къ намъ богомольцемъ: замѣтили мы у

него способности къ морскому дѣлу и послали учиться въ архангельскіе шкиперскіе курсы. Тамъ онъ кончилъ, обучился, экзаментъ первымъ сдалъ. Теперь монахомъ у насъ. Шкуна въ его распоряженіи. Во всемъ, скажу я тебѣ, невидимо Господь намъ покровительствуетъ. Наняли мы сначала машиниста на пароходъ, два наши монашика походили съ нимъ вмѣстяхъ одно лѣто—теперь и машиниста не надо: лучше его дѣло знаютъ. Сами всѣмъ и управляемся!

— Разскажите мнѣ что-нибудь о вашемъ мурманскомъ промыслѣ!

— Что говорить. Теперь мурманской промыселъ у насъ внизъ идетъ. Прежде у насъ на Кильдинѣ и становище свое было, а теперь просто у Териберки рыбу промышляемъ. Много ловимъ. Ну, и морскаго звѣря бьемъ —нерпу, лысуна, моржей, тюленей. И у себя ихъ тоже ловимъ. Салотопню посмотри нашу, свой глазъ лучше!

— Прежде соловецкіе монахи и на Новую Землю хаживали?

— Какъ не бывать, бывали. Прежде мы по Онежскому да Кемскому побережьямъ сколько варницъ своихъ держали. Четыреста-тысячъ пудовъ соли добывали въ нихъ. Теперь только земля у города Кеми осталась. Огороды наши тамъ... Мы за всѣмъ слѣдимъ—немного погодя, продолжалъ онъ.—Швейныя машины завелись, мы и ихъ купили, да въ наши швальни и сапожныя мастерскія поставили. Работа скорѣе идетъ, лишнія-то руки, смотришь, и на другое дѣло употребить можно!

— Вотъ только читаетъ монастырь мало!

— Зачѣмъ намъ это—вотъ если хозяйственное—прочтемъ. У насъ и газеты-то не больше пяти человѣкъ выписываютъ. Однако я разговорился у васъ... Благослови, Господи—спать пора!

Я проснулся, когда по корридору неистово зазвонили въ колоколъ. Такъ въ три часа утра ежедневно будятъ богомольцевъ. У меня въ комнатѣ оказалась цѣлая семья спавшихъ часекъ. Съ вечера я забылъ затворить окно—тѣ

забрались поклевать хлѣбныхъ крошекъ, да тутъ же и расположились спать на столѣ: и удобно, и покойно. Я крикнулъ на нихъ, онѣ въ полъ-глаза посмотрѣли на меня и ни съ мѣста; что было дѣлать съ такою солидною птицей! Я оставилъ ихъ. Такъ онѣ у меня проспали цѣлое утро.

На другой день мнѣ удалось еще собрать нѣкоторыя свѣдѣнія объ этой обители.

Соловецкому монастырю принадлежатъ два большихъ каменныхъ дома въ Архангельскѣ и одинъ — въ Кеми. Прежде обитель владѣла громаднымъ домомъ въ Вологдѣ, но недавно продала его за ненадобностью. Одинъ изъ каменныхъ домовъ въ Архангельскѣ выведенъ въ три этажа, въ немъ помѣщается около пятидесяти квартиръ, отдающихся въ наймы, до ста кладовыхъ, занимаемыхъ купцами подъ товары и оптовые склады, и до десяти лавокъ. Тутъ же помѣщается и часовня. Это зданіе принадлежитъ къ числу самыхъ большихъ въ губерніи. Стоимость его опредѣляется въ 80,000 руб. Кромѣ того, въ этомъ же городѣ устроено недавно монастыремъ новое подворье—двухъ-этажный каменный домъ, гдѣ исключительно живутъ лѣтніе богомольцы. Оно, съ громаднымъ участкомъ земли и пароходною пристанью близъ него, оцѣнивается въ 25,000 р. Подворье въ Сумскомъ посадѣ не особенно значительно. Оно ветхо и полуразрушено. Здѣсь останавливаются богомольцы, направляющіеся въ монастырь изъ Петербургской, Новгородской и западныхъ уѣздовъ Олонецкой губерніи. Въ подворьяхъ архангельскихъ иногда скопляется разомъ по 3,000 странниковъ, въ Сумѣ въ прошломъ году было до 600 чел. Зданіе, дворы, квартиры, лавки и амбары подворьевъ содержатся необыкновенно чисто. Дворники, прислуга, водовозы—монахи завѣдомо трезвы, честные и скромные. Монастырь нарочно выбираетъ такихъ, чтобы не опростоволоситься. Вообще же, всѣ владѣнія Соловецкаго монастыря внѣ его острововъ оцѣниваются въ 150,000 р.

Въ самомъ монастырѣ — нѣсколько лавокъ, содержи-

мыхъ монахами. Изъ нихъ мы видѣли книжную, гдѣ продаются изданія обители, а именно: «Описаніе Соловецкихъ древностей», «Описаніе Соловецкаго монастыря, архимандрита Досиѳея», «Описаніе подвиговъ Соловецкой обители», «О подвижникѣ Іонѣ», «Житіе Соловецкихъ угодниковъ», «Путеводитель по Соловецкимъ островамъ». Тутъ имѣются и такія книги, какъ изданная въ Лейпцигѣ: «О русскомъ духовенствѣ». Здѣсь же сбываются издѣлія монастырской литографіи: картины видовъ и зданій обители. Онѣ исполнены несравненно лучше работъ московскихъ искусниковъ этого рода. Цѣны—довольно высокія. Разсчитываютъ на религіозное чувство покупателя и берутъ въ три-дорога. Кромѣ того, необходимо замѣтить, что, при даровомъ трудѣ и при освобожденіи отъ платежа всякаго рода пошлинъ и сборовъ, монастырь свои изданія могъ бы продавать гораздо дешевле обыкновенныхъ. Когда я сказалъ объ этомъ монаху, тотъ сослался на св. Зосиму и Савватія.

— Не для себя! На святыхъ трудимся. Намъ что, намъ немного надо, а вотъ угодники наши, да обитель ихъ пресвѣтлая — благолѣпія требуютъ. Купить книжку или картину у насъ, все равно, что пожертвованіе на обитель сдѣлать. Все т а м ъ зачтется!

Особенно хороши изъ литографій: виды Сѣкирной горы и Голгоѳы. Къ сожалѣнію, какъ они, такъ и общій видъ Соловецкаго монастыря значительно искажены изображеніемъ ангеловъ, летающихъ по воздуху. Понятно, что тутъ разсчетъ на крестьянъ. При насъ, напр., явился одинъ крестьянинъ, шенкурецъ,—в а г а н ъ на мѣстномъ нарѣчіи. Ему показали литографію. Онъ предпочелъ картину «съ анделами»,—она ему напоминала икону.

Крестьяне покупаютъ такія картины десятками. Каждый везетъ ихъ съ собою въ подарокъ роднымъ и сосѣдямъ. Но особенно ходко идутъ въ этой лавкѣ образки и — главное — ложки соловецкаго издѣлія. Послѣднія— простого дерева, грубо выдѣланы и покрыты лакомъ. На каждой — изображеніе рыбы и надпись: «благословеніе

Соловецкой обители». Нѣкоторыя заканчиваются точеннымъ изображеніемъ благословляющей руки. Каждая ложка стоитъ не менѣе десяти-пятнадцати копѣекъ. Крестьяне закупаютъ ихъ массами.

«Ѣсть ими здорово,—объяснялъ одинъ, — потому онѣ священныя. Онѣ, поди, сколько у преподобныхъ лежали». Финифтяные образки и крестики приготовляются здѣсь также массами. Они весьма не дешевы, сравнительно со стоимостью ихъ производства. Имъ тоже сбытъ хорошъ, особенно въ первые лѣтніе мѣсяцы, когда монастырь посѣщается чернорабочими богомольцами. Въ іюлѣ начинается съѣздъ народа «почище», и самая торговля обители принимаетъ иной оттѣнокъ.

Рухлядная лавка монастыря торгуетъ сапогами изъ нерпичьей кожи, неизносимыми поясами изъ того же матеріала и монашескими вещами. Тутъ же сбывается всякаго рода рухлядь, оставляемая монастырю по завѣщаніямъ. Такъ, при насъ здѣсь красовался фракъ министерства внутреннихъ дѣлъ, чья-то енотовая шуба, мундиры и разная другая ветошь. Отсюда неимущимъ богомольцамъ выдаются въ пособіе—полушубки, сѣрые армяки, рубахи, сапоги. Все это стоитъ чрезвычайно дешево, а, въ сущности, производитъ весьма благопріятное впечатлѣніе на массу. Впрочемъ, милосердіе къ неимущимъ составляетъ хорошую черту Соловокъ. Оно и понятно: крестьянинъ-монахъ никогда не забудетъ, чего онъ натерпѣлся прежде, чѣмъ сталъ полноправнымъ членомъ богатой религіозной общины. Здѣсь естественная потребность сердца и чувства соединяется съ вѣрнымъ разсчетомъ на возвращеніе раздаваемаго сторицею.

Въ Соловкахъ есть еще лавка у Святыхъ воротъ; тутъ продается все: и колоніальные продукты, и бумага, и полотно. Приказчикъ —молодой, необыкновенно красивый, но мертвенно-блѣдный монахъ. Это лицо оставило во мнѣ глубокое впечатлѣніе. На немъ лежитъ печать мучительныхъ страданій. Каждая черта его вѣетъ скорб[illegible]ько въ глубокихъ черныхъ очахъ вспыхиваетъ

порою огонь. Такія фигуры всего лучше въ черной рясѣ монаха. Въ жизни этого затворника я чувствовалъ глубокую, въ самое себя схоронившуюся драму. Монахи испанской школы напоминаютъ это типическое и одухотворенное лицо. Въ немъ, не смотря на истощеніе, чуется нервная сила. Подобные люди могутъ сдѣлать много, и прошлое ихъ всегда богато самыми крайними переходами: или яркій свѣтъ, или тьма безъ луча...

И такую эффектную личность поставить за прилавокъ бакалейной лавки. Нѣтъ, соловецкіе монахи совершенно лишены художественнаго чутья!

Насколько Соловецкій монастырь богатъ ремесленниками, видно изъ того, что здѣсь постоянно работаетъ до тридцати сапожниковъ, сорокъ портныхъ, двадцать слесарей, двадцать пять столяровъ и восемнадцать шорниковъ. Большая часть ихъ монахи, уже принявшіе постриженіе. Всѣ эти труженики, работая на св. Зосиму и Савватія, выбиваются изъ силъ и совершенно добровольно. Чѣмъ больше они сдѣлаютъ, тѣмъ выше ихъ подвигъ передъ угодниками. Лѣтомъ еще, когда богомольцы отвлекаютъ ихъ отъ дѣла — имъ достается больше отдыха, за то зимою они работаютъ «въ свою волю». Тутъ «своя воля» означаетъ чисто воловій трудъ.

— Потому они, угоднички, все видятъ. Горе рабу лѣнивому! Разумѣется, ко всему этому слѣдуетъ прибавить, что отчасти работаютъ хорошо и потому, что они сыты и довольны своимъ положеніемъ.

Монастырскія конюшни отстроены на-диво. Просторъ, чистый воздухъ, безукоризненная опрятность. Онѣ выведены въ два яруса. Внизу до полутораста сильныхъ, хорошо содержимыхъ, цѣнныхъ коней. Вверху сложены запасы сѣна и разныя хозяйственныя орудія. Рядомъ съ конюшнями трехъ-этажное зданіе—для помѣщенія конюховъ. Между послѣдними пропасть мальчиковъ, живущихъ при монастырѣ. Съ ними и здѣсь обращаются прекрасно: сытенькіе, бойкіе мальчуганы, пока они не усвоятъ себѣ манеры взрослыхъ монаховъ, произво[illegible]

чрезвычайно пріятное впечатлѣніе. Они ловко, подъ надзоромъ старшихъ, управляются съ конями. Между конюхами-монахами находится одинъ бывшій золотопромышленникъ, человѣкъ грамотный и нелишенный даже образованія.

— Каково вамъ живется здѣсь? — разспрашивалъ я мальчиковъ-конюховъ.

— Баско! Мальчику—рай. Паренькамъ лучше жизти не требовается!

— Домой не хотите?

— Спаси, Господи! Чего мы дома не видали? Здѣсь не бьютъ, да и кормятъ вдосталь. Дома такъ и не поѣшь!

— Ну, а наказываютъ за провинности?

— Наказываютъ. На колѣшки ставятъ. Ну, а не подѣйствуетъ — ступай домой. Похуже розогъ это будетъ. Я тутъ четвертый годъ, а дурного слова еще не слыхалъ...

Съ мальчиками я разговаривалъ въ отсутствіе монаховъ. Они, слѣдовательно, не имѣли причины скрывать истину.

— За порядкомъ тольки монахи больно глядятъ, чтобы въ аккуратѣ было...

Тутъ же недалеко помѣщается и шорная мастерская: просторно, чисто, свѣтло. Въ такихъ хороминахъ и работать весело. На каждомъ шагу убѣждаешься, что монастырь—хорошій хозяинъ.

XXIX.

Кемлянки въ монастырѣ. Чиновники. Отношеніе монаха къ властямъ.

— Правда ли, что вы сажаете подъ замокъ кемлянокъ?

— Истинная. Какъ ихъ не сажать, отъ нихъ развратъ одинъ!

Вопросъ этотъ я задалъ монахамъ, потому что кемлянки, содержащія почтовое сообщеніе отъ Кеми до остро-

вовъ соловецкихъ, просили моего знакомаго, пріѣхавшаго съ ними, исходатайствовать имъ у монаховъ позволеніе остаться на свободѣ, что оказалось невозможнымъ.

— Онѣ грѣшить сюда ѣздятъ... Ради одного соблазну. Сколько этихъ случаевъ было — и не перечесть! Теперь мы рѣшили, чтобы ихъ подъ замокъ безпремѣнно. Только явится изъ Кеми лодка, пріѣзжающихъ богомольцевъ — въ гостиницу, а кемлянокъ - гребщицъ въ другое мѣсто и на ключъ. Такъ до самаго возвращенія, потому имъ воли нельзя дать. У насъ лѣса, поля. Онѣ сейчасъ туда, и давай смущать души грѣшныя. Другому бы такъ и въ голову не пришло, а какъ убережешься, когда онѣ сами лѣзутъ. Сколько про нашу святую обитель изъ-за нихъ дурной славы пошло. Въ Архангельскомъ былъ я разъ, тамъ мнѣ про нихъ тоже хорошо напѣли. И такія ли бабы безстыдныя! Запрешь ихъ—онѣ въ окна уйдутъ, а то и дверь сломаютъ...

— Неужели всѣхъ ихъ запираете?

— Какія почтой ходятъ—всѣхъ. Нельзя иначе!

— А вѣдь по закону этого нельзя?

— А иноческія души смущать полагается? Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ. У насъ здѣсь одинъ законъ и одинъ судья—обитель!

— Какъ же вы поступаете, ежели кто между вами провинится?

— Эпитимію или послушаніе тяжкое наложимъ. Вотъ и наказаніе. Если не исправимъ—ступай вонъ изъ монастыря!

— Ну, а ежели это монахъ, принявшій постриженіе, провинится?

— Этого у насъ не бываетъ. Прежде перваго постриженія мы насквозь человѣка высмотримъ. Восемь-девять лѣтъ вокругъ него ходимъ.. Какъ это можно, чтобъ, не зная человѣка, да въ иноческій санъ возвести! Никакъ этого нельзя!..

— Ну, а ежели бы, несмотря на все это, монахъ сдѣлалъ какое-нибудь уголовное преступленіе?

— И представить себѣ нельзя!

— Да вѣдь въ Пертоминскомъ монастырѣ случилось же убійство?

— То дѣло другого рода. У насъ такихъ нѣтъ. У насъ монахи съ выборомъ...

— Ну, а гражданскимъ властямъ не отдаютъ?

— Мы не предатели. Власть—властью: то власть отъ міра сего, а мы свою власть знаемъ!..

— Ну, а ежели между богомольцами что случится?

— Бываетъ, но рѣдко. Они здѣсь сидятъ смирно, потому знаютъ, въ кое мѣсто пришли. Ихъ, въ случаѣ чего, запремъ въ келью на ключъ—и сиди одинъ. А лѣтомъ, когда пароходы ходятъ,—на всѣ четыре стороны!

— Вѣдь на всѣхъ соловецкихъ островахъ иной власти, кромѣ монастыря, нѣтъ?

— Нѣтъ, сами управляемся. И хорошо! Богомольцамъ легко и намъ удобно!

Вообще, монахи, какъ огня, боятся чиновниковъ. Послѣдніе, являясь въ монастырь, держатъ себя совершенными баскаками. Они требуютъ лучшаго помѣщенія, припасовъ, какихъ монастырь доставить не можетъ, прислуги, совершенно отдѣльной. Вообще, ихъ претензіямъ нѣсть конца и предѣла. Монахи стараются по возможности исполнять ихъ приказанія—страха ради іудейска. И что всего замѣчательнѣе, такимъ неукротимымъ является собственно мелкій людъ канцелярскаго міра. Трепетъ передъ властью для соловецкаго монаха вещь весьма знакомая. Та же мелочь полицейскаго міра душила его, когда онъ былъ крестьяниномъ, и хотя теперь она съ нимъ ничего сдѣлать не можетъ, но, по старой памяти, инокъ побаивается ея. Мнѣ случалось видѣть отвратительныя сцены этого рода.

Теперь, впрочемъ, мелкому чиновничеству не даютъ воли, а прежде зачастую изъ Кеми съѣзжалось сюда пьяное канцелярское воинство, какъ на загородный пикникъ.

— Мы ихъ, признаться, и принимали не привѣтливо,

да что? Развѣ они понимаютъ. Разъ одного судью привезли замертво, сколько бѣдъ было. Думали, поколѣетъ онъ у насъ отъ запоя. Очумѣлъ совсѣмъ: дьяволы ему видѣлись все. Отвадились, однако!

Крестьянинъ привелъ и собственный опытъ относительно чиновничества.

— А ты угодничкамъ нашимъ помолись—и полегчаетъ. Молебенъ, что-ли, сослужи. А то и такъ. Отъ начальства и молитва есть особая. Читай на сонъ грядущій и по утрамъ—оченно помогаетъ. Кротость она внушаетъ имъ!

XXX.

Поѣздка въ Макарьевскую пустынь.

Свѣтлый день. Яркое солнце такъ и обливаетъ трудно выносимымъ зноемъ лѣса и озера Соловецкаго острова и зеркальную гладь застоявшагося въ чудномъ покоѣ моря. Что ни бухта, то картина, что ни поворотъ дороги, то новыя восклицанія восторга и изумленія.

Опять мы ѣдемъ лѣснымъ путемъ, опять направо и налѣво раскидывается царство могучихъ лѣсныхъ великановъ. Тамъ-и-сямъ сквозятъ озера. Одни изъ нихъ совсѣмъ ушли въ тѣнь высокихъ деревьевъ, другія такъ и лучатся рѣзкимъ, ослѣпляющимъ глаза свѣтомъ. Къ этой природѣ не приглядишься.

Новый лучъ — и все измѣняется передъ вашими глазами; новая перебѣгающая тѣнь случайнаго облачка, и опять иное выраженіе... Точно лицо красавицы, живое, подвижное, постоянно мѣняющееся передъ вами... Вотъ ея глаза сверкаютъ ослѣпительнымъ блескомъ, губы полуоткрыты, вся она облита яркимъ румянцемъ... Грудь колышется высоко... Голова откинута назадъ... Еще мгновеніе—и глаза потемнѣли, только въ таинственной глубинѣ ихъ вспыхиваютъ мимолетныя зарницы, на блѣдномъ лицѣ лежитъ выраженіе тихой грусти, печальная улыбка не то сожалѣнія, не то обманутой надежды замерла на

устахъ... Какъ цвѣтокъ, поблекшій на стеблѣ, она склонила свою головку... И вамъ самимъ становится грустно до перваго солнечнаго луча, до перваго вихря страсти и блаженства!

— Хорошъ вашъ Соловецкій островъ: приволье, краса!

— Ну,—отозвался монахъ,—какая такая краса? Что за земля, коли хлѣба не родитъ? Горы все... То ли дѣло у насъ, въ Рязанской губерніи—гладь. Ровнехонько—ни тебѣ холма, ни тебѣ горки. Хошь на копькахъ катайся. Вотъ это такъ краса. А тутъ — самое несообразное мѣсто!—И монахъ ожесточенно погналъ лошадей, нахлестывая имъ бока.

— У насъ еще лучше,—отозвался богомолецъ,—у насъ рожь самъ—15 ростетъ!

— Вотъ это краса!—согласился монахъ.—Какъ нивка золотая подымется, да колосъ съ колосомъ почнутъ разговоры водить—сердце радуется. Хорошо мѣсто—рѣки у насъ даже нѣтъ—а кругомъ море—чего ужъ безобразнѣе!

— Что у васъ въ Макарьевской пустыни?

— У насъ тамъ сады, огороды, парники,—все есть. Недавно былъ богомолецъ одинъ изъ Питера, такой изъ себя значительный, словно енаралъ. Ужъ онъ ахалъ тоже. Вотъ, говоритъ, мѣсто; коли-бъ да это мѣсто поближе къ столицамъ—большихъ бы денегъ каждый лоскутъ земли стоилъ. Камень, говорю ему. Это ничего, мы бы тутъ понастроили всего. А по этимъ озерамъ гулянья, чтобъ... Извѣстно, модники!

— По нашимъ мѣстамъ, — вставилъ богомолецъ,— не дай Богъ такой земли; что съ ней подѣлаешь? Тутъ и соху, и борону изломаешь!

— Камень, извѣстно камень. На немъ не посѣешь!

— Сказано твердь—ну, и шабашъ!

— Твердь это небо,—наставилъ монахъ.—А камень по-гречески—Петра...

— По эфтимъ мѣстамъ, поди, сколько угодниковъ хаживало?

— Это точно, что много. У насъ угодниковъ много!

— А мы по невѣжеству этого не чувствуемъ!

— И, значитъ, великъ это грѣхъ!..

— Да, про все тамъ отвѣтимъ. Тамъ, братъ, не обманешь!..

— Нѣсть грѣха, превышающаго милосердіе Его—сказано!

— Это—точно. Одначе и разсужденіе имѣть надо. Ходи съ опаской... Не все спустится!

— Странняго человѣка призри и успокой!—отозвалась странница.

— Ну, и изъ вашихъ бываютъ...

— Какъ не бывать, бываютъ, но все же, значитъ, чтобъ по добродѣтели... Подай страннику—Христу подашь!

— Подать, отчего не подать. Страннему человѣку завсегда подать требуется, но все же въ оба за нимъ гляди, потому нонѣ насчетъ совѣсти чтобы—тонко!.. Народъ нонѣ обманный, жженый народъ...

— Это вѣрно. Потому о Богѣ забыли!

— А ты не осуждай!—обернулся монахъ.—Слышалъ, что писано: юже мѣрою мѣрите, тою и воздастся вамъ!

— Тутъ бы, вотъ, она те полянка—гли... Баско было бы ячменю... По-за лѣсомъ. Хорошо!

— Некому, да и мала. Не стоитъ!

— У насъ бы сейчасъ сорудовали это... Распахалъ бы... Такая ли нивка выйдетъ—благодари Создателя!

— Мѣсто настоящее!

— Чего лучше. Паши!..

Наконецъ, трое нашихъ дрожекъ подъѣхали къ Макарьевской пустыни.

Это—прелестный уголокъ, затерянный среди лѣсистыхъ горъ въ зеленой котловинѣ. Кругомъ нея тишь и глушь. Мы взошли на балконъ, устроенный на кровлѣ часовни. Отсюда открывался пейзажъ, такъ и просившійся на полотно. Прямо передъ нами, одни выше другихъ, вздымались гребни поросшихъ соснами горъ и за ними синевато-туманныя полосы такихъ же далей. Все

навѣваетъ на душу мирное спокойствіе. Западавшія въ глубь лѣсовъ тропинки звали въ эту свѣжую чащу. Порою, отъ случайно набѣжавшаго облака, лѣса уходили въ тѣнь, за то другіе выступали ярко-зелеными пятнами. Изрѣдка взглядъ встрѣчалъ небольшую поляну. На одной ясно рисовался силуэтъ отдыхавшаго оленя. Серебряная кайма озера едва-едва прорѣзывалась изъ-за лѣса налѣво.

Садовникъ-монахъ, изъ крестьянъ, предложилъ намъ посмотрѣть оранжереи и парники.

Тутъ росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумѣется, все это въ парникахъ. Печи были устроены съ теплопроводами подъ почвой, на которой росли плодовыя деревья. Такимъ образомъ жаръ былъ равномѣренъ. Этимъ устройствомъ монастырь обязанъ тоже монаху-крестьянину.

Оранжереи съ цвѣтами прелестны. Въ распредѣленіи клумбъ обнаруживаются вкусъ и знаніе дѣла. Я долго былъ тутъ, внимательно разсматривая всѣ подробности этого уголка. Это—полярная Италія, какъ ее мѣтко назвалъ высокій посѣтитель...

— Много ли васъ тутъ?—спросилъ я у монаха.

— Трое; я, да двое работничковъ-богомольцевъ. Дѣло-то здѣсь маленькое. Порасширить бы его—да и того довольно. Фрухтъ только и идетъ, что для архимандрита и для почетныхъ гостей!

— Въ Архангельскъ бы отправляли?

— Неужели же тамъ нѣтъ своихъ парничковъ?

— Нѣтъ!

— А тамъ бы лучше росло: теплѣе и климатъ способнѣе. У нѣмцевъ, поди, есть въ Архангельскѣ все. Наши только, русскіе, подгадили!

Позади парниковъ я взобрался на гору. Отсюда открывался чудный видъ на потонувшіе внизу лѣса и озера. Не хотѣлось вѣрить, что мы на крайнемъ сѣверѣ. И воздухъ, и небо, и земля—все напоминало югъ Швейцаріи. Только бы побольше животной жизни.

Пейзажи Соловокъ были бы еще живописнѣе, если это возможно, когда бы тутъ было побольше стадъ и птицъ. Молчаніе въ природѣ слишкомъ сосредоточиваетъ душу. Созерцанія принимаютъ нерадостный характеръ и переходятъ въ мистицизмъ. Пѣніе птицъ, блеяніе стадъ настроили бы душу на иной, болѣе веселый ладъ. Даже и чайки внутри острововъ попадаются въ одиночку, и то рѣдко.

XXXI.

Сельдяной ловъ.

Я направился какъ-то на восточную сторону соловецкой гавани. Еще издали несло ворванью и запахомъ свѣжеваннаго морского звѣря.

Тутъ оказалась салотопня. Устройство ея весьма просто и практично. Тутъ же на солнышкѣ сушились жирныя шкуры морского звѣря: нерпъ, бѣлугъ, тюленей, лысуновъ и др.

— Много ли у васъ добывается звѣря?—спросилъ я у встрѣтившагося мнѣ монаха.

— Ничего, довольно. На деньги ежели считать, такъ тысячъ па пятьдесятъ всего промышляемъ!

— На Мурманѣ?

— И на Мурманѣ, и на островахъ нашихъ. На Мурманѣ мы больше треску ловимъ. Скоро салотопню мы думаемъ совсѣмъ перестроить. Тутъ одинъ монашекъ, изъ мужичковъ, взялся получше сдѣлать. Ему и будетъ поручено. Больно ужъ грязна эта-то, да и запахъ разноситъ. Мы-то притерпѣлись, а богомольцы жалуются... Изъ шкуръ мы бахилы (родъ сапоговъ) шьемъ, штаны, рубахи тоже. Какъ надѣнешь на себя все это, хоть по горло въ воду ступай—никакая сырость не пробьется. У насъ всѣ рабочіе носятъ ихъ. И легко. Гораздо легче простой одежи!

— Продаете на сторону?

— Нарочно не продаемъ. А если желаніе имѣете купить, можно—въ рухлядной. И дешево!

Вблизи замѣтилъ я смолокурную печь. Кладка кирпичная. Она походитъ скорѣе на норвежскую, чѣмъ на наши крестьянскія, которыя мнѣ случилось видѣть въ Шенкурскомъ уѣздѣ и въ Вологодской губерніи.

— Тоже мужичокъ у насъ строилъ,—объяснилъ монахъ:—тутъ мы смолу гонимъ, пекъ добываемъ, скипидаръ для своего обихода. Все лучше, чѣмъ на сторонѣ покупать. Намъ этого матеріалу много нужно!

Сушильня со всѣхъ сторонъ была открыта вѣтру, но устроена такъ, чтобъ дождь туда никакъ не могъ пробиться. Отсюда мы прошли къ маленькой тонѣ сельдяного лова. Большія тони находятся по всѣмъ берегамъ Соловецкаго и Анзерскаго острововъ. Нѣсколько рабочихъ, съ однимъ монахомъ, распорядителемъ работъ, поѣхали забрасывать снасть. Лодка описала громадный кругъ по гавани, оставляя за собою слѣдъ—поплавки сѣти, опускаемой въ воду по мѣрѣ движенія челнока. Внизу къ снасти прикрѣплены гирьки, удерживающія ее на днѣ. Такимъ образомъ вся рыба, находившаяся на этомъ просторѣ, попала въ сѣть. Самая сѣть, необычайно прочная, хорошо просмолена. Спустя нѣсколько минутъ, лодка съ другимъ концомъ сѣти вернулась на берегъ. Поплавки сѣти описывали большой овалъ.

— Ну, голубчики, ну, кормильцы, давай сѣть вытягивать!—приказалъ монахъ-распорядитель.

Три человѣка съ одной и трое съ другой стороны вошли въ воду за сѣтью. Они захватывали ее какъ можно подальше отъ берега и вытягивали на берегъ; всходили на землю и снова входили въ море. Кругъ все больше и больше съуживался. Вотъ на поверхности воды заблестѣли серебристо-радужныя, золотисто-розовыя спинки сельди чаще и чаще. Вотъ поверхность моря сплошь покрыта ими. Ничто не можетъ дать понятія о прелести красокъ, окрашивающихъ сельдь, когда она жива и—главное [illegible]ча въ родной своей стихіи. Это—лучи,

проходящіе сквозь разлагающую призму, это пурпурныя, розовыя, синевато-золотистыя блестки. Цвѣта мѣнялись каждое мгновеніе. Нельзя налюбоваться на нихъ. Рыба сплошь заняла все пространство, очерченное поплавками сѣти. Нѣсколько сельдей перескочили черезъ нихъ и ушли въ море.

— Путь-дорога!—проговорилъ монахъ.

— Много ли ловите?

— Разно бываетъ, Господь помогаетъ. На день св. Зосимы въ одну ночь пудовъ сто пятьдесятъ сельди выловили. То особая милость была. Чудо явленное!

Это оказался іеромонахъ. Онъ работалъ, какъ простой рыбарь: самъ входилъ въ море, самъ тащилъ сѣть. Когда стали выбрасывать въ лодку выловленную рыбу—онъ трудился больше всѣхъ. Тутъ, вообще, не отличишь монаха отъ чернорабочаго. Они также возятся съ киркой, ломомъ, косой, снастью, глиной, какъ и другіе. Понятно, что примѣръ ихъ имѣетъ громадное вліяніе на богомольца.

— Откуда вы?—обратился я къ одному изъ богомольцевъ-рабочихъ.

— Свирскій!

— По обѣту здѣсь?

— На годъ!

— Что это на васъ платье все изъ тюленьей кожи?

— Да монастырская работа!

Онъ трудился по горло въ водѣ. А между прочимъ ни одна капля не проникла на тѣло.

— Сколько вѣсу будетъ въ этой тонѣ?

— Не менѣй тридцати пудовъ. Рѣдко меньше. Не гляди, что пароходы тутъ стоятъ, не распугали рыбы-то. Чудеса это. Угоднички монашикамъ своимъ посылаютъ. Сельдь глупая; она рыба, и разумѣнія ей не дано. Одначе это понимаетъ: какъ изъ воды вынешь—потемнѣетъ вся. Ишь, вонъ, что въ лодку брошена—не играетъ!

Сельдь выбрасывали въ лодку. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ—краски гасли. Онѣ замѣнялись мерт-

веннымъ синевато-серебристымъ цвѣтомъ. Челнъ наполнился почти до краевъ. Прямо черезъ бухту рыбаки направились къ деревянному зданію амбара на другомъ берегу. Тутъ его выпростали. Отсюда сельдь доставляется, часа черезъ два послѣ лова, въ погреба обители. При мнѣ нѣсколькимъ богомольцамъ въ видѣ подаянія насыпали полные «козонки» сельди. Тѣ на ночь собирались варить уху. Роздали пуда съ два.

— По всѣмъ берегамъ такъ сельдь ловите?

— Зачѣмъ. Здѣсь ловъ маленькій, только тутъ сельдь руками и вытаскиваемъ. По другимъ мѣстамъ мы вороты устроили. Не въ примѣръ легче. Воротомъ снасть и тянешь. Ровнѣе и скорѣе идетъ. Меньше силы требуется!

— А треску въ Анзерахъ какъ ловите?

— Какъ на Мурманѣ—ярусами!

— И много попадаетъ?

— Довольно... На какого святого ловъ, отъ того зависитъ. Тутъ, братцы, вездѣ премудрость, не спроста тоже!

XXXII.

Монастырскій садъ. Ризница. Оружейная.

Послѣ всенощной я отправился вдоль монастырскихъ стѣнъ къ лѣсопильному заводу. Проходя мимо садиковъ, разбитыхъ у самыхъ башенъ, я встрѣтилъ монаха, таинственно манившаго меня. Понятно, что я удивился.

— Что вамъ угодно?

— Поговорить съ вами!

Мы вошли въ садикъ. Сирень и черемуха были въ цвѣту. Въ небольшихъ темныхъ аллейкахъ стоитъ густой ароматъ.

— Вы, сказываютъ, изъ Архангельска. Что слышно тамъ о почившемъ архимандритѣ нашемъ?

— Это о которомъ слѣдствіе производилось?

— Да... за добродѣтель свою пострадалъ человѣкъ!

— Помилуйте, какая добродѣтель! А деньги?

— Точно что дьяволъ попуталъ его. Но не такъ понимать это надо. Сущій ребенокъ былъ покойный. У него, словно у дитя малаго, глаза на все блестящее зарились. Болѣзнь. Это онъ не своею волей. А, что, говорятъ, будто эти деньги у монастыря отнимутъ?

— Да, есть законные наслѣдники!

— Законный наслѣдникъ—одна наша обитель. Тогда, какъ онъ померъ, мы сейчасъ же жандармскому дали знать. Полковникъ пріѣхалъ, все опечаталъ. Такъ и теперь!

— Однако, хорошо же ведется ваше денежное хозяйство, ежели такія крупныя суммы можно брать у васъ незамѣтно!

— Не то, что хозяйство. Тутъ не въ хозяйствѣ дѣло. Мы скандалу боялись. Нынѣ извѣстно—безвѣріе вездѣ. Словно волки лютые, ищутъ, чѣмъ бы уязвить обители. Опять же супротивъ архимандрита никто идти не рѣшался—страха ради іудейска. Одинъ-было поднялся—тотъ его сейчасъ въ другую обитель, въ настоятели. Онъ было не поѣхалъ—за противленіе его въ тотъ же монастырь, только ужъ простымъ монахомъ. Вотъ оно у насъ каково. Опять же его, архимандрита, просто жаль становилось, потому онъ обходительный такой!

— Ну, вы тоже не совсѣмъ правы. У него, говорятъ, своихъ денегъ въ монастырь было привезено около ста тысячъ, а вы и тѣ захватить думаете!

— Зачѣмъ же намъ отступаться? У насъ померъ — наши и деньги. Пусть лучше на доброе дѣло въ обитель пойдутъ, чѣмъ мірскимъ наслѣдникамъ. Отъ богатства много и зла бываетъ на свѣтѣ!

Оправданіе—весьма характеристическое.

— Вы говорите: скандала боялись; скандалъ все-таки вышелъ. Да и хороша обходительность, если онъ монаховъ по другимъ монастырямъ разгонялъ!

— Горе противляющимся, сказано. Ты терпи. Вотъ и мы отъ полиціи натерпѣлись... Острова осматривали?

— Да!

— А правда,—таинственно спросилъ онъ меня,—что у насъ здѣсь серебряная руда должна быть?

— Не думаю. Соловки просто гранитные стержни, покрытые наносною почвой!

— Вы вѣдь все по наукамъ произошли. Желѣза тоже нѣтъ?

— Нѣтъ. А если бы оказалось?

— Сейчасъ-бы разработкой занялись. У насъ насчетъ этого хорошо. У насъ вѣдь и горнозаводчики есть. Все мужички-съ. У насъ мужички есть, что и въ журналахъ пишутъ!

— Въ духовныхъ вѣрно?

— Да-съ, въ духовныхъ. А одинъ шенкурскій мужичекъ—въ монахахъ у насъ—задумалъ исторію двинскаго края написать. Далась ему грамота... Хозяйство наше видѣли вы? А погреба изволили замѣтить? Нѣтъ. Ну, такъ завтра я раненько проведу васъ...

Погреба, дѣйствительно, оказались великолѣпные. Я ничего не видѣлъ подобнаго. Холодъ, свѣжій воздухъ и просторъ. Особенно хороши ледники. Это совершенство въ хозяйственномъ отношеніи. Описывать ихъ напрасно. Нужно все видѣть самому. Никакое описаніе не дастъ понятія о роскоши мѣстныхъ кухонь, пекарень, подваловъ, квасныхъ, кладовыхъ и т. д.

Въ тотъ же день мы осмотрѣли и ризницу. Богатства особеннаго не видно. Монастырь не любитъ держать мертвые капиталы. Деньги —вѣрнѣе, они хоть казенный процентъ принесутъ. Въ историческомъ отношеніи здѣсь обращаютъ вниманіе: грамоты новгородская и Іоанна IV, на владѣніе островами, первая подписана Марѳою Посадницею; сабля, пожертвованная Пожарскимъ, и мечъ Скопина-Шуйскаго, которые, помимо научной цѣнности, представляютъ довольно крупную стоимость по числу драгоцѣнныхъ камней, ихъ украшающихъ. Тутъ же изящныя чаши, рѣзанныя ажуромъ изъ слоновой и моржевой кости. Остальное: евангелія, ризы—представляютъ только извѣстную стоимость, не имѣя значенія въ другихъ отношеніяхъ.

— Это бы да въ деньги все — хорошо! Что тамъ — исторія, сними съ нихъ рисунокъ, ну, и храни его. Деньги все лучше. Ихъ въ оборотъ можно!—откровенно высказался одинъ монахъ, когда я съ нимъ заговорилъ о ризницѣ. — Деньгамъ мѣсто можно найти. Новый бы пароходъ выстроили, на Мурманѣ становище, да на солеваренiе... Хорошо, ежели бы у насъ на островахъ каменный уголь найти... Потому надоѣло англичанамъ деньги платить за него!

— А помните: какая польза человѣку, аще весь міръ пріобрящетъ, душу же свою отщетитъ?

— То про человѣка сказано, кто для себя все... А мы не для себя. Намъ самимъ ничего не надо. Видѣли вы—какъ мы ѣдимъ, какъ мы живемъ, во что одѣваемся. Намъ мало требуется. А это для обители, во славу Божью, для угодничковъ. Имѣніе монастыря — не имѣніе монаховъ. Монастырь можетъ быть богатъ — а монахи бѣдны. Это у насъ и исполняется. Роскоши вы нигдѣ не встрѣтите!

— Такъ и довольствуйтесь тѣмъ, что имѣете, не желая лучшаго!

— Это точно, мы для себя и не желаемъ. Но для угодничковъ мы должны стараться...

— Лучше пусть въ мірѣ богатство будетъ. Народъ вѣдь бѣдствуетъ у насъ!

— Вѣрно, что бѣдствуетъ, но оно и лучше. Помните, что въ Евангеліи про богатаго сказано: легче верблюду—въ игольное ушко, нежели богачу въ царствіе Божіе. Въ мірѣ-то человѣкъ обогащается, а тутъ сокровищами обители имя Господне прославляется. Ему же честь и поклоненіе. Оно точно: народъ въ мірѣ убогій, мы и помогаемъ при случаѣ. Окромѣ того, въ деревни деньги посылаемъ когда...

Оружейная Соловецкаго монастыря разомъ переноситъ посѣтителя въ ту ветхозавѣтную старину, когда мы бились еще бердышами, не зная прелестей митральезъ, шасспо и крупповскихъ пушекъ. Впрочемъ, въ расположеніи стараго оружія не видно никакого порядка.

— Хламъ старый,—съ презрѣніемъ говоритъ монахъ.— Одинъ изъ Питера у насъ былъ: много, говорилъ, денегъ можно за него получить, за вещошь эту. Неужли такая глупость есть?

— Есть!

— Чудеса! Какого народу на свѣтѣ нѣтъ! Хошь бы желѣзо стоющее было, а то проржавѣло все!

— По этимъ остаткамъ изучаютъ старину!

— Въ лѣтописяхъ достаточно есть. Не будетъ народъ счастливѣе отъ того, что узнаетъ, чѣмъ предки его затылки ломали другъ другу!

Что было возразить!

— Моя бы воля—я сейчасъ бы продалъ все это!

— Мнѣ ужъ говорилъ одинъ монахъ, что онъ бы и ризницу въ деньги обратилъ!

— То ризница, то дѣло другого рода. Тамъ святыни; напримѣръ, ризы, кои св. Филиппъ, св. Зосима и св. Савватій носили. То все благочестіе въ народѣ поддерживаетъ... А отъ оружія этого кровью пахнетъ... Оно никого не просвѣтитъ и не образуетъ!

— У насъ вотъ нынѣче народное образованіе по недостатку средствъ развиться не можетъ. Вотъ бы отъ своихъ достатковъ монастырь хоть бы для селеній Архангельской губерніи удѣлилъ малую толику!

— Въ свѣтскомъ просвѣщеніи—добра мало. Грѣхъ и помогать ему. Ежели-бы такія школы, какъ у насъ, напримѣръ,— иное дѣло. А то, что за сласть — изучаютъ языческіе языки, а духовнаго и не слыхать. Иной лба себѣ перекрестить не смыслитъ. Мотаетъ рукой, какъ коромысломъ... Спаси, Господи, отъ образованія такого!

XXXIII.

Шенкурскій хлѣбопашецъ въ рясѣ.

— Да разное на свѣтѣ бываетъ. Иной и не помышляетъ объ иночествѣ, а Господь приведетъ его къ такому концу. Вотъ и я тоже, первый по волости богачъ былъ,

кормилъ народъ самъ, за подряды брался... Одного хлѣба сколько сѣялъ. И не знаешь, къ чему судьбинушка наша идетъ!

— Какъ же вы въ монастырь попали?

— Голубчикъ мой, какъ это спрашивать такъ; я и самъ не знаю, какъ попалъ. Случилось, вотъ и все. Сначала несчастіе постигло меня, одно за другимъ. Деньги, признаться, были—родной братъ, питерецъ, подсмотрѣлъ и укралъ. Господь съ нимъ, я ему давно простилъ. Пусть только на добро; потомъ, все равно, ему же оставилъ бы; дѣтей, вишь, у меня не было. Опослѣ этого домъ сгорѣлъ. Съ той поры поправиться ужъ не могъ. Жена въ скорости померла, не вынесла. Потомъ злой человѣкъ скоть у меня испортилъ. Какъ Іовъ многострадальный изъ богатства въ нищету произошелъ: изъ перваго по волости,— послѣднимъ сталъ. Ночью, бывало, какъ никто не видитъ, такое-ли горе возьметъ. Заплачешь, какъ дитя неразумное. Узналъ стороной, что въ Питерѣ братъ разбогатѣлъ. Онъ по артельной части. Пошелъ къ нему; думаю, отдастъ, что покралъ. Точно. Какъ увидѣлъ меня, спокаялся. Заплакалъ. Очень, говоритъ, совѣсть меня за это самое мучаетъ. Но одначе я съ твоихъ денегъ жить сталъ. Теперь вотъ—бери, мнѣ не требуется твое, своего, благодареніе Богу, много. Уговаривалъ въ Питерѣ остаться, да я не остался. Въ поле тянуло. Опять же могилки тамъ въ селѣ. Жена да мать лежатъ. Какъ бросить? Да и питерское житье не по душѣ мнѣ было, признаться. Ни тебѣ простору, ни тебѣ работишки настоящей нѣтъ. Болтаются всѣ такъ-то. Кто про что. Шумъ, суета, народъ оголтѣлый, добродѣтели въ немъ нѣтъ, все бьетъ на обманъ. Промежь пальцевъ уйдетъ у тебя. Пошелъ я домой. Только—въ Новой Ладогѣ это было—завернулъ я ночевать въ одно мѣсто. Утромъ всталъ, ни денегъ, ни паспорта. Опять лютые вороги покрали. Горше всего мнѣ на этотъ разъ стало. Я въ полицію. Кто тебя знаетъ, говорятъ,—кто ты такой? Какой ты есть человѣкъ? Можетъ, — бродяга? Повѣришь-ли, кормилецъ, вмѣсто за-

щиты—въ тюрьму попалъ. Вотъ она правда какая — у судій земныхъ. Прости имъ, Господи, не вѣдятъ бо, что творятъ. Списался я изъ тюрьмы съ братомъ; тотъ устроилъ все, денегъ малую толику прислалъ. Пошелъ я опять домой, что птица съ оборванными крыльями. И сталъ съ той поры тяготу носить. Допрежь я и неурожая не зналъ; а теперь, что ни годъ—то морозомъ ниву побьетъ, то дожди такіе, что хлѣбъ на корню погніетъ; то засуха, то разливомъ пашню смоетъ. Перемогался я, перемогался, да и затасковалъ. Просто нѣтъ мнѣ нигдѣ спокою. Куда ни пойду, вездѣ люди богачество мое видѣли, вездѣ мнѣ прежде въ поясъ кланялись, вездѣ я первый человѣкъ былъ. Не такъ тяжко тому, у кого никогда ничего не бывало. Выйдешь-ли на поле — у другихъ колосъ золотомъ налился, шумитъ нивушка на радость работнику—хозяину, а у меня колосъ рѣдкій да мелкій, зеленый еще... Вдаришься объ землю, да плачешь... А то уйдешь отъ людей въ лѣса, глушь-отъ у насъ безпросвѣтная. Царство!.. И бродишь тамъ дни, по ночамъ только домой, словно воръ какой, пробираешься... Все опротивѣло! Разъ я тундру на поля снималъ. Осень холодная стояла. Тундру-то снимать по колѣно въ водѣ приходится. Тутъ и робишь, тутъ и спишь, тутъ и Господу Богу своему молишься. Иногда недѣли по двѣ такъ-то: одичаешь весь. Вотъ и работаю я одинъ-одинешенекъ. Разъ это занедужилось мнѣ, и прилегъ я; мѣсто посушѣй нашелъ. Лежу я, а въ глазахъ все обители пречестныя. Куполы зеленые, кресты золотые, да стѣны бѣлыя... Въ ушахъ—колокола... Такъ и гудитъ. Клиръ невидимый молитву поетъ. Точно кого-то въ иноки посвящаютъ. Такъ дня три было. Какъ пришелъ я въ себя, такъ и обѣщался сходить къ преподобнымъ Зосимѣ и Савватію на годъ, ежели выздоровѣю. Опослѣ этого, какъ рукой сняло. Ну, я и продалъ все: и землю, и скотъ, какой остался, и пошелъ сюда. Пожилъ я годъ—работникъ я хорошій—монашики уговаривали меня остаться, самъ архимандритъ покойный:—живи, говоритъ, у насъ, Алексѣй, что тебѣ

бобылю безродному, въ мірѣ дѣлать; молись, да работай на обитель святую. Ну, сходилъ я домой, поклонился родному селу, церкви нашей, да на могилкахъ поплакалъ. Потомъ выправилъ себѣ отъ обчества увольненіе и пошелъ въ Соловки. Десятый годъ теперь живу здѣсь... А все стараго горя не заѣсть—дьяволъ, видно, мутитъ насъ. Года три тому назадъ братъ пріѣзжалъ. Въ купцы вышелъ. Помолился здѣсь, у меня въ кельѣ пожилъ. Только самъ его я попросилъ, чтобы уѣзжалъ скорѣй: не въ моготу было. Тоска такая. Міромъ отъ него пахло. Самъ съ нимъ ушелъ бы, еслибъ онъ подольше остался. Какъ уѣхалъ, и опять ничего. Вотъ развѣ когда на лугахъ работаешь, такъ тянетъ домой. Такъ бы и бросилъ все и пошелъ!

Въ монастырѣ зазвонили.

— Пора на спокой! Прости, Христа ради! Такъ разговорился я съ тобой, добрый человѣкъ, теперь, пожалуй, опять мутить начнетъ. Лучше не вспоминать. Легче...

Бѣлая, безъ тьмы и безъ свѣту, ночь окутала острова. Только крики чаекъ, да говоръ волнъ и нарушали безмолвіе этой пустыни.

XXXIV.

Анзеры.

Анзеры и особенно гора Голгоѳа пользуются такою же славою, по поразительной красотѣ своихъ пейзажей, какъ и Сѣкирная гора. Анзеры—большой и гористый островъ Соловецкаго архипелага. Здѣсь находится скитъ и, кромѣ того, у береговъ производятся рыбныя ловли. Въ Анзеры насъ отправилось около пятидесяти богомольцевъ.

Рекомендую всѣмъ туристамъ отъ одиночества въ дорогѣ бѣжать, какъ отъ огня. Природа сама по себѣ все же не такъ интересна, какъ люди, а на такихъ пунктахъ, какъ Соловки, странники и странницы представляютъ такое разнообразіе типовъ и племенъ, что ими, право, не

грѣшно заинтересоваться. Тутъ и грузинъ съ Кавказа, и казакъ съ Дона, и корелъ изъ Кемскаго уѣзда, и сибирякъ чуть-ли не́ изъ-подъ Ялуторовска. Тутъ и высокая, сгорбленная фигура странника въ скуфейкѣ и съ классическимъ посохомъ въ рукахъ, тутъ и молодое красивое лицо бабенки, посѣщающей святыя мѣста съ цѣлію вымолить себѣ у Бога ребятъ. Тутъ и бойкій поволжскій мѣщанинъ, и купецъ стараго закала, съ бородою за галстухомъ, въ сѣромъ сюртукѣ до пятъ и высокой шляпѣ съ широкими полями. Тутъ и зоркій еврей перекрещенецъ, и батюшка соборный протопопъ изъ-за Урала. Это цѣлый калейдоскопъ типовъ. А сѣрое крестьянство—на первый взглядъ оно покажется однообразнымъ. Но всмотритесь въ него: какое богатство типовъ, и какихъ еще! Общаго у всѣхъ — только выраженіе затаенной боли въ лицѣ, словно всѣ они носятъ тяготы не по силѣ, словно каждый чувствуетъ надъ собою бичъ. Переговариваются они больше междометіями. Рѣдко вырвется короткая фраза; все понуро, недовѣрчиво, забито, поругано и запугано. За то жонки, что это за неугомонныя болтуньи! Языки у нихъ—словно колокольчики почтовыхъ лошадей въ дорогѣ. Пройдите съ ними часа два и вы почувствуете боль въ головѣ, звонъ въ ушахъ, точно отъ угара. О чемъ-то онѣ не переговорятъ между собою. Особенно старухи—тѣ неистощимы: тутъ и пупъ земной, и купецъ Синепуповъ, и Евангелъ какой-то, папа римскій, съ тремя хвостами; козьмодемьянскій дьячекъ, у котораго борода клиномъ—большой мастеръ заговаривать зубы, и Іерусалимъ-градъ, и деревня Сычевка, и левіаѳанъ-рыба, лично видѣнная гдѣ-то за морями, и бѣлозерскій снятокъ, о прелестяхъ котораго распространяется новгородская торговка, замѣшавшаяся сюда же. Голова закружится, и все вокругъ ходуномъ пойдетъ. А вотъ, напримѣръ, волжскій юркій паренекъ рядомъ съ современнымъ купчикомъ, въ модной жакеткѣ и шелковой лѣтней шляпѣ. Послушайте ихъ.

— И плывемъ этта мы на праходѣ; я за капитана былъ,—ж[illegible] паренекъ:—а ночь хоть глазъ вы-

коли. Сигналафъ этихъ мы и запаху не знаемъ, потому—безпокойное дѣло, отъ Бога не убережешься. Бѣжимъ—авось-де, Господь пронесетъ. Вдругъ—шаррахъ... Исторія! Въ барку въѣхали. Что дѣлать?.. Съ барки народъ оретъ: спасай, братцы,—тонемъ. А намъ какъ спасать: мы сломали—въ отвѣтъ попадешь. Я сейчасъ—задній ходъ, обошелъ барку, да давай Богъ ноги! Такъ и ушли. Пассажировъ въ тотъ разъ не было!

— Потонули, поди, съ барки?

— Какъ не потонуть! Всѣ, должно, потопли, не безъ эфтаго. Народъ отчаянный!..

— Божье произволеніе!

— Извѣстно, Богъ-Господь. Безъ него ни-ни!

— Да, это бываютъ, точно, случаи. О запрошлымъ лѣтомъ хлѣбъ я на баркахъ послалъ. Только барки и дошли до пристани. Оттуда приказчикъ пишетъ: какая цѣна будетъ. Рубль за пудъ—пишу. Только дня это не прошло—даетъ онъ мнѣ депешь: у Ивана-де Ефимыча десять барокъ съ хлѣбомъ, рожью, потопли. Я сейчасъ: продавай хлѣбъ рубль двадцать. Хорошо! Только черезъ семь денъ опять депеша: у Аладьина три баржи обсохли и хлѣба много попорчено. Я сейчасъ молебенъ святому Николаю Чудотворцу, а приказчику: продавай по полтора. Что-жъ бы ты думалъ? — Въ рубль шестьдесятъ хлѣбъ пошелъ!.. Въ рубль шестьдесятъ!.. Что одного барыша взялъ я тогда—страсть!

— Но, однако, я за это нонѣшній годъ колоколъ въ церковь пожертвовалъ!

— Это хорошо. По купечеству все больше колокола жертвуютъ!

— Фасонистѣй оно какъ-то. На цѣлую церкву нашего финанцу не хватитъ. Ну, такъ колокола!

— Точно что фундаментальнѣе!

Въ другой группѣ—другіе и разговоры.

— Такъ вы говорите, что при отношеніи?

— Да-съ. Отъ сего числа за нумеромъ 0,000 имѣю честь покорнѣйше просить, и пошелъ, и пошелъ. Мы сей-

часъ, какъ получили, наистрожайше становому: предписываемъ-де... и, въ случаѣ допущенія медленности, имѣете вы подвергнуться законному взысканію, на осн. ст. 00, XV тома!

— Ну, и что-же? — съ видимымъ участіемъ вопрошаетъ первый.

— Сейчасъ становой въ село, мужиковъ на цугундеръ—такъ васъ, растакъ... Кузькину мать помянулъ.— Розогъ! Сію минуту подать!

— Далеко парень пойдетъ. Губернія наша отдаленная. Университетскихъ намъ не требуется!

— Н-нѣтъ. Намъ модниковъ не надо, — восхищался собесѣдникъ.—Намъ дѣльцовъ подавай; чтобъ все могъ— единымъ взмахомъ. Veni, vidi, vici... Изволили учить въ семинаріи?

— Ну, а казенная палата, что?

— По увѣдомленіи удовлетворилась. Мы ей тоже очки втерли: тотчасъ-де по полученіи отношенія были приняты самострожайшія и наискорѣйшія мѣры, причемъ такому-то предписано неукоснительнѣйше взыскать, ну, и прочее...

— Неукоснительнѣйше?

— Неукоснительнѣйше...

— Хорошія слова есть, ежели кто настоящимъ стилемъ владѣетъ!

Переходя отъ одной группы къ другой, я не забывалъ и окрестныхъ видовъ. Какихъ только здѣсь не было озеръ! Одно—словно сверкающая на солнцѣ коса; другое — сплошь покрытое островами; третье — гладкое и чистое, какъ зеркало. Одни за другими смѣнялись волшебныя картины. То обрывъ — вы останавливаетесь и смотрите: подъ вами синѣютъ верхушки деревьевъ, далеко уходитъ сочная понизь съ лѣсами, озерами и скалами; то—съ двухъ сторонъ сжимаютъ дорогу крутые откосы зеленыхъ горъ. Вотъ море глубокою бухтою врѣзалось въ землю; только узкій проливъ соединяетъ ее съ безконечнымъ воднымъ просторомъ. Бухту обступили высокія сосны и недвижно протягиваютъ надъ нею высокіе своды.

Какъ тамъ покойно, тихо и прохладно. Тутъ ловятъ монахи рыбу, здѣсь ими выстроенъ домикъ для рыболововъ, и поставлены во́роты для вытаскиванія неводовъ. Скоро мы подъѣхали къ берегу, гдѣ кончался островъ Соловецкій.

Версты за четыре синѣли Анзерскія горы. На самой окраинѣ берега изба, или, по здѣшнему, келья перевозчиковъ. Мы всѣ сѣли въ два большіе карбаса. Весла блеснули, и лодки прорѣзали покойную влагу. На этотъ разъ проливъ былъ спокоенъ, но здѣсь нерѣдко случаются бури, опасныя для маленькихъ судовъ, потому что у Анзерскаго берега находится большой сувой (толчея, водоворотъ). Даже и теперь, когда море было тихо,—предѣлы сувоя очерчивались замѣтно, составляя совершенно правильный кругъ, въ которомъ теченіе воды напоминало собою громадную спираль. Несмотря на самую безмятежную погоду, какъ только нашъ карбасъ вступилъ въ предѣлы толчеи, его стало весьма замѣтно покачивать, и гребцы измучились, прежде чѣмъ достигли берега. Рядомъ со мною сидѣли двѣ сестры-странницы. Одной изъ нихъ было двадцать, другой—девятнадцать лѣтъ. Я разговорился съ ними — и оказалось, что онѣ бродяжничаютъ уже десять лѣтъ обѣ. Ихъ мать зажиточная перемышльская мѣщанка—въ первый разъ потащила ихъ на богомолье въ Кіевъ.

— Съ тыя поры мы и одного лѣта не можемъ выжить дома, такъ и тянетъ, такъ и тянетъ. Особенно, какъ лѣски зазеленѣютъ, да на поляхъ цвѣтики почнутъ алѣть. Ужъ какъ насъ тятенька билъ, матушка тоже учила, не жалѣючи—нѣтъ нашихъ силъ. Урвемся и уйдемъ. Такъ и бродимъ до зимы!

Тутъ же съ ними оказалась и молоденькая хохлушка изъ Пирятинскаго уѣзда. По разспросамъ обнаружилось, что она пошла странствовать во избѣжаніе замужества.

— Отчего ты замужъ не хочешь?

— Не хай Богъ боронитъ!

Главное въ семейной жизни пугала ее необходимость ежедневно варить «чоловику» галушки.

— Давно ты странствуешь?

— Та вже годивъ съ три буде!

— Что же ты потомъ будешь дѣлать?

— Що Господь дастъ!

— Ну, а отецъ у тебя есть?—Дѣвушкѣ не было и 19 лѣтъ.

— Ни... На базаръ поихавъ, та и по сій часъ не вертался...

Тутъ же присутствовала и странница изъ Москвы, ухитрившаяся дойти до Архангельска, питаясь подаяніемъ и не истративъ ни гроша изъ собственныхъ денегъ.

— Ну, а въ Москвѣ, чай, много помогли на дорогу?— спросилъ я.

— Ка-акъ не помочь, — запѣла та: — въ Москвѣ завсегда можно благодѣтеля найти. Купцы. На то имъ и капиталы Творецъ Небесный даетъ. А капиталы у нихъ немалые. Ну, и они тоже силу свою чувствуютъ. Къ нему, поди, тоже знать надо, какъ подойти: безо всякаго резону — хвосты оборвутъ. А знаешь, такъ и не оставятъ. Что-что — а на кофій завсегда достанешь. Да... Поditко у него—другой заслужи. Ты думаешь легко?.. А все смиреніе мое, покорство. Обидитъ ли кто, собакъ ли напуститъ—травятъ нашу сестру тоже—камнемъ ли мальченко швырнетъ, я, старушка, и слова не скажу...

— Примѣрно, годовъ пять тому купцы въ Сундушномъ ряду меня кирасиномъ облили, да и подожгли,— что жъ ты думала, облаяла я ихъ? — Залилась я — старушка—слезами горькими, и какъ потушили меня, пошла себѣ. Потому всевидящее око... Зритъ оно простоту мою и взыскуетъ за самыя эти муки. Вотъ, примѣрно, къ купцу одному я пришла. Мужчина изъ себя красивый,—десять пудъ одной ручкой подымаютъ. Страшенный такой, видъ значительный. А жретъ по скольку — Господи спаси его душу. Какъ этто допустили меня въ палаты къ нему, и обмерла я, мать моя. Перъ онъ, перъ этого гуся, а опосля за поросенка принялся. И меня, постницу старушку, соблазнилъ. У меня, говоритъ, апекитъ такой. Одначе, десять рублевъ на дорожку изволили пожертвовать...

— А кофь пить грѣхъ! — вставила пожелтѣвшая и высохшая странница.

— Врешь, кто много этого кофія пьетъ, тотъ и въ могилѣ не тлѣетъ. Кофь изъ ерусалимской земли идетъ, на верблюдѣ—медвѣдь такой большенный есть. Изъ благословенной земли!

— А ты сама видѣла?

— Сама, своими глазами!—не смигнувъ, подтвердила московская салопница.

— Ну, если сама...

— Медвѣдь этотъ большущій и на тридцать-семь верстовъ отъ Сіонъ горы живетъ. Одначе, человѣка онъ не трогаетъ, потому ему по положенію большой припасъ отъ турецкаго салтана идетъ. За это онъ кофь и возитъ. А кофь, мать моя, съ неба какъ манна падаетъ, и дѣвицы невинныя собираютъ его и младенцы... И поэтому прозывается оно мокка... А это премудрость и понять ее простымъ разумомъ невозможно. Главное, не измышляй и сократи себя!

Такимъ образомъ пролетѣло время до того момента, когда на ясномъ небѣ, надъ большою лѣсистою горою обрисовался полувоздушный Голгоѳскій скитъ. Трудно опредѣлить, что изящнѣе—этотъ ли уголокъ, или Сѣкирная гора. Сравненія въ области красоты, будь это красота женщины или природы, все равно, — невозможны. Все зависитъ оттого, какъ въ данный моментъ падаютъ лучи, какъ легла тѣнь; важно и предварительное настроеніе зрителя. Сказать откровенно, встрѣчая постоянно прелестные пейзажи на этомъ, сравнительно небольшомъ, клочкѣ земли, я до того приглядѣлся къ нимъ, что они далеко уже не производили прежняго впечатлѣнія...

Тѣмъ не менѣе, первое впечатлѣніе Голгоѳы прекрасно. Это миражъ, мягко рисующійся въ синевѣ неба... Когда смотришь въ эту высь, такъ и кажется, что тамъ человѣкъ долженъ оставить всѣ земные помыслы и отдаться или мистическому созерцанію божества, или изученію сокровеннѣйшихъ тайнъ природы. Какъ жалко, мелко и

пичтожно должно все казаться оттуда: и люди—такими маленькими, и сооруженія ихъ—такими незначительными. А этотъ упоительный горный воздухъ! Я самъ испыталъ здѣсь его вліяніе. Онъ опьяняетъ человѣка. Грудь расширяется отъ восторга, кровь движется быстрѣе, усталости нѣтъ и въ поминѣ... Все выше и выше.

Когда мы ступили на Анзерскій берегъ — общій силуэтъ Голгоѳы заслонился другими, менѣе высокими горами. Тутъ уже озеръ меньше, но за то, какъ прелестны здѣсь лѣсныя дороги! Кажется, шелъ бы по нимъ безъ конца. А между тѣмъ—ни яркихъ цвѣтовъ, ни пѣвчихъ птицъ. До чего долженъ быть очарователенъ пейзажъ, если онъ заставляетъ забывать о скудости красокъ и звуковъ.

Тутъ многіе купались въ морѣ. Вода до того пропитана солью, что послѣдняя осаждается на бородѣ и на волосахъ. Она холодна, какъ ледъ, но когда выйдешь на берегъ, тѣло горитъ, и самъ чувствуешь себя какъ будто возродившимся. А сцены при купаньѣ!..

— Мотри, Петра, колько тутъ угодниковъ, можетъ, купалось, а ты, животная твоя душа, безъ молитвы въ воду лѣзешь. Нешто это въ правилѣ—песья твоя голова?

Петра начинаетъ молиться.

— А ты, идолъ, не лайся, — серьезно заканчиваетъ онъ молитву:—не знаешь, кое здѣсь мѣсто?

— Нашъ предсѣдатель нынѣ Анну получилъ!—разсуждаетъ чиновникъ, присѣдая въ водѣ.

— Что говорить: человѣкъ просвѣщеннаго ума!

— Во всѣ планеты посвященъ!

— Химикъ настоящій!

Наконецъ, вся арава двинулась впередъ. Скоро мы нагнали бабъ, тараторившихъ впереди, какъ сороки. Рядомъ съ нами, у самыхъ ногъ, бѣжала куропатка.

— Господи! — восхищался крестьянинъ.—Это ли еще не чудеса? Дикая птица, а къ человѣку, какъ собака, льнетъ. Ну, и монашики. Возвеличилъ ихъ Богъ, вицимо. Это вѣрно...—Нѣтъ, а вотъ у насъ лѣсничій былъ, такъ

тотъ голубей жралъ.—«Нѣмцы одобряютъ».—Народъ подлый! — «Точно, что подлый».—Они отъ Каина пошли...

Дорога, наконецъ, пошла въ гору. Она поднимается вокругъ нея спиралью. Мы бодро подвигались впередъ, и порою, какъ выходили на открытое мѣсто, словно заоблачный храмъ, свѣтился надъ нами скитъ Голгоѳы. Нѣсколько разъ принимались отдыхать. Одинъ юродивый странникъ ползъ вверхъ на колѣняхъ. Крестьяне чуть не крестились на него. Странница, та не отступала отъ него ни на шагъ. Остановится онъ—и та станетъ. Начнетъ онъ класть земные поклоны, и та сейчасъ же. Такъ до вершины горы.

Видъ съ колокольни Голгоѳскаго скита еще шире, величественнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ съ Сѣкирной горы. Передъ вами безконечный просторъ синяго моря, въ которое врѣзались безчисленные мысы соловецкихъ береговъ. Острова Анзеры, Соловки и Муксальма лежатъ далеко внизу подъ вами. Вы охватываете каждую подробность этой картины, ни на минуту не теряя общаго ея впечатлѣнія. Это — замѣчательно цѣлый въ художественномъ отношеніи пейзажъ. Горы, лѣса и озера — каждое имѣетъ свой собственный оттѣнокъ. Безконечное разнообразіе этихъ оттѣнковъ привело бы въ отчаяніе живописца. А ихъ переливы, ихъ переходы однихъ въ другіе! Это цѣлая поэма природы, и, глядя на нее, вы точно внимаете безпредѣльному міру чудныхъ гармоническихъ звуковъ. Подъ вами, внизу, словно частыя стрѣлки, поднимаются верхушки темныхъ, бархатистыхъ елей; рядомъ съ ними березовыя рощи подъ горячими лучами солнца кажутся пятнами расплавленнаго золота. Но что сравнится со смѣшаннымъ лѣсомъ сосенъ, елей и березъ! Это — невыразимая красота при такомъ освѣщеніи. А вдали Соловецкая обитель съ ея часовнями, точно легкій призракъ. Весь розовый, съ искрами своихъ крестовъ— онъ ласкаетъ взглядъ туриста. Отдаленіе ослабляетъ всѣ рѣзкіе контуры, остаются только нѣжныя, мягко рисующіяся линіи. Взгляните прямо подъ колокольню. У под-

ножія горы Голгоѳы—озеро, это клочокъ голубого неба. На немъ—точно щепка, всмотритесь—словно какая-то муха копошится на этой щепкѣ. Это—плотъ, а на плоту монахъ, удящій рыбу. Каждая мелочь отсюда является совершенствомъ, каждый штрихъ полонъ изящества и прелести. На самомъ краю горизонта лежитъ противоположная оконечность пейзажа—Сѣкирная гора. Скитъ на ея вершинѣ кажется бѣлою искрой. Между нею и послѣднею чертою горы — полоса голубого неба, какъ будто этотъ монастырь, опускаясь съ высоты, повисъ далеко надъ вершиною...

Оглянитесь въ другую сторону — безбрежная лазурь моря. Вотъ на самомъ краю его что-то полощется, что-то мелькаетъ. Чайка или парусъ? Всмотритесь. Ближе и ближе это ослѣпительно-бѣлое крыло, и скоро передъ вами тонко обрисуется большая поморская шкуна, разсѣкающая синеву моря. Вотъ еще нѣсколько такихъ чаекъ. Всѣ онѣ тянутся къ Архангельску съ Мурманскаго берега.

— Бѣлухи, бѣлухи въ морѣ...—говоритъ около монахъ, указывая налѣво.

Я всматриваюсь и ничего не вижу.

— Да вонъ онѣ...—Еще усиліе, и тотъ же результатъ.

Нужно пріучить свой глазъ къ такимъ разстояніямъ; нужно постоянно жить среди такого безконечнаго горизонта, чтобы въ подобномъ отдаленіи отличить круглыя очертанія бѣлыхъ головъ, ныряющихъ въ синихъ волнахъ.

Какъ прекрасенъ долженъ быть этотъ видъ въ ясную лунную ночь! Да, — впервые подвижники Соловецкаго монастыря, должно быть, не были похожи на нынѣшнихъ монаховъ, ушедшихъ въ одну физическую работу. Пункты, выбранные для устройства скитовъ и часовенъ, обнаруживаютъ въ ихъ строителяхъ высокое чутье художественной красоты. Какъ не завидовать этой аскетической обители, отвоевавшей на сѣверѣ лучшую жемчужину этого края—Соловецкіе острова...

Когда мы сошли внизъ, молебны были уже кончены. На скорую руку мы прошлись по кельямъ скита. Та же простота обстановки, та же бѣдность. Около лѣстницы, ведущей вверхъ, развѣшаны на стѣнѣ морскія карты. Они не напечатаны, но сдѣланы монахомъ. Это работа одного моряка, успокоившагося послѣ треволненій кругосвѣтныхъ плаваній въ тихой и мирной пристани монастыря.

— Назадъ пора, чтобы поспѣть ко времени!—разсуждаютъ богомольцы.

— Пора, пора, братцы. Трапеза, поди, скоро будетъ!

И толпа, помолившись въ послѣдній разъ, какъ волна, отвалила отъ скита и вся разсыпалась по горѣ.

XXXV.

Послѣдніе часы въ монастырѣ.

Пароходъ «Вѣра» уже разводилъ пары.

Жаль было оставлять эту чудную природу. Хотѣлось еще побродить въ лѣсахъ и горахъ Соловецкаго архипелага, посидѣть на берегахъ его озеръ, на скалахъ у вѣчно шумящаго лазореваго моря.

Тутъ даже отсутствіе жизни, вѣроятно, благодаря новости и свѣжести впечатлѣній, чувствуется не особенно тяжело.

Передъ отъѣздомъ еще разъ хотѣлось окинуть послѣднимъ взглядомъ эти чудные острова.

Я взобрался въ куполъ собора, гдѣ въ четырехъ башенкахъ продѣланы маленькія окошки.

Въ послѣдній разъ изъ лазури неба и изъ лазури моря выступали передо мною эти—то черные, то золотые мысы... Въ послѣдній разъ изъ массы елей и сосенъ сверкали живописные взвивы серебряныхъ озеръ. Въ послѣдній разъ звучалъ въ ушахъ моихъ неугомонный крикъ чаекъ.

Въ монастырѣ загудѣли колокола.

Торжественные звуки разливались, какъ волны, на той вышинѣ, гдѣ стоялъ я. Тонкая, досчатая перекладина подо мною дрожала. Колоколенка казалась висящею въ воздухѣ. Жутко становилось здѣсь. Чувство инстинктивнаго страха проникало въ душу. А все-таки не было силъ оторваться отъ этихъ прекрасныхъ окрестностей. Вотъ солнце зашло за тучку. Изъ-за ея окраины льется золотая полоса свѣта. Косо охватываетъ она березовую рощу, и каждое дерево ея, каждый листикъ золотится, словно насквозь пронизанный лучами. Вотъ цѣлые снопы свѣта разбросило направо и налѣво. Одни ушли въ густую тьму сосноваго лѣса, и на золотомъ фонѣ ярко обрисовалась каждою своею вѣтвью громадная передовая сосна. Другіе сплошь охватили сѣрую скалу, и въ массѣ темной зелени она кажется чеканенною глыбою золота. А эти часовни! При такомъ богатомъ освѣщеніи онѣ теряютъ свой казенно-буржуазный видъ. Вотъ что-то ослѣпительное лучится между деревьями, хотя его не видать, по крайней мѣрѣ, трудно разсмотрѣть очертанія свѣтящагося предмета. Это—маленькое, все на минуту озаренное озеро. Вонъ, по золотой полосѣ дороги лѣпится сѣрая лошаденка съ чернымъ монахомъ; а тамъ, вдалекѣ, на недвижномъ просторѣ моря?.. Тамъ паруса за парусами и туманныя, едва намѣченныя очертанія поморскихъ береговъ.

Куда ни взглянешь, повсюду лазурь, золото и зелень.

Пора внизъ. Богомольцы уже потянулись къ пароходу. Вонъ цѣлыя группы сѣраго крестьянскаго люда въ послѣдній разъ кладутъ поклоны передъ стѣнами гостепріимнопріютившей ихъ обители. Вотъ у пристани собрались монахи и что-то работаютъ...

Когда я сошелъ внизъ — трапеза была уже кончена. Остальные странники и странницы толпились на палубѣ парохода. Всѣ съ громадными кусками хлѣба, данными имъ на дорогу; говорятъ, что выдавали и рыбу. Не знаю— не видалъ. За то многіе попались мнѣ въ новомъ платьѣ и сапогахъ безвозмездно выданныхъ имъ изъ рухлядной

лавки монастыря. У всѣхъ были ложки соловецкаго издѣлія, финифтяные крестики и образки...

Шумный говоръ стоялъ на палубѣ... О. Иванъ, командиръ «Вѣры»,—уже на своемъ мѣстѣ... Команда ждетъ...

Первый свистокъ. Пора и мнѣ занять мѣсто.

Я уже направлялся къ трапу, когда случайно замѣтилъ невдалекѣ молодого послушника-поэта. Онъ тоскливо глядѣлъ на сцену отъѣзда. Я еще разъ подошелъ къ нему пожать руку на прощанье. Онъ замѣтно смутился.

— Послушайте,—горячо обратился я къ нему:—человѣкъ съ вашимъ талантомъ не долженъ отрѣшаться отъ жизни. Вы, какъ рабъ лѣнивый, зарываете таланты свои въ землю. Поѣдемъ со мною... Бросьте эту рясу, вы принадлежите міру—и онъ васъ зоветъ къ себѣ. Вы—послушникъ и не дали никакихъ обѣтовъ. Еще не поздно. Черезъ часъ пароходъ отчалитъ и воротитъ васъ—къ жизни, счастію, можетъ быть, славѣ...

Прекрасное лицо юноши потемнѣло.

— Я не рабъ лѣнивый. Я не зарываю таланта въ землю, а приношу его въ жертву Богу. Тамъ—указалъ онъ за море, — тамъ, весь тотъ міръ, куда вы меня зовете, представляется мнѣ одною могилою. Тамъ нѣтъ истинной радости, истиннаго счастія. Истинная радость, истинное счастіе — молиться за нее и ждать смерти, чтобы соединиться съ нею. Судьба моя рѣшена; не говорите больше... Второй свистокъ...

— Послушайте... Еще одно искреннее предложеніе: пошлите нѣсколько вашихъ стиховъ въ Петербургъ. Если ихъ встрѣтитъ успѣхъ, вы сами тогда рѣшайте, что дѣлать...

Онъ посмотрѣлъ на меня уныло.

— Послѣ того разговора съ вами, я всю ночь обдумывалъ ваши слова. Вы сказали, что у меня есть талантъ, и на минуту во мнѣ воскресло старое. Куда-то хотѣлось въ даль, вырваться отсюда... Сердце билось такъ больно. Я испугался самого себя и сталъ молиться, молиться. Я молился всю ночь, и подъ утро Господь внушилъ мнѣ,

что дѣлать... Чтобы суетность не смущала меня болѣе—я сжегъ все, что написалъ когда-нибудь... Я сжегъ даже...— съ усиліемъ глухо проговорилъ онъ, —даже ея письма. Теперь я весь принадлежу Богу... Не смущайте меня!

Слезы блеснули въ его глазахъ, печальная улыбка на мигъ озарила его блѣдное лицо... Онъ, не прощаясь, повернулся и, понурившись, пошелъ прочь... Мнѣ было тяжело, невыразимо тяжело. Я сѣтовалъ на аскетизмъ, не чувствуя въ эту минуту, что въ жизни у человѣка бываютъ моменты, когда такой аскетизмъ является живою потребностію его души...

Едва я успѣлъ взбѣжать на трапъ, какъ данъ былъ третій свистокъ, и пароходъ медленно отчалилъ отъ пристани.

XXXVI.

Въ каютѣ, на палубѣ и дома.

Наше обратное плаваніе было очаровательной прогулкой. Весь сіяющій, голубой просторъ моря казался безграничнымъ зеркаломъ, въ центрѣ котораго тяжело пыхтѣлъ и дымилъ нашъ пароходъ. Солнце обливало горячимъ свѣтомъ палубу съ яркими группами расположившагося на ней народа. Золотыя искры сверкали въ водѣ. Лазурь голубого неба не омрачалась ни однимъ облачкомъ.

— Ишь, какую Господь погодку посылаетъ опослѣ поклоненія угодничкамъ, — замѣчаетъ одинъ крестьянинъ, вытягиваясь у кормы на своихъ сумкахъ.—Въ тотъ разъ вѣтеръ, сиверъ былъ!

— Тутъ не вѣтеръ, а грѣхи наши... теперь, какъ отъ угодничковъ—такъ милость!

— Много-ль ты въ обители чудесъ видалъ?..

— Все видалъ... А чудесъ этихъ тамъ не перечесть.

— Все Богъ, братцы... Ишь, какъ онъ монашиковъ устроилъ. Посередь моря на камнѣ живутъ!

Я разговорился съ высокимъ виднымъ монахомъ, отправлявшимся въ Архангельскъ для какихъ-то закупокъ

— Давно-ли вы въ монастырѣ?

— Шестой годъ. Прежде я портовымъ слесаремъ былъ... Монастырь меня пригласилъ работать на 180 руб. содержанія въ годъ. Ихъ пища, разумѣется!

— Съ чего же это вы постриглись?

— А монахи убѣдили. Нуженъ я имъ былъ. Жену я уговорилъ тоже въ монастырь, въ Холмогоры, дочерей туда же, а самъ въ Соловки!

— Сколько же вы теперь получаете за работу?

— Двѣнадцать рублей въ годъ!

— За что же вамъ такъ уменьшили жалованье?

— Потому я монахъ теперь, обязанъ на обитель трудиться!

— И нравится вамъ въ монастырѣ?

— Не худо... нравится... Обѣты тоже далъ!

Наступала ночь. Солнце садилось въ одиннадцать часовъ. Я стоялъ на капитанскомъ бакѣ и наблюдалъ оттуда, какъ постепенно морской просторъ измѣнялъ свои цвѣта и оттѣнки. Изъ голубого онъ перешелъ въ ярко-золотистый, потомъ въ багровый, розовый, желтоватый, и, наконецъ, когда солнце сѣло, море приняло свинцово-синій колоритъ. Мимо парохода проплывали бѣлухи. Говорятъ, что здѣсь иногда приходится встрѣчать и моржей. Мы нагнали нѣсколько поморскихъ шкунъ и одного неуклюжаго ливерпульскаго угольщика... Становилось свѣжо. Я пошелъ въ каюту.

Скоро между мною и спутниками моими, по пароходной каютѣ «Вѣры» завязалась оживленная бесѣда о пережитыхъ впечатлѣніяхъ на Соловецкомъ архипелагѣ. Болѣзненная и блѣдная жена моего знакомаго за недѣлю сильно оправилась, пользуясь благорастворенным воздухомъ острововъ. На лицѣ ея игралъ румянецъ, она чувствовала въ себѣ больше силы и здоровья.

— Славное мѣсто. Вотъ бы гдѣ больницу устроить съ морскими купаньями...—замѣтилъ кто-то.

— Не всегда удобно. Когда сѣверный вѣтеръ дуетъ—тамъ холодно!

Наконецъ, разговоръ зашелъ о монахахъ. Мой собесѣдникъ резюмировалъ свои впечатлѣнія.

— Соловецкій монахъ,—говорилъ онъ,—типъ крестьяни на-хозяина. Онъ зорко блюдетъ свои интересы, работаетъ самъ, не отказываясь отъ косы, лопаты и снасти, слѣпо вѣритъ и слѣпо повинуется. У него развитъ стадный инстинктъ. Онъ готовъ на все ради своей общины, ради обители. Это человѣкъ труда. Онъ не рутинеръ, потому что бойко перейметъ все, что найдетъ хорошаго у другихъ, и устроитъ это у себя, пожалуй, еще лучше. Онъ не отступитъ передъ препятствіями. Нуженъ ему мостъ черезъ море—онъ завалитъ море каменьями, нужны ему пароходы—выстроитъ ихъ, доки—подумаетъ и сдѣлаетъ ихъ на славу. Онъ изобрѣтателенъ и предпріимчивъ. Но въ тоже время онъ крайне простъ во всѣхъ своихъ потребностяхъ. Ряса грубаго сукна, рубаха—изъ деревенскаго холста, да бахилы вмѣсто сапогъ; обильная, но грубая трапеза, да—какъ верхъ роскоши—чай утромъ и вечеромъ, больше ему ничего не надо. Пріобрѣтательные инстинкты въ немъ развиты сильнѣе всего, но онъ пріобрѣтаетъ не для себя, а для общины. Онъ суевѣренъ, какъ пахарь, но за то и работаетъ, какъ послѣдній. За свое состояніе онъ держится цѣпко, даже рискуя навлечь на себя непріятности. Онъ никому не даетъ взятки, не пойдетъ ни на какое рискованное дѣло, онъ вездѣ вѣрно разсчитываетъ и никогда не ошибается. Съ перваго взгляда онъ покажется не уменъ; вы съ видомъ превосходства начнете ему объяснять что-нибудь, но будьте увѣрены, что онъ уже обдумываетъ въ это время, какъ бы половчѣе обойти васъ, заставить поработать надъ исполненіемъ той же работы васъ самихъ для обители. Нужнаго человѣка онъ не выпуститъ изъ рукъ. Рано или поздно онъ надѣнетъ на него клобукъ и рясу и пріурочитъ къ монастырю, хотя бы только для того, чтобы поменьше платить ему денегъ. Общинный инстинктъ развитъ въ немъ такъ сильно, что онъ не станетъ поддаваться на невыгодныя для монастыря, но выгодныя для него лично пред-

ложенія. Тутъ, кромѣ боязни угодниковъ, — разсчетъ на то, что только благодаря могучей Соловецкой общинѣ изъ бѣднаго, загнаннаго крестьянина-батрака онъ сдѣлался сытымъ, обезпеченнымъ, хорошо поставленнымъ и уважаемымъ тысячами богомольцевъ монахомъ. Къ нему богомолецъ не обратится просто: отецъ святой; какъ ваше имя святое; гдѣ ваша келья святая; благослови, святой отче!.. И все этомъ родѣ. Монахи сами для себя — лучшая полиція. Въ монастырѣ никто изъ нихъ ничего не осмѣлится сдѣлать—его сейчасъ же выведутъ на чистую воду, потому что каждый позорящій поступокъ роняетъ достоинство обители, подрываетъ вѣру въ нее и прежде всего отзывается на суммахъ *прихода*. Онъ помнитъ все былое и ласковъ съ богомольцами, ласковъ съ рабочимъ-крестьяниномъ. Короче сказать, если бы не аскетизмъ,—Соловки были бы идеаломъ рабочей общины!

— Ты нарисовалъ слишкомъ привлекательную картину, другъ мой, —мягко прервала моего собесѣдника его жена, — ты забываешь, что этотъ монахъ почти не живетъ духовною жизнью. Для него нѣтъ науки, искусства. Онъ доступенъ только меркантильному интересу. Въ его благочестіи слишкомъ много суевѣрія, его молитва—не живое, неудержимое изліяніе души, а разъ навсегда установившаяся форма, исполненіе которой онъ считаетъ для себя обязательнымъ. Его Богъ—не Богъ милосердія и любви, а Богъ гнѣва и кары. Онъ замкнулся въ самого себя и не поддается никакому глубокому и нѣжному чувству. Онъ не понимаетъ даже красоты той природы, посреди которой живетъ. Для него важенъ не духъ, а мертвая буква. Онъ хорошій хозяинъ, но это—хозяинъ-міроѣдъ. Онъ хорошо обращается съ рабочимъ, потому что это—рабочій добровольный, не требующій у него денегъ. Онъ корыстолюбивъ до жадности. А главное, въ его душѣ нѣтъ ни пониманія истины, ни потребности любви, ни поклоненія красотѣ, въ чемъ бы послѣдняя ни выражалась—широкой-ли панорамѣ горъ, озеръ и лѣсовъ, въ великодушномъ-ли поступкѣ собрата, въ лазури-ли голубого неба

— Вы забываете, что отсутствіемъ всего нѣжнаго, мягкаго, всего, что отличаетъ троглодита отъ человѣка современной намъ эпохи, онъ обязанъ—своему аскетизму. Только близость женщины и дѣтей даетъ все это. Въ крестьянской семьѣ женщина не имѣетъ этого значенія, потому что она сама изголодалась, огрубѣла, обезсилѣла. Короче, Соловецкій монастырь показываетъ, чѣмъ была бы крестьянская община, если бы она не подавлялась въ теченіе цѣлыхъ столѣтій разными пагубными вліяніями. Здѣсь развита исключительно экономическая сторона такой образцовой общины. Выдѣлите аскетизмъ, дайте сюда женщину—и вы увидите, къ чему пришла бы эта горсть людей!

— Значитъ, вы признаете, что такая община могла бы существовать въ иной формѣ, т.-е. не въ формѣ монастыря? Что безъ св. Зосимы и Савватія, дѣйствительно, создалось бы здѣсь такое единство и общность интересовъ, такая стройность взаимныхъ отношеній, такая любовь къ труду?

Ни одинъ изъ насъ не отвѣтилъ на это. До сихъ поръ всѣ рабочія общины оказывались прочными только тогда, когда въ основу ихъ положено религіозное начало. Таковы Моравскіе братья, Перфекціонисты, Шэкеры, Мормоны и т. д.

Можетъ-ли существовать *чистая* община, *рабочая* община? Это вопросъ будущаго, тѣсно связанный съ вопросомъ о воспитаніи.

Незадолго до приближенія къ Архангельску мы вышли на палубу.

На юго-востокѣ сверкали золотыя искры—это куполы городскихъ церквей и соборовъ.

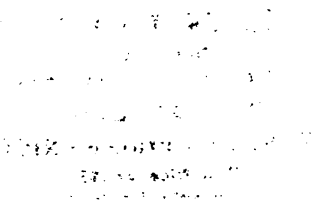
Потомъ обрисовались какія-то смутныя, бѣловатыя линіи; онѣ развертывались, свѣтились все ярче и ярче, и, наконецъ, уже отсюда можно было отличить контуры каменныхъ зданій набережной. Скоро пароходъ причалилъ къ пристани Соловецкаго подворья, и мы разомъ окунулись въ шумъ, суету и движеніе городского центра.

Дѣтскій смѣхъ, улыбка женщинъ, говоръ и блескъ жизни—заставили позабыть разомъ всѣ прелести дѣйствительно прекраснаго, но окованнаго аскетизмомъ уголка. Только теперь, черезъ годъ, передо мною выступили болѣе рельефно выдающіяся черты этой оригинальной жизни, этого крестьянскаго царства.

На нашемъ сѣверѣ—Соловки самое производительное, промышленное и, сравнительно съ пространствомъ острововъ, самое населенное мѣсто. Безъ всякихъ пособій отъ правительства, безъ субсидій, оно создало такую экономическую мощь, которая становится еще значительнѣе, если подумать о томъ, что ею обитель обязана усиліямъ нѣсколькихъ сотенъ простыхъ и неграмотныхъ крестьянъ

— Это—наше царство!—говорятъ крестьяне-поклонники, направляющіеся туда.

Конецъ.



Вас. Ив. Немировичъ-Данченко

Женская обитель.
Святыя горы

Воспоминанія и разсказы изъ поѣздки съ богомольцами.

"UNION"
S.A.R.L.
LIBRAIRIE - PAPETERIE
BIBLIOTHÈQUE
62, Rue de France - NICE
R. C. Nice 57.083

С.-Петербургъ
Изданіе П. П. Сойкина
Книжный Складъ Стремянная, 12
Книжный Магазинъ Невскій, 96

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 22 іюня 1904 г.

Типографія П. П. Сойкина. С.-Петербургъ, Стремянная, 12.

I.

Тихая пристань.

— Въ монастырь къ намъ желаете?—обернулся ко мнѣ кучеръ, похлестывая пару сытенькихъ коней, неохотно взбиравшихся въ гору.

— Да, обитель посмотрѣть!

— Обитель у насъ, господинъ, необыкновенная. Истинное умиленіе!—разомъ разчувствовался онъ.

Нужно прибавить, что, несмотря на свою чрезвычайную мордастость, кучеръ мой говорилъ самымъ тонкимъ фальцетомъ.

— Почему это?

— Эти самыя, которыя, значитъ, монахини, житія ужъ очень благочестиваго... Съ самой затворницы Меланіи ведется это. Господа пріѣзжали—хвалили: Одно слово—тишина!

— Не бывало грѣха, значитъ?

— Какой грѣхъ? Есть одинъ грѣхъ, есть и другой грѣхъ. Грѣхъ грѣху рознь. Случается, повздорятъ старушки. Съ бобылями, что на старой землѣ поселились, свару заведутъ. Это бываетъ, но чтобы женскаго грѣха, соблазну—нч-ни! Не пообѣдаешь!.. Отъ самой затворницы, отъ Меланіи строгость такая заведена. Настоящіе ангелы, только что въ человѣческомъ видѣ!—совсѣмъ размякъ кучеръ.

Этихъ-то ангеловъ повидать и съ ними познакомиться ѣхалъ я на такъ называемую Каменную гор-

гдѣ на краю Ельца стоитъ Знаменскій дѣвичій монастырь. Видъ монастыря издали замѣчательно красивъ. По горѣ по песку идетъ террасами громадная каменная лѣстница. Вверху, за стѣнами, видны купола храмовъ. Кругомъ лѣпится по откосамъ жалкая слободка, гдѣ поселились обижающіе монахинь бобыли. По наружному виду ожидаешь отъ обители чего-нибудь грандіознаго: красивыхъ келій въ нѣсколько этажей, окруженныхъ садомъ— благо сторона кругомъ фруктовая, богатая на всякій плодъ и цвѣтъ, роскошной расписной трапезной, отдѣльнаго дома для настоятельницы, думаешь увидѣть самихъ монахинь на «улицѣ» передъ келіями въ шелковыхъ платьяхъ, хотя и чернаго цвѣта—и изумляешься, встрѣтивъ совершенно противоположное. Ворота монастырской стѣны настежъ раскрыты. Лампадка теплится передъ вдѣланнымъ въ стѣну образомъ; намъ на встрѣчу, стоя на полозьяхъ, ѣдетъ крестьянская баба въ полушубкѣ и въ монашескомъ головномъ уборѣ. Бочка за нею совсѣмъ оледенѣла, въ сосулькахъ вся. Мой кучеръ живо сорвалъ шапку.

— Матери Анемподистѣ!

Баба кивнула ему головой.

— Монахиня!—шопотомъ пояснилъ онъ.—Какъ трудится, какъ трудится! То есть—до бѣла! Иной мужикъ столько не сробитъ!

— Воду возитъ?

— На черной работѣ... Барыней была прежде. Своихъ рабовъ имѣла, какъ величалась—фу-ты, ну-ты! Но только сама пожелала на черную работу чтобы! Господу-Богу старается. Плюмому другому...

Громадный и пустынный дворъ. Ни одной живой души на немъ. Точно вымерло все, ни большихъ зданій, ни великолѣпныхъ церквей. Все скромно и убого. Зимнее солнце ярко искрится на бѣломъ снѣгу. Вдали къ самымъ стѣнамъ прислонились сотни маленькихъ домиковъ. Какой-то микроскопическій городокъ тѣсно сдвинулся. Стѣна къ стѣнѣ—безъ промежутковъ. Въ ко-

шечныхъ хижинкахъ, кажется, могутъ жить только гномы, а не люди. И живописенъ этотъ полуфантастическій городокъ удивительно. Каждый домъ строили не по общему плану, не на одинъ разъ для всѣхъ утвержденному рисунку, а какъ хотѣлось его хозяйкѣ. То узенькій, въ два этажа, по два, по три окна въ каждомъ, то низенькій и длинный, то съ высокими, острыми, то пологими крышами. И всякая клѣтушка чувствуетъ свою сосѣдку локтемъ. Постарѣвшіе осѣсть, покривиться не могутъ— рядомъ стоящій крѣпко держитъ ихъ подъ руки. Каждый домикъ въ свою краску росписанъ: голубые, зеленые, красные, сѣрые, бревенчатые, тесомъ обшитые—но всѣ съ крылечками въ наружу то подъ пестрымъ навѣсомъ, то совсѣмъ простенькій. Между ними нѣсколько побольше и пощеголеватѣе, желѣзомъ крытые съ рядами оконъ, закрывшихъ свои ставни, точно заснувшихъ, низко опустивъ вѣки. Передъ нѣкоторыми палисадники. Голыя вѣтви точно отъ холода вздрагиваютъ на морозѣ. Зеленые и желтые заборы—сквозили совсѣмъ полузасыпанные снѣгомъ... И—никого. Кажется, что на кладбище попалъ, только скрипятъ полозья моихъ саней да звонко въ облежавшійся снѣгъ бьютъ копытами усталыя лошади. Ни звука не слышно изъ-за этихъ дверей, оконъ и ставень.

— Не дай Богъ—пожара... Тѣснота какая!

— Тутъ пожару не бывать!—улыбается кучеръ.

— Почему—попадетъ огонь, и конченъ?

— И огню не попасть. Образованные господа, а этого не понимаютъ. За этимъ, можетъ, сколько ангеловъ приставлены. Ходютъ, смотрютъ. Какому-же тутъ пожару быть? Намъ мірскимъ, отъ пожару — кишка нужна, а онѣ здѣсь и безъ кишки чудесно обходятся. Ангелы-то почище нашихъ пожарныхъ Иродовъ будутъ. Ангелы-то по скулѣ не дадутъ. Будьте покойны!

— А развѣ влетало?

— По скулѣ? У нихъ, у фараоновъ, скула первымъ дѣломъ. Сейчасъ ты со всѣмъ усердіемъ, а они, за-

мѣсто того, по скулѣ—враз, и готово, въ свое удовольствіе!

— Гдѣ-же монахини сами?

— По кельямъ сидятъ, работаютъ. Не какъ иныхъ прочихъ. Шляющихъ тутъ нѣтъ. Вамъ куда теперь, къ матушкѣ игуменьѣ, что-ли?—И кучеръ—видимо, богомольный человѣкъ—держа шапку въ рукахъ, поѣхалъ вдоль крошечныхъ домиковъ.

Снѣгъ опять заскрипѣлъ подъ полозьями саней.

Каменная гора, на которой стоитъ монастырь этотъ, чрезвычайно живописна. На югѣ, весной, какъ вскроется ледъ, зажужжитъ рѣка Ельчикъ, съ другихъ сторонъ, точно провалъ, темнѣетъ глубоко оврагъ Сухой-лучекъ. Во времена оны здѣсь, на склонахъ, росъ тѣнистый лѣсъ, въ прохладномъ царствѣ котораго—селились «вольные монахи», поближе къ студеному ключу, бьющему изъ сырыхъ скалъ. «Вольные монахи» были люди, возлюбившіе мати зеленую пустыню и изъ городскаго шума ушедшіе сюда спасаться, не принимая формально иноческаго званія. Такъ шло до 1675 года, когда здѣсь поставили монастырь Курской иконы Божіей Матери. Монахи жили здѣсь въ тѣсныхъ кельяхъ, какъ черви въ орѣхѣ, по картинному выраженію одного елецкаго старожила.

— Зато въ тѣ поры монахинямъ было жутко!

— А что?

— Скитались. Мѣста для нихъ не оказывалось. Гдѣ день, гдѣ ночь. Сами посудите, каково это дамамъ! Но и онѣ нашли себѣ защиту. Ужь очень благочестіемъ своимъ прославился за нихъ и вступился нынѣ въ святыхъ чудотворецъ Митрофанъ. Это какія, другъ ты мой, времена-то были. Три царя Русью правило. Во какъ, и орелъ у насъ трехглавый былъ!

— Вотъ тебѣ и на!—засмѣялся я.

— Самъ считай, царя Іоаннъ да Петръ Алексѣевичи, да царица Софія. Ну-ко—прикинь на пальцахъ. Анъ, три и выйдетъ!

— Орелъ-то какъ же?

— Орла не видалъ самъ такого. Не знаю. Старики сказывали. Св. Митрофанъ сейчасъ къ царямъ: такъ и такъ. Судъ, братъ, тогда правѣе былъ. Сейчасъ всѣхъ иноковъ въ Елецъ, въ мужской монастырь—онъ и до сихъ у насъ стоитъ, а монахинь съ игуменіей Іулитой на ихъ мѣсто. Молись! Ну, тогда эта самая Елисавета и прославилась!

— Какая Елисавета?

— Монахиня. Богатая прежде была. Жемчугу одного бочки у нея стояли, золота сколько. Но только она на все наплевала и въ лѣсъ ушла. Мірское богатство, говоритъ, чорту вѣнецъ, пропадай прахомъ. Поставила она себѣ въ лѣсу келію убогую, а лѣсъ былъ дремучій, темень несосвѣтимая. Тутъ къ ней они и повадились!

— Кто они?

— Бѣглые, которые. Извѣстное дѣло, гдѣ лѣсъ, тамъ и бѣглецы. Солдаты разные, крестьяне. Но только она, Елисавета, была добрая, бродягъ не гоняла и нисколечко ихъ не страшилась. Мнѣ, говоритъ, все равно—у Бога паспортовъ не показано. Кормила ихъ овощами, хлѣбомъ. Разъ на нее начальство набросилось за это за самое. Но и она тоже ихъ отчехвостила чудесно!

— Какъ-же именно?

— То-есть, въ лучшемъ видѣ. Вышла это съ Евангеліемъ, развернула да и показываетъ Матѳія 5,42. Что написано? спрашиваетъ. «Просящему у тебя—дай». Ну, и убирайтесь вы, говоритъ, съ празднымъ вопросомъ своимъ. Такъ ихъ смутила схимница наша, такъ смутила!

Странное начальство, дѣйствительно, было въ то время! Теперь оно Евангелія-бы не испугалось. Благоденствіе и изобиліе обители продолжалось до 12-го апрѣля 1769 года, когда громадный пожаръ уничтожилъ весь Елецъ, со всѣми его храмами и монастырями. Женскій тоже не уцѣлѣлъ.

— И настало тогда уничиженіе наше!—вздыхаютъ монахи о тѣхъ временахъ.—Безъ крова, аки звѣри, скитались мы. Безъ храма Божьяго, безъ устава благовидна

Преемникъ святителя Тихона Задонскаго (самъ-то святитель—на покоѣ жилъ)—Тихонъ Второй переселилъ ихъ въ воронежскій монастырь, но двѣ «боголюбивыя старицы»—60-ти лѣтняя Ксенія и 80-лѣтняя Агапія—отказались отъ этого и остались подъ открытымъ небомъ.

— Какъ-же это онѣ?

— Такъ ихъ Христосъ вооружилъ твердостью—не покидать возлюбленнаго уединенія своего. Ихъ и гнали неподобно, и страшили страхами разными, но онѣ на своемъ стояли! Сгонятъ на сегодня, а завтра онѣ опять назадъ, на погорѣлое мѣсто. Вырыли онѣ потомъ себѣ землянку малую и стали пребывать въ оной, въ родѣ какъ въ погребѣ.

— Долго ихъ преслѣдовали такъ?

— Пока святитель Тихонъ не послалъ къ нимъ схимника одного съ утѣшеніемъ... Ну, тогда точно оставили въ покоѣ. Не смѣли трогать. Купцы, боголюбивые купцы тогда были, шкурой-то да щетиной не обросли еще, хотѣли помочь схимникамъ, храмъ воздвигнутъ, но и сами еще отъ пожара оправиться не могли. Только хлѣбомъ и помогали. Тутъ съ ними чудо и случилось. Вышла разъ Ксенія изъ-подъ земли помолиться на то самое мѣсто, гдѣ прежде церковь стояла. А ночь темная, темная—ни зги не видно. На небѣ обложникъ—всѣ звѣзды попрятались... И давай старица плакать—плакала-плакала, и вдругъ словно молонья во мракѣ свѣтъ передъ ней. Пала ницъ она и только поднялась опять изъ свѣта, какъ передъ нею всадникъ, осіянный весь. Золотыя латы на немъ... Шеломъ—точно на образахъ пишутъ. Перепугалась и востренетала мать Ксенія. А онъ, всадникъ то этотъ, благословилъ ее и говоритъ: буди имя Господне благословенно на мѣстѣ семъ отнынѣ и до вѣка!.. Кто ты?—спрашиваетъ монахиня... «Я, говоритъ, Іоаннъ-воинъ—вотъ кто я!»... И точно вдругъ вовсе и не было его. Опять тьма кругомъ. Проз въ ней и пропала... Тутъ наша обитель и

стала вновь исправляться. Сначала Тихонъ Задонскій послалъ сюда дѣвицу Матрену Сонцеву. Пришла Сонцева и видитъ—дыра въ землѣ дубовыми вѣтвями покрыта. Крикнула—кто тутъ живой есть? Оттуда и отозвалась она, Ксенія. Одна осталась на семъ мѣстѣ—Агапія померла уже. Увидѣла Матрена скорбное житье Ксеніи и смутилась. А тутъ еще—мужички пришли и давай пугать. Они на монастырской землѣ поселились и хотѣли ..ельницу совсѣмъ выгнать отсюда. «Мы, говорятъ, тебя, какъ лису изъ норы, коломъ выжжемъ», а она имъ «живъ Богъ—живъ, душа моя!» Они ей—«мы твой погребъ этотъ водой зальемъ», а она имъ: «Да воскреснетъ Богъ, и расточатся врази Его».—Они ей—«зашибемъ мы тебя, старушка Божья, потому не на своемъ мѣстѣ ты сѣла», а она имъ «не единаго волоса безъ воли Его»!.. Такъ они столковаться и не могли... Что ты тутъ подѣлаешь? Испугалась Матрена и домой. А дома болѣть стала, «дотоль болѣла, пока не пришла сюда на каменную гору и не поселилась въ кельѣ».

— Какъ въ кельѣ?

Къ тому времени, господинъ милостивый мой, елецкіе пахлѣбники наши опять въ силу входить начали, ну, и поставили тутъ келіи. Одну Ксеніи, а другую Матренѣ съ ея подругой... И сейчасъ же, что пчела, налетѣла на это самое святое мѣсто наша сестра. Все-то обиженныя, всѣ-то убогія, всѣ-то измученныя! Въ иную обитель на даровые хлѣба идутъ, а сюда, другъ ты мой, на нищету, да на работишку непосильную. Потому окромѣ животовъ—ничего тогда у инокинь здѣшнихъ не было. Да и теперь, правду сказать, мало!.. Потомъ нашъ елецкій гражданинъ Иванъ Шапошниковъ пожертвовалъ 12,000 руб. на монастырь и исходатайствовалъ ему третій классъ у Александра Благословеннаго!

— Это что-же за третій классъ?

— Монастырь каждый въ своемъ классѣ утверждается. Ну, вотъ, нашъ въ шестомъ стоитъ... Извѣстно, начальство утвердило, значитъ, помогать можно!

— Народъ, вѣдь, и самъ здѣсь бѣденъ.

— А тогда и еще бѣднѣй были. Сапогъ не носили и чаю не пили, а обителямъ помогали. Потому сказано— «рука дающаго не оскудѣваетъ» и еще въ посланіи къ коринфянамъ— «доброхотна бо дателя любитъ Богъ». Какъ ты объ этомъ понимаешь? Намѣстничество орловское обижать стало обитель; но за оную, какъ за овцу сирую, тотъ же св. Тихонъ вступился и отогналъ волковъ. Бывало, только налетитъ какой чиновникъ, потому тишина наша уже очень противна была, съ тишины взять-то нечего, а его сейчасъ же по хвосту. Онъ его подожметъ да и прочь... Анна Ивановна Хлусова 18,000 пожертвовала, сугубая и ипостасная помѣщица была, мы на эти деньги храмъ поставили, но не безъ преткновеній!

— И въ этомъ преткновенія были?

— Потому какъ деньгами запахло, сейчасъ же и мздоимцы проявились. Одинъ такой и даже, сказываютъ, будто въ генеральскомъ чинѣ, съ форсомъ разлетѣлся было къ намъ, но мать Досиѳея—инокиня такая была, изъ простыхъ она, этого самаго кочета обернула да собственноручно по тѣлу и наказала, такъ онъ замѣсто форсу и отошелъ съ миромъ. И были мы послѣ сего подвига спокойны и благополучны. Смиренная и кроткая нравомъ мать Глафира скромную трапезу нашу воздвигла, и при умной и бдительной игуменьѣ Паулинѣ и каменная ограда сооружена!.. Вотъ какъ Господь насъ изъ ничего вознесъ!..

Все это мнѣ сообщили уже потомъ, а пока до келіи игуменьи, по дорогѣ, я не могъ оторваться отъ этихъ маленькихъ домиковъ, словно испуганное стадо, прижавшихся къ каменной стѣнѣ монастыря, одинъ наивнѣе другого—и всѣ одинаково мертвы, одинаково безжизненны. Напрасно я пристально всматривался въ окна — за ихъ стеклами не мелькало ни одного лица... Разъ, вдали, показалась черная фигура, но, увидѣвъ насъ, спряталась.

— Чего онѣ бѣгаютъ?

— Какъ отъ насъ, отъ козловъ, и не бѣгать?— сокрушался кучеръ, тоже тоненькимъ фальцетомъ.

— Да почему же?

— Мірскіе мы, отъ насъ мірской пахнетъ, опять же — вы господинъ, а они господскаго мудрованія страсть боятся!..

— Развѣ обижали ихъ?

— Какъ мудрили еще!.. Она что, она баба пуганая, а тотъ, какъ воронъ, налетитъ и клюнетъ. Обругаетъ и прочь. Ему, подлецу, ничего, а ей обидно, потому она Божья. Бобыли теперь. На монастыря землю сѣли и сидятъ. А замѣсто почету отъ него баловство только. Станетъ бобыль передъ обителью и давай зѣвать... Нешто это хорошо. Такое развѣ это мѣсто? Тутъ, можетъ, сколько наплакано, да намолено. Понять тоже это надо... Господи, Господи, и все то грѣхъ, и все то грѣхъ!

Чистое крылечко игуменьи. Я постучался къ ней. За дверями послышался шорохъ и замеръ... Я постучалъ еще... Выглянуло въ окно какое-то блѣдное лицо... Молоденькая дѣвушка. Даже странно было видѣть на ней черную шапку монахини.

— Вамъ чего?

— Мать игуменью...

— Вы отъ кого?

— Отъ самаго себя...

Головка спряталась, черезъ минуту ключъ повернулся въ замкѣ, и дверь отворилась.

Мать Клеопатра—радушно встрѣтила меня и пригласила въ пріемную. На стѣнахъ—портреты архіерея. Въ окнахъ герань. Пахнетъ ладономъ. Мебель жесткая—не очень-то засидишься на ней... Нѣсколько черныхъ монахинь, закутанныя. Только лица, блѣдныя и безкровныя, съ какими-то уже слишкомъ спокойными глазами, видны. Ни любопытства, ни вопроса... Тишина такая, что шорохъ мухи, бьющейся въ стекла, наполняетъ всю комнату...

— Къ намъ пожаловали?..—начала игуменья.

Я поклонился.

— Милости просимъ. Писать будете?.. Сказывали намъ про васъ... Что же, мы рады...

Та же молоденькая послушница неслышно внесла чай, отдала всѣмъ уставной низкій поклонъ и такъ же беззвучно исчезла въ переднюю... Еще нѣсколько совсѣмъ иконописныхъ монахинь стали въ дверяхъ... Я всмотрѣлся въ нихъ. Эти, видимо, пережили уже жизненныя тревоги. Молчатъ могучіе инстинкты, замерло все, что мучило и волновало когда-то. Въ лицахъ нѣкоторая строгость, движенія истовы, медленны... Только раннія морщины, блѣдность да впалыя груди выдаютъ, что не даромъ досталась имъ эта побѣда надъ собою. Цѣною тяжелой борьбы, безмолвныхъ страданій, никому не переданныхъ разочарованій и утраченныхъ надеждъ. Сукно монашескихъ платій грубо и тяжело, въ покроѣ головныхъ уборовъ—ни малѣйшаго изящества, все разсчитано на то, чтобы эти и безъ того безкровныя лица сдѣлать еще постнѣе и еще некрасивѣе...

Я попросилъ позволенія осмотрѣть монастырь.

— А, вотъ, мать Варлаама все покажетъ вамъ!

Вся въ хлопотахъ, видимо, большая работница на обитель, мать Варлаама явилась получить благословеніе сопровождать меня по монастырю.

— Мало любопытнаго у насъ. Убого все, тѣсно! Сами увидите!—напутствовала меня монахиня, прощаясь.

II.

У затворницы Меланіи.

— Что вамъ прежде всего показать? — заторопилась мать Варлаама.

— Я не знакомъ съ вашимъ монастыремъ. Предоставляю вамъ выбрать!

— Не угодно-ли вамъ посѣтить могилу затворницы Меланіи... Большая подвижница была покойная и многими благодѣяніями себя нынче оказываетъ. Къ намъ кто ни пріѣдетъ—сейчасъ къ ней. Сначала ей поклонится, а потомъ уже монастырь осматривать!

Вымирающіеся типы нашихъ обитателей заслуживаютъ большаго вниманія. Можетъ быть, нигдѣ не обрисовываются настолько выпукло характеры, какъ здѣсь. Я не мало перевидалъ на своемъ вѣку, но, несомнѣнно, самые крупные люди по внутренней силѣ, неустанной энергіи, упорству въ достиженіи цѣлей—мнѣ попадались, именно, за стѣнами монастырей. Борьба въ одинокой кельѣ достается не легко, и подъ черной рясою человѣкъ переживаетъ много драмъ, прежде чѣмъ онъ отвердѣетъ въ извѣстную традиціонную форму. Потому-то я съ такимъ любопытствомъ всегда заглядывалъ въ это само въ себя замкнувшееся царство. Въ Соловкахъ, на Валаамѣ и въ Святыхъ горахъ, куда меня ни заносило — передо мною проходили цѣлые ряды въ высшей степени оригинальныхъ сильныхъ натуръ, для усмиренія и успокоенія которыхъ нужны были строгіе внѣшніе уставы, вѣчный трудъ, наконецъ, затворничество, схима, обѣты молчанія, вериги, бичеваніе, голодъ. Люди стремились побѣдить себя, въ силу раздѣляемаго нами или нѣтъ, но, все-таки, принципа—раздавить въ себѣ собственное «я», уничтожить его, принести въ жертву идеѣ. Это имъ удавалось, но ранѣе торжества, въ безсонныя ночи и трудные дни, они исходили кровью и слезами.

Одною изъ такихъ самоотверженныхъ была и подвижница Каменногорской дѣвичьей обители мать Меланія.

Она очень рано осталась сиротою. Красавица, она чувствовала ненависть къ жизни, которая, напротивъ, должна была бы улыбаться ей. Трудясь у себя дома, она приросла сердцемъ къ идеаламъ аскетизма. На ея рукахъ оставалась маленькая сестренка, нужно было жить въ мірѣ ради нея, а тутъ, какъ нарочно, въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ минутъ борьбы, точно откровеніе свыше, ей прозвучало въ церкви:

— Иже любишь отца или матерь, паче Мене, несть Меня достоинъ; и иже не пріимешь креста своего и вслѣдъ Мене не грядешь, несть Меня достоинъ.

Меланія стала думать и плакать, плакать и думать. Время было во второй половинѣ прошлаго вѣка, вовсе не

подходящее для проявленій личной воли, да еще у дѣвушки и при старшемъ братѣ. Этотъ послѣдній задумалъ окончательно сломить упорство сестры, выдавъ ее замужъ. Жениха такой красавицѣ пріискать было не трудно. Какъ она не возставала противъ, а ей былъ объявленъ день помолвки. Въ тѣ времена мало любопытствовали, согласна ли невѣста. Въ назначенный день—Меланія исчезла. Искали, искали ее, нѣтъ нигдѣ. Впослѣдствіи оказалось, что она спряталась у сосѣдей.

— Сосѣди противъ брата пошли?

— Потому они богобоязненные люди были, поняли, что отроковица убѣгаетъ отъ брака, ибо возлюбила Жениха Небеснаго, а не земнаго!..

Когда она вернулась—начались всякія тиранства. Въ темномъ царствѣ тогдашней русской семьи это было дѣло обычное. Но что съ Меланіей не творили, она ни на волосъ не отступила отъ своего намѣренія.

— Сколь одного бою было! Жестокое время, слава Богу, что прошло!

Скоро и бить устали. Опять назначили день для новой помолвки—невѣста вновь изъ-подъ замка бѣжала. Всячески ее изводили. Но она все свое. Наконецъ, братъ ея понялъ, что дѣло не спроста, что однимъ боемъ тутъ ничего не добьешься, и умѣрилъ свою воинственность. Даже «сердцемъ умилился» и самъ отпустилъ сестру—но въ томъ, въ чемъ она была. Ни вещей, ни денегъ, не далъ.

— Несмотря на это, наша матушка незабвенная проникла къ намъ въ обитель, какъ жаждущій елень на источники водные...

Дѣла Каменногорскаго монастыря были не блестящи. Густой лѣсъ росъ кругомъ; убогія келейки, изъ него срубленыя, стояли посреди бора. Обстановка, испугавшая-бы всякую другую натуру—этой пришлась какъ разъ по душѣ. Меланія начала въ монастырѣ трудиться, не складывая рукъ.

— И работала какъ!.. Соблюдая въ тайнѣ постоянную молитву и молчаніе устъ.

Замкнувшись сама въ себя, молодая инокиня проводила цѣлые часы въ лѣсу на молитвѣ. Кудрявыя березы передъ нею золотились изумрудным блескомъ, ручьи съ звонкимъ говоромъ сбѣгали внизъ, птицы пѣли—все звало къ жизни, къ сегодняшнему, именно, счастію, но красавицѣ-монахинѣ во всѣхъ этихъ звукахъ слышалось совершенно другое. Они говорили ей о далекомъ грядущемъ, въ ея пониманіи они являлись призывомъ къ подвигу, къ новымъ и еще болѣе труднымъ послушаніямъ. Важный торжественный шумъ лѣсныхъ вершинъ, это царство вѣковыхъ сосенъ—настраивало ее на благоговѣйный ладъ. Она, наконецъ, захотѣла окончательно умертвить плоть свою, стала питаться исключительно водою и хлѣбомъ; недовольствуясь этимъ, послѣ цѣлаго дня самаго утомительнаго труда — вставала съ полуночи, шла пѣшкомъ верстъ за тридцать въ Задонскъ, выслушать тамъ обѣдню, принять благословеніе отъ святителя Тихона, и также пѣшкомъ возвращалась назадъ въ монастырь. Меланія была безграмотна. Черезъ нѣсколько времени къ ней въ монастырь перешла совсѣмъ и сестра ея Екатерина. Онѣ зажили въ одной кельѣ. Захотѣли обѣ учиться читать, просили на это благословенія у Тихона.

— На что вамъ учиться по книгамъ? Васъ благодать Божія свыше научитъ, и довольны будете!

Онѣ сократили свои потребности до невозможности. Кувшинъ съ водою и сухари—вотъ и все, что у нихъ было въ кельи. Бросили всякую мірскую работу, даже рукодѣліемъ перестали заниматься.

— Что же онѣ дѣлали?

— П[illegible]

— Т[illegible] такъ же это?

— Плакали цѣлые дни о грѣхахъ своихъ неутѣшно. Это и называется Петровымъ исповѣданіемъ!

При этомъ и обстановку для жизни создали онѣ себѣ необычную. Келью свою по зимамъ не топили вовсе. Часто отворяли окна при этомъ, чтобы еще болѣе стужи было. Выходить изъ извѣстныхъ рамокъ—нигдѣ не захо-

дится даромъ: полная самоистязаній и лишеній жизнь Меланіи навлекла и на нее гоненіе.

Игуменья Олимпіада вообразила, что монахиня ея обители спекулируетъ этимъ добровольнымъ мученичествомъ.

— Это ты нарочно дѣлаешь, чтобы тебѣ больше подавали милостыни. Смотри, не собираешь-ли ты тлѣннаго богатства?

Меланія не оправдывалась, падала на колѣни, просила прощенія и потомъ опять уходила къ себѣ молчать и плакать. Холодъ, голодъ, отдыхъ ночью на голой доскѣ— все болѣе воодушевляли затворницу. Дошло до того, что малѣйшія уклоненія отъ этого съуженнаго порядка жизни казались чуть не преступленіями. Мон[illegible]я Евергія приноситъ имъ гостинецъ—свѣжихъ огурцо[illegible] Сестра Меланіи разрѣзала одинъ и хотѣла, было, ѣсть.

— Екатерина, что ты дѣлаешь?—съ ужасомъ указываетъ ей старшая.

— Какъ что?

— Огурецъ-то, огурецъ! Вѣдь это плотоугодіе, брось!

— Прости, матушка сестрица!—и огурецъ былъ брошенъ.

Когда Екатерина умерла, то оказалось невозмо[illegible]нымъ снять съ ея тѣла власяницу, узкая и грубая, она приросла къ ней.

Однимъ изъ подвиговъ монашескихъ считается добровольное юродство. Люди надъ этимъ смѣются — инокъ молчитъ и терпитъ, въ этомъ — заслуга. Типъ Меланіи, какъ заправской монахини, былъ бы не полонъ безъ юродства, и вотъ, по смерти своей сестры, она облекаетъ себя въ упомянутую переходную къ схимѣ форму Она притворно сердится, когда ей подаютъ милостыню:

— Ты мало даешь, ну, что тутъ? Видѣть нечего!..

А когда «благодѣтель» уйдетъ—она милостыню «полагала на дровахъ».

— Зачѣмъ?

— Съѣдобное уносили птицы, а деньги и вещи брали нищіе, постоянно обшаривавшіе всѣ мѣста вокругъ ея келіи!

Цѣлыя ночи она стояла на молитвѣ надъ могилою своей сестры. Плакала такъ, что вопли ея слышались за монастырской оградой. Разъ діаконъ Георгій, Преображенскій раньше пришелъ къ утрени, чѣмъ слѣдовало, и споткнулся о лежащую ницъ Меланію.

— Юродивая! Зачѣмъ ты здѣсь валяешься?—И онъ ударилъ ее палкой.

— Богъ тебя прости!—кротко, сквозь слезы, взглянула на него монахиня.—Тебѣ больнѣе будетъ, когда тебя бить станутъ!

Черезъ нѣсколько дней почтеннаго діакона, возвращающагося ночью домой изъ-за р. Сокны, изловили какіе-то «шатающіе» и вздули его такъ, что онъ зачахъ и умеръ. Меланія терпѣть не могла прислужницъ и «угождательницъ». Когда такія являлись изъ иноческой среды, она старалась довести ихъ капризами до раздраженія и заставить ее бросить. Подарили ей самоваръ, и чай приносилъ молчальницѣ пользу. Вдругъ ей показалось это грѣхомъ. Она унесла самоваръ въ лѣсъ и бросила тамъ. Но скоро вышла радость ея «душевредной». Постъ безъ смѣ[illegible]лія невозможенъ, и на Меланію «возстали помыслы», по-просту чай былъ необходимъ для ея истощеннаго организма. Она мучилась, мучилась и, наконецъ, загадала:

— Если самоваръ цѣлъ, значитъ, Богу угодно, чтобы я пила чай...

Самоваръ оказался цѣлъ.

Постоянное одиночество, вѣчное напряженіе фантазіи, поиски грядущаго града, безсонныя ночи создали вокругъ монахини другой міръ. міръ призраковъ, существовавшихъ посреди самой неприглядной, полной лишеній и самоистязаній дѣйствительности. Въ одну ночь Меланія, долго молившаяся и плакавшая, забылась и сѣла у дверей кельи. Мракъ былъ густой. Ни луны, ни звѣздъ. Деревья во тьмѣ принимали чудовищныя формы. Вдругъ вдали показалось сіяніе. Ближе и ярче. Меланія всматривается... Не успѣла еще сообразить, чтобы это могло быть, какъ ослѣпительная огненная колесница, съ крылатыми конями, опустилась передъ

— Приди, о возлюбленная Богомъ...—воспріими мзду отъ грудовъ твоихъ!—Смотритъ монахиня—юноша въ бѣлой одеждѣ передъ нею.

— Богъ послалъ меня, ангела своего, возвести тебя въ райскія селенія... Тамъ ждетъ тебя сестра Екатерина!

Меланія, услышавъ о сестрѣ, обрадовалась, позабыла перекреститься и взошла на колесницу.

Крылатые кони взвились на недосягаемую высь и понеслись по ней къ великолѣпному бѣлому дому. Но тутъ Меланія перекрестилась, и все исчезло передъ нею, вдали послышался злорадный хохотъ. Она увидала себя на краю моста. Еще шагъ, и монахиня утонула бы въ рѣкѣ, глубокой, протекающей здѣсь далеко внизу, въ темной балкѣ. Рабочіе изъ ближайшей мельницы выскочили на ея крикъ и полумертвую доставили ее въ монастырь. Меланія славилась своею правдивостію. Она никогда не лгала, да и случай такого рода возвеличить ее не могъ, если-бы мы заподозрили смиренную инокиню въ излишней пылкости воображенія. Во всемъ настоящемъ очеркѣ мы не освѣщаемъ данныхъ изъ разсказовъ нашихъ монахинь Каменногорскаго монастыря. Мы не желали объяснить ихъ ни съ мистической стороны, ни съ точки зрѣнія психіатровъ. Наша роль—роль простого повѣствователя, сообщающаго читателямъ, не мудрствуя лукаво, о своихъ встрѣчахъ и впечатлѣніяхъ. На гранитномъ утесѣ одного изъ острововъ Валаамскихъ, въ уединенную келью молчальника и затворника Іоанна, вмѣстѣ съ бурею, нѣсколько лѣтъ стучались духи, составлявшіе для него дѣйствительность несомнѣнную. Онъ изгонялъ ихъ молитвою и заклинаніями, и потомъ, когда ему от. Дамаскинъ вернулъ право «слова», т. е. приказалъ говорить, онъ въ чрезвычайно поэтической формѣ разсказалъ о своихъ видѣніяхъ.

Борьба съ помыслами у Меланіи не кончилась этимъ. Она напрасно морила себя на непосильномъ трудѣ—видѣнія и соблазны вставали кругомъ въ душной атмосферѣ одинокой кельи. Лѣтомъ, въ жаркое время, въ

разгорячённомъ воздухѣ скользили призраки смятеннаго ума, которымъ формальная вѣра давала опредѣленное значеніе искушеній. Странный міръ, и исходы изъ странныхъ положеній находитъ странные. Такъ отшельница металась и мучилась до тѣхъ поръ, пока совершенно неожиданно не взошелъ къ ней о. Иларіонъ-затворникъ.

— Егда бо нѣ моществую, тогда силенъ есмь!..—привѣтствовалъ онъ ее.

Меланія зарыдала и «пала ему въ ноги». Оказалось, что и Иларіонъ испытывалъ тогда «гонепіе» и явился въ Елецъ «дать мѣсто гнѣву».

Въ Ельцѣ тогда славился прозорливой «Христа ради юродивый» Каменевъ. Онъ вскорѣ послѣ тоже пришелъ къ монахинѣ вмѣстѣ съ о. Иларіономъ.

— Оставь юродство, сиди въ келіи въ совершенномъ безмолвіи...—убѣждалъ онъ ее.

— Не могу понести сего!—отговаривалась Меланія.

О. Иларіонъ присоединился къ Каменеву. Въ концѣ-концовъ, Меланія рѣшилась на послѣдній подвигъ монашескаго поприща — замкнуться въ добровольное заключеніе навсегда. Стѣны ея кельи были ветхи. Печь зимою никогда не закрывалась, также какъ и труба. Мохъ, забитый между бревнами, осыпался, стужа проникала насквозь, съ наружи все обледенѣло, лампада у образа одна тускло свѣтила затворницѣ. Многіе начали заглядывать къ ней въ окно. Это стекло теперь было ея единственною связью съ міромъ. Она и его заколотила.

— Зачѣмъ это? —спрашивала ее игуменья.

— Дабы любопытное око не увидало моей худости!

По мѣрѣ того, какъ росъ авторитетъ затворницы, ея сила на подругъ по монастырскому заключенію оказываетъ чудесное вліяніе. Живущая до сихъ поръ въ Каменногорской обители монахиня Іулита была тогда молодою, здоровою и красивою дѣвушкою. Обѣты аскетизма въ этомъ возрастѣ дать легко, но выполнить ихъ трудно. Жизнь требуетъ своего неодолимо. Такимъ образомъ и на Іулиту возстала «естественная брань». Но достаточно было

*

дѣвушкѣ прилечь на постель Меланіи, чтобы все отъ нея, какъ рукой, сняло. Такова сила вѣры. Первы наши въ этомъ отношеніи—большую власть имѣютъ надъ тѣломъ.

— Что ты тутъ дѣлаешь?..—подошла къ ней Меланія.—Я сама не могу избавиться отъ скверныхъ мыслей... Чуешь... Молчи!.. Да и молчи!..—несвязно окончила она. Затворничество для нея оказалось на первыхъ порахъ невыносимо. Она воспользовалась первымъ случаемъ пойти въ городъ. Но ей навстрѣчу попался юродивый Каменевъ.

— Ты зачѣмъ?—началъ онъ кричать на нее.

— Надо у благодѣтелей взять кусокъ хлѣба!

— Не малодушествуй... пошла, пошла назадъ въ келью... Хлѣбъ самъ придетъ къ тебѣ!

— Голодна я...

— Не о хлѣбѣ единомъ живъ человѣкъ. Ищи прежде царствія небеснаго, остальное все приложится тебѣ!

И Каменевъ силою погналъ ее обратно до самой кельи.

— Помни часъ смертный!—пригрозилъ онъ затворницѣ.

Каменевъ тоже типъ любопытный. Родомъ изъ дворянъ—былъ въ провинціальной канцеляріи повытчикомъ, а потомъ вдругъ бросилъ все и сталъ юродствовать до конца дней своихъ. Характера былъ не изъ мелкихъ. Св. Тихонъ Задонскій самъ его называлъ своимъ «врачемъ отъ помысловъ высокоумія».

Меланія долго послѣ того еще боролась, но, наконецъ, рѣшилась окончательно.

6-го августа 1839 года пріобщилась и, закрывъ глаза платкомъ, попросила довести ее до келіи. Въ дверяхъ простилась съ монахинями и, затворясь, пробыла въ затворѣ восемнадцать лѣтъ, до своей кончины!.. Восемнадцать лѣтъ жизни въ могилѣ, одной, только со своими призраками.

У истиннаго монаха должно быть три главныхъ врага, съ которыми онъ непрестанно борется: міръ, плоть и дьяволъ. Эти три врага не оставляли въ покоѣ и затворницу Меланію, когда она окончательно оградилась отъ

всего живаго обледенѣвшими стѣнами своей убогой кельи. Но тутъ уже она была гораздо сильнѣе вооружена противъ нихъ, прежнихъ слабостей не было, міръ «прелестный» въ ней умеръ навсегда. Ей не такъ трудно оказалось выдержать вѣчное молчаніе грязнаго и холоднаго угла, заброшеннаго въ дикую глушь темнаго лѣса. Ей приносили, случалось, богатыя подаянія—она никого не оскорбляла отказомъ, брала ихъ, но затѣмъ немедленно, завязавъ деньги въ разныя тряпки, бросала ихъ далеко отъ своей кельи по тропѣ, по которой ходили нищіе. Бѣдныя послушницы (монастырь этотъ не кормитъ никого, всякая живетъ тѣмъ, что у нея есть или что она заработаетъ. Общежитія не заведено), приносившія къ дверямъ ея кельи воду въ ведрахъ, видѣли изъ-за деревьевъ, какъ она, выходя и сливъ воду къ себѣ, выставляла ведра обратно, бросая туда деньги. Сплетничество и пересуды въ монастыряхъ «свирѣпствуютъ» болѣе еще, чѣмъ гдѣ-нибудь въ иной средѣ. Отъ нихъ доставалось часто Меланіи, но, какъ истинная монахиня, она при этомъ радовалась «духомъ». Говорили, что она затворилась потому, что лѣнится ходить въ церковь и не хочетъ работать. Когда какая-либо инокиня, стоя у ея замкнутаго окна, выкрикивала ей такого рода новости, затворница старалась молчать, если же силъ у нея на это не хватало—то изъ нутри душной кельи слышалось:

— Ты еси терпѣніе мое, Господи, Господи упованіе мое отъ юности моея!

Такого рода недоступность, прежде всего, стала озлоблять инокинь.

Зависти здѣсь не початой уголъ, и какъ чиновничья душа не прощаетъ другу Станислава на шею, такъ и здѣсь низменные инстинкты не мирятся съ «подвигами» болѣе крупныхъ въ иноческомъ значеніи натуръ.

Особенная зависть бѣсовская волновала монахиню Ельпидифору, ближе другихъ жившую къ затворницѣ. Какъ-же, въ самомъ дѣлѣ, благодѣтели и поклонники, минуя ея келью, идутъ къ Меланіи? Дошло до того, что

она, въ виду ихъ, выскакивала, въ чемъ была, и «неистово» поносила соперницу.

Измученная молчальница — едва заснетъ, въ окно ея камнями начинаетъ бросать зловредная Ельпидифора и выкрикивать ругательство одно злѣе другого. Всего пуще гнѣвало ее, что на всѣ эти обиды Меланія не отвѣчала ни слова, и, какъ подобаетъ инокинѣ «по заповѣди Господней», молилась о своей обидчицѣ. Изобрѣтательность Ельпидифоры пошла дальше. Привезли къ ней больную родственницу, все время громко кричавшую и бившуюся. Она на все лѣтнее время устроила ей ложе подъ окнами затворницы. Когда стало холодно, и больную внесли въ келью, Ельпидифора поймала козу и привязала ее къ тому-же самому мѣсту, но такъ, что бѣдное животное все время блеяло. Это, наконецъ, задѣло Меланію. Она вышла изъ затвора и сломала загородку, освободивъ козу. Того только и ждала монахиня Ельпидифора вмѣстѣ съ другими, карауливщими около, съ воплями бросились на старуху и давай ее бить. Уже въ безпамятствѣ швырнули ее въ келью, а сами ужъ чисто по одиночкѣ забѣгали къ игуменьѣ.

— Матушка игуменья... Благослови!

Та благословила.

— Что скажете?

— Бѣдная наша Маланьюшка-то, старица Божія...—И давай сокрушенно вздыхать.

— Что такое? Не пойму я васъ!

— Маланьюшка-то, боголюбезная!.. Ахъ, Господи, прости, какое искушеніе. Вотъ искушеніе-то, вотъ скорбь!.. Вѣдь помѣшалась она, молитвенница наша. Выскочила, воетъ и колотится. Воетъ и колотится... Ахъ, печаль-то какая всѣмъ намъ!

Собрали совѣтъ, что дѣлать? Рѣшили везти въ домъ умалишенныхъ въ Орелъ.

— Тутъ-то она и познала свою немощь и побѣжденіе отъ врага!

— Что она дѣлать стала?

— У всѣкъ начала прощенія просить!

— Да за что-же?

— А такъ, по смиренію своему...

Дьяволъ или, по словамъ моего кучера, «подлецъ» не успокоился. Онъ началъ ее пугать ночными привидѣніями, но и этимъ затворницу удивить нельзя было; тогда онъ сталъ устремляться на нее въ «звѣрскихъ подобіяхъ», бодалъ ее, топталъ ногами. Часто принималъ личину враждебныхъ ей монахинь и билъ старицу.

— Можетъ быть, это онѣ и врывались къ ней?

— Да, вѣдь, кто-бы ихъ могъ подвигнуть на это?.. Въ одно время какъ случилось: врагъ, демонъ, то-есть, ринулся на затворницу и, исторгнувъ волоса изъ головы ея, многократно ударилъ старуху о земь. На крики ея прибѣжала другая монахиня и застала Меланію едва дышащею.

Она, впрочемъ, и сама не особенно церемонилась. Чтобы совладать со сномъ, бодрствовать на молитвѣ, затворница привязывала свою голову за волосы къ стѣнѣ, въ которую были вбиты гвозди. Тутъ уже ее постоянно стали посѣщать видѣнія, она все время проводила въ состояніи «духовнаго восторга».

— Она уже не боялась Бога, а любила его!

Теперь келья ее не отворялась никому. Родной братъ ея «наконецъ, ощутивъ совѣсть» не задолго до смерти ея пришелъ къ ней. Онъ умолялъ сестру повидаться съ нимъ, но она, преподавъ ему чрезъ окно нѣсколько наставленій, не впустила къ себѣ. Явился архіерей, не пользующійся расположеніемъ затворницы. Вмѣстѣ съ игуменьей онъ стучался къ Меланіи. Они и просили, и приказывали ей отворить двери, но Меланія не подала признака жизни.—Такъ и ушелъ онъ, не солоно хлѣбавши. Генералъ одинъ пріѣхалъ, было, и съ криками подошелъ къ кельѣ, но затворница отослала его прочь, а какая-то полусумасшедшая монахиня заявила его превосходительству, что такимъ «козламъ смердящимъ» мѣсто не въ монастырѣ, а на «торжищахъ».

При чемъ тутъ были «торжища»—неизвѣстно. Съ этого времени жизнь уже кончается, а начинается житіе,—легенда. Меланія исцѣляетъ, пророчествуетъ, призрѣваетъ. У священника и діакона, являющихся къ ней со святыми дарами—свѣчки зажигаются сами собой. О днѣ своей смерти Меланія имѣетъ откровеніе, въ ночь ея кончины задонскія женщины видятъ огненной столбъ надъ каменною горою, достигающій неба. Одержимая бѣсомъ дѣвица Евпраксія—начинаетъ рыдать, кричать и драть себѣ ногтями лицо и грудь до крови.

— Чего ты кричишь?—унимали ее.

— Какъ намъ не кричать, какъ намъ не плакать, то *мы* ее мучили, теперь она насъ попалила!

И «изрыгая хулы на блаженную, бѣсноватая убѣжала». Начальство всполошилось. Стали дѣлать дознанія. Чѣмъ болѣе дознавали, тѣмъ болѣе объявлялось исцѣленій. Война полиціи съ чудесами приняла эпическій характеръ. На покойницу—посылались доносы. Квартальныхъ приставили, чтобы «исцѣленій не было», но одинъ квартальный временно ослѣпъ, а другой самъ сталъ юродствовать; явилась болѣе крупная власть—но невидимая сила его такъ ударила въ лобъ, что онъ съ той поры такъ и остался тронутъ. Вмѣшался орловскій епископъ Никодимъ и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, взялъ да и запретилъ служить панихиды по Меланіи. А потомъ и самъ явился въ обитель. Народу, желавшему молиться, запретили это, и, разумѣется, отъ этого только выросли до необъятныхъ размѣровъ разсказы о чудесахъ покойницы. Такъ продолжалось довольно долго. Надо сказать правду, послѣдующіе епископы не слѣдовали примѣру о. Никодима. Преосвященный Макарій, Епископъ Орловскій и Сѣвскій, написалъ о ней книгу, и теперь желающимъ поклониться могилѣ затворницы—квартальные уже препонъ не полагаютъ, и война полиціи съ загробнымъ міромъ прекратилась.

III.

Въ рисовальной школѣ.—Мать Эсеирь.—Дѣвицы изъ благородныхъ.—Въ соборѣ и на колокольнѣ.

— Что же васъ, собственно, интересуетъ?—обратилась ко мнѣ хлопотливая мать Варлаама.

— Да, нѣтъ-ли у васъ чего-нибудь особеннаго, ну, хозяйства большого, что-ли?

— Хозяйства у насъ нѣтъ!

— Какъ же это?

— Каждая на себя. У насъ, вѣдь, не общежитіе, а всякая инокиня сама на себя трудится!

— А если труда нѣтъ?

— Благодѣтели не помогутъ, такъ свои поддержатъ. Монахиня монахиню... Общежитію слѣдовало-бы устроиться, да монастырь нашъ бѣденъ. Подняться не съ чѣмъ. Работы наши въ кельяхъ я вамъ покажу ужо, сами увидите, чѣмъ живутъ наши «матери!»

Варлаама оказалась потомъ не простою монахинею. Она изъ общества. Кончила курсъ чуть-ли не въ московскомъ Елизаветинскомъ институтѣ, хорошо говоритъ по-французски и по-нѣмецки, интересуется всѣмъ, читаетъ—но, разумѣется, вся сложилась въ чисто монашескую складку.

— И много тутъ еще такихъ, какъ вы?

— Изъ благородныхъ есть... Вотъ недавно двѣ дѣвицы изъ института пріѣхали, въ обитель пожелали постричься.

— Да вѣдь онѣ жизни еще не знаютъ?—вырвалось у меня.

— И славу Богу, что не знаютъ. Какая жизнь-то бѣдной дѣвушкѣ. Замужъ не выйдешь, куда дѣнешься! А и замужемъ что—дьяволу работаешь!

— Это-же какъ?

— Да развѣ честный бракъ нынче. Было да сплыло. Теперь всѣ врозь смотрятъ. Это не Господу служить, а ненависть адову тѣшить! Да, мало, мало нынче изъ

образованныхъ идутъ въ монастыри. И Богъ знаетъ, почему это. У насъ тутъ миръ, тишина, спокойствіе!

— Не вездѣ!

— Да, такого монастыря, какъ нашъ, въ другомъ мѣстѣ-то и не найдешь!—съ гордостію отвѣтила Варлаама.—Потому у насъ все по согласу. Единъ пастырь—едино стадо. Ни противленія, ни смуты нѣтъ. А, прежде всего,—перешла она на дѣловой тонъ,—покажу я вамъ нашу живописную школу!

— Что?—было не понялъ я.

— Рисовать у насъ дѣвицы учатся, для монастырскаго храма, для часовень... Школу такую мы устроили. Пусть монахини работаютъ. Только бѣдная, бѣдная у насъ школа-то. Сами увидите. Такая-ли скорбная. Съ чего пишемъ, какъ учимся, то—свѣтскому человѣку смѣшно будетъ. А намъ въ этомъ дѣлѣ подняться тоже не съ чего. Мы только складываемся теперь. Хорошо такой обители, у которой все есть. А тутъ, голова кругомъ пойдетъ. Отъ того урвешь—сюда пришьешь, а тамъ, смотришъ, отсюда опять урывать надо, да туда пришивать. Ужъ какъ только у матушки нашей игумены хватаетъ сообразить все. Прежде купцы помогали, а теперь и въ нихъ вѣры не стало!

— Ну?—Купцы, впрочемъ, здѣсь дѣйствительно безобразные. Вотъ, напримѣръ, разсказъ одного изъ нихъ, переданный мнѣ уже въ городѣ какою-то старою монахиней:

— Какъ-бы вы думали, пріѣхалъ разъ одинъ пьяный, пьяный... Развезло всего, ввалился въ храмъ Божій. Мы—далѣ. Что мы можемъ сдѣлать?.. А онъ подошелъ потомъ къ одной черницѣ да и выпалилъ: ты, говоритъ, кому дура молишься? Черту или Богу? Потому ежели Богу, такъ Бога нѣтъ. Но тутъ мать Агапія наказала его. Плюнула ему въ бороду, дураку, и съ миромъ отошла прочь. Вотъ промежду купцовъ какіе теперь Колумбы оказываются, а вы какъ думали?..

Здравствуй, здравствуй, мать Степанида...—покло-

нилась Варлаама шедшей намъ на встрѣчу маленькой старушкѣ, тоже сплошь закутанной въ черное.

— Это что у тебя будетъ?

— А это господинъ нашу обитель любопытствуетъ... По монастырямъ они все ѣздятъ смотрѣть изъ усердія! Ну, и къ намъ!

— Нечего у насъ смотрѣть!—вздохнула Степанида. Что у насъ есть?..

— У настоятельницы были они!

— Ну, вотъ, господинъ, только у насъ и есть, что могила Меланіи блаженной да игуменья наша мать Клеопатра. Истинной адамантъ. Словесы ея, слышали?

— Да, я говорилъ съ нею!

— Ну, вотъ, сподобились... дай вамъ Богъ...

— Ангельскаго характера наша мать Клеопатра,—подтвердила и Варлаама.—У насъ всѣ къ ней стремятся, какъ пчелы къ меду!..

Мы вышли на террасу монастыря. Внизу видно было деревянное зданіе въ одинъ этажъ. Недавно выстроено, смолистымъ деревомъ пахнетъ...

— Вотъ и школа наша...

Варлаама вошла и познакомила меня съ институтками, бросившими свѣтъ, невѣдомый имъ. Личики дѣвушекъ уже поблѣднѣли. Ранняя иноческая серьезность легла на нихъ рѣзкими чертами. Глаза смотрѣли сухо, даже враждебно. Еще-бы, я для нихъ представлялся именно частію того міра, который по монашеской логикѣ слѣдуетъ ненавидѣть. Ничѣмъ не обитыя стѣны увѣшаны самодѣльными картинами религіознаго содержанія. Вотъ чудесный ребенокъ, отлично написанный, живые дѣтскіе глазенки такъ и пышутъ веселостью, щеки розовыя, твердыя, должно-быть, какъ яблоко—и на ней на этой, вѣрно отъявленной маленькой шалуньѣ—черная скуфья, черное монашеское платье.

— Чей это портретъ?

— Это Клеопатрушка Головачева, племянница игуменьи нашей. Такой-ли утѣшительный ребенокъ!

— Зачѣмъ ее сняли въ монашескомъ костюмѣ?

— Она сама захотѣла... Плакала даже!.. А написано хорошо.

— Монахиня работала?

— Да, наша!..

Написано, дѣйствительно, хорошо. Ученицы здѣсь оказываются весьма способныя... Безъ всякой предварительной школы пишутъ. Упорствомъ берутъ. Помогаетъ имъ нѣкто Вознесенскій, изъ Ельчанъ, болѣзненный молодой человѣкъ, тоже самоучка, тоже гибнущій въ глуши талантъ, какихъ у насъ много, благо никуда имъ пути нѣтъ изъ родныхъ захолустій. Вотъ громадный образъ Преображенія. Оканчиваетъ его суровая монахиня. И глазомъ на насъ не повела, точно не ея картину смотрятъ. Взглядъ, пристально устремленный на образъ; кисть также размашисто кладетъ мазки на полотно.

— Это мать Епифанія!

Мать Епифанія наклонилась, куда-то, въ сторону, и покраснѣла... Налѣво что-то фыркнуло... Гляжу — какая хорошенькая, молоденькая монашенка—мнѣ она показалась лѣтъ четырнадцати, а вышло—двадцати съ чѣмъ-то. Чудесный живой цвѣтъ лица, вздернутый носикъ съ тонкими ноздрями, которыя такъ и ходятъ; черныя, полныя огня и веселости глазки. Эта, отъ которой такъ и разитъ жизнью,—какъ попала сюда?

— Мать Эсѳирь!

Полуребенокъ и уже мать Эсѳирь!

— Она дочь директора чугунно-литейнаго завода Холина. Это первый нашъ талантъ. Столько способностей, столько способностей! Не повѣрите вѣдь! Кто не пріѣдетъ— удивляется. А, вѣдь съ чего работаютъ, — съ плохихъ гравюръ. Нѣтъ ничего у нихъ. Ни оригиналовъ, ни гипсовъ. Ниву выписать хотѣли для обители, тамъ гравюры очень хорошія бываютъ да и текстъ такой, что каждому понятно. Но и на это денегъ нѣтъ!.. Плохи, плохи наши дѣла, теперь бы въ другомъ мѣстѣ, для большого таланта, какъ эта самая Эсѳирь, нашлись

бы и средства, богатый человѣкъ какой-нибудь послалъ-бы ее въ Петербургъ учиться... А она здѣсь пропадаетъ!

И дѣйствительно,—талантъ большой, въ каждомъ мазкѣ видѣнъ. Работаетъ живо, быстро, увѣренно,—а въ монастырь пришла не умѣла взять карандаша въ руки. Вотъ, если бы эти строки прочелъ кто-нибудь, у кого лишнія средства есть, да помогъ той-же Эсояри выбиться на широкую дорогу. Не раскаялся бы въ добромъ дѣлѣ. Я убѣжденъ, что черезъ года три изъ нея выработался-бы крупный художникъ. А пока она разрисовываетъ плохія картины съ скверныхъ гравюръ и этимъ, впрочемъ, копіямъ придаетъ жизнь и силу, присущую каждому дарованію.

— Одно плохо... тамъ въ академіи ее начнутъ современемъ иконописи учить!

— То-есть?—не понялъ я.

— Да, вѣдь, какъ пишутъ-то теперь: купидоны вмѣсто ангеловъ, святую дѣву чуть не въ корсетъ стянутъ. Никакого истиннаго иноческаго благообразія нѣтъ. Это не образа!

— Что же прежніе деревянные святые съ вытянутыми въ плечи руками и ногами и съ глазами въ рамкахъ лучше?—вступился Вознесенскій.

— Лучше. Они духъ питаютъ!

— Во всякомъ случаѣ плохая пища. Иконопись должна даже идти на встрѣчу жизни. Отъ византійскихъ-то идеаловъ пора отказаться!

Пока мать Варлаама спорила съ учителемъ, доказывая, что никакихъ купидоновъ въ небесахъ не водится, и святыя корсетовъ не носили—я подошелъ къ окну. Что за чудесный видъ открывался отсюда впереди: на отдѣльномъ большомъ холмѣ за лощиной весь Елецъ, такъ и вырѣзался на чистомъ фонѣ безоблачнаго свода неба. Зимнее солнце щедро обливаетъ его своимъ веселымъ блескомъ. Монументальные дѣйствительно соборъ и храмы его давятъ городъ своими красивыми и могучими массами.

— Какъ хорошо!..—невольно вырвалось у меня.

— Чего хорошаго?—грустно спрашиваетъ молоденькая дѣвушка вся въ черномъ.

— Видъ красивъ, городъ хорошъ!

— А грѣха-то, грѣха въ немъ, въ этомъ хорошемъ городѣ... Зла, искушеній, соблазновъ!—все печальнѣе и печальнѣе шепчетъ она. — А ненависти, а жадности, а зависти!.. Что ни домъ—то адъ, что ни окно—то чьянибудь душа либо мучается, либо мучитъ!

Я взглянулъ на нее пристальнѣе. Должно быть, не мало пришлось ей выстрадать. Слѣды пережитаго горя въ каждой чертѣ лица. И голосъ звучитъ такъ, какъ будтобы она плакала чаще, чѣмъ говорила. Вѣрно, дѣйствительно, показалъ ей себя этотъ городъ.

— А вы изъ Ельца?..

Монахиня взглянула на меня, опомнилась, точно до сихъ поръ она говорила не мнѣ, а сама съ собой, и низко, низко поклонившись, все такая же блѣдная, съ своими большими черными глазами, пошла прочь...

И точно потемнѣлъ этотъ городъ, точно тѣнь легла на него отъ нѣсколькихъ словъ молодой инокини.

Со всѣхъ сторонъ тутъ жалобы на оскудѣніе монастыря.

— Плохо, ахъ, плохо!.. — ноетъ инокиня. И по тону голоса слышно, что это не для «посѣтителей» показное мытье, а дѣйствительное горе.

— Что такое?

— Силъ нашихъ нѣтъ. Никто работъ не покупаетъ,— обезденежели всѣ... Я вотъ, кружевница, но только одно скажу, хуже нѣтъ, какъ кружева плести. Городъ отбилъ все. Елецкія кружева теперь въ Питеръ да въ Москву шибко пошли, кажется, на хлѣбъ бы можно заработать— нѣтъ!.. Теперь я на строчку перешла и питаюсь, а ужъ на одежу родные помогаютъ, на одежу, какая она у насъ то есть грубая—строчки не хватаетъ!

— И всѣ нуждаются?

— Не всѣ. У насъ, слава тебѣ, Господи, обитель большая. Всѣхъ то монахинь, знаете, сколько? Четыреста!

Есть и богатыя. Коли бы общежитіе было—всѣ бы сыто жили; ну, а общежитія нѣтъ и живутъ голодно!

— Не хотите ли теперь соборъ нашъ посмотрѣть?— заторопилась мать Варлаама.

— Съ удовольствіемъ!

— Да вы не съ удовольствіемъ, а съ молитвой!— поправила она меня.

Соборъ бѣдный. Большой, но холодно въ немъ, непріятно. Образа все своего рукодѣлія. Нѣкоторые старинные. Я остановился передъ однимъ. Очень ужъ древняго письма.

— Это мать Вирсавія купила по сновидѣнію у раскольниковъ. Умерла Вирсавія.— въ монастырскій соборъ поставили!

На другомъ богатая риза. Выдѣляется она въ числѣ прочихъ бѣдныхъ простенькихъ окладовъ.

— А это инокинѣ нашей Тавифѣ было видѣніе—это самая икона показалась ей, — ну, она на свой счетъ ризу и заказала. Теперь весь нашъ соборъ убогій и украшаетъ она... Ишь, какъ далеко блеститъ-то!.. Кричитъ—наша икона-то!

Къ намъ подходитъ, едва-едва передвигая ноги, старушка, вся въ черномъ. Желтое, изможенное лицо, только глаза горятъ не совсѣмъ обычнымъ блескомъ, рядомъ молоденькая послушница, хорошенькое личико, наивные глаза.

— Что, мать Анемподиста... Давно не видала васъ...

— Вотъ молодую учу, какъ соблазна бѣжать, какъ міръ побѣдить въ себѣ...

— Хорошо дѣлаете, матушка!

— Если на пользу ей будетъ... Молчать учу ее... Ты знаешь, что святой Исаакъ Сирскій сказалъ: «Молчаніе есть таинство будущаго вѣка!..» Пойми ты, сколь это прекрасно!..

Послушница оказалась изъ ливенскихъ мѣщанокъ.

Большая часть насельницъ монастырскихъ выходитъ изъ двухъ уѣздовъ—елецкаго и ливенскаго. Онѣ по этому

и называютъ обитель своею. Оно и понятно, у каждой здѣсь есть родственницы, близкія, такой ужъ обычай ведется въ крестьянствѣ: если выучится дѣвушка грамотѣ или ежели окажется у ней «дарованіе къ пѣнію», непремѣнно уйдетъ въ обитель, ни за что не останется дома.

— Что васъ тянетъ такъ за стѣны, да за затворы?

— Ласково у нихъ ужъ очень, а дома-то, ужъ сами знаете, каково. Работаемъ столько-ли, а добраго слова не услышишь, все попреки, да бой этотъ!

— А замужъ?

— У насъ — замужъ идти — двойную тяготу носить! Ливенскія и елецкія дѣвушки разомъ входятъ въ жизнь обители. Плѣняющія ихъ тишина и ласка здѣсь явленія заурядныя. Подчиняться онѣ привыкли и дома, поэтому строгій режимъ монастыря не пугаетъ ихъ. Одна интеллигентная монахиня мать Елисавета объяснила мнѣ даже:

— Не повѣрите вы, что это за счастье своей воли не имѣть!

— Вотъ тебѣ и на!

— Именно. Знать, что за тебя думаютъ и дѣйствуютъ другіе, а ты, исполняя свое дѣло, ни за что не отвѣтственна. Все идетъ такъ правильно; такъ распредѣленъ и разграниченъ день, что если-бы и можно было скучать, — нѣкогда. Вы, какъ думаете, своя-то воля вѣдь крестъ! А легко-ли крестъ носить!

Даже слобода «Бобыли», непрестанно враждующая съ монастыремъ, и та считаетъ за счастье отдать своихъ дѣвицъ сюда. То мужики заводятъ свары съ обителью, то въ ногахъ валяются у игуменьи: возьми дочку въ послушаніе!...

— Она-то дома зря болтается. Городъ близко, гляди, свихнется. Купцы-то у насъ, сами знаете, какіе. Ему, что? Укусилъ, да и прочь прошелъ, а тутъ строгость! У матерей-то соблюдутъ!

Строгость въ самомъ порядкѣ жизни. Есть въ этой тишинѣ что-то мертвящее, усыпляющее. Ни одного по-

рыва, ни одного сильнаго движенія. Все такъ истово, такъ степенно, такъ размѣренно. Живому человѣку, кажется, смерть бы здѣсь,—нѣтъ, глядишь, нравится.

— У насъ жизнь,—объяснила мнѣ старая монахиня, мать Смарагда,—какъ тихая вода въ рѣкѣ. Стоитъ, кажется на глазъ... Анъ, нѣтъ, течетъ — незамѣтно, а течетъ. Матушкиными молитвами управляется все дѣло, а не нашимъ коварствомъ!—вспомнила она объ игуменьѣ.

— Теперь я вамъ покажу интересную инокиню!—подвела меня къ колокольнѣ мать Варлаама.

— Гдѣ-же она живетъ?

— Тутъ вотъ!

Колоколенка тоненькая. Сквозная вся. Смотрю, ничего не вижу. Мать Варлаама—подошла къ крошечной дверцѣ, точно въ конуру вела она. Постучались.

— Во имя Отца и Сына и Святаго духа!..

— Аминь! — послышался оттуда крикливый голосъ. Дверь отворилась.

— Какъ живешь, мать Серафима? Гостя вотъ веду къ тебѣ!

— И гдѣ мнѣ гостей принимать!... Благодѣтели вы наши. Какіе тутъ гости, господа милостивые.. Я тутъ, видите, какъ клещъ въ щели... Вотъ моя палата, вотъ она... И весь дворецъ мой тутъ... Сила Господня надъ вами... Пожалуйте, пожалуйте... Эхъ, бѣда—расходится-то у меня негдѣ. Ноги-то у васъ прыткія—а тутъ вотъ сталъ и стой!..

И дѣйствительно, вошелъ я на порогъ—а больше некуда.

Конурка шага три въ длину и два въ ширину.

Окно напротивъ заставлено хлѣбами, деревянною посудой. Стѣны не видать подъ образами. Всю комнату заняла деревянная лавка, игравшая роль кровати. Полушубокъ на ней, крестьянская панева. Сама мать Смарагда совсѣмъ мужичкой одѣта. Громадныя сапоги, сарафанъ, только на головѣ черная скуфья монашеская. Ходить и ей нельзя. Можно стать и лечь. Обернуться трудно.

Всю обстановку я разсмотрѣлъ уже потомъ, когда глаза привыкли къ темнотѣ, а сначала — точно въ погребѣ — ни зги... Мать Серафима замѣтила мое недоразумѣніе.

— Вотъ гдѣ я царю!—Вотъ гдѣ мое царство и міръ мой!

— Тѣсно!

— А въ гробѣ еще тѣснѣй будетъ, — нравоучительно закончила она.—Въ гробѣ-то — ахъ, какъ тѣсно... Въ гробѣ-то, другъ, и еще душнѣе, вотъ что. Тутъ благодать. Червь въ норѣ также. А чѣмъ мы-то грѣшные, охъ, грѣшные, чѣмъ мы-то лучше червей. Съ червя не спросится, потому ему не дано, а намъ страшный отвѣтъ держать на судилище Христовомъ...

Сыро. На стѣнахъ плѣсень, грибки какіе-то на полу.

— «Садъ мой»!—смѣется Серафима.

— Этакъ-то ляжешь, руки сложишь и, глядишь, тѣлу тѣсно, а духу спокойно. Глядишь и думаешь—въ гробѣ такъ лежать придется. И ни сколько не ужасно это... Погрызешь корочку, помолишься и опять о смертномъ часѣ... Господинъ вы милостивый, благодѣтель нашъ. Домой придете, разскажите—клеща-де въ щели каменной видѣлъ... Вотъ онъ, клещъ-то!.. Хорошъ?

Оставивъ ее, я поднялся на колокольню. Что за видъ чудесный. Вся даль за Сосною, словно одно серебряное море, лежитъ подъ стѣною. Снѣговая равнина идетъ безъ пролѣску, безъ рощи. Только поближе весь застроенный холмъ города Ельца съ храмами и купеческими палатами. Внизу мертвые ряды пестренькихъ домовъ каменногорскаго монастыря. Позади слободы разсыпались. Рѣзкій вѣтеръ дуетъ прямо въ лицо... Какъ хорошъ онъ послѣ этой каменной норы, гдѣ задыхался только что!..

— Вѣтеръ тутъ ужасенъ бываетъ!..—пояснила мнѣ мать Варлаама.

— А что?

— Съ ногъ бьетъ. Надо щиты ставить для защиты звонарокъ нашихъ. Не устоять иначе! А ужъ и колокола у насъ!

— Да?

— Въ театръ не надобно. Въ институтѣ была, въ оперу ѣздила, но куда же оперѣ!.. Нашему звону всѣ монастыри въ округѣ завидуютъ. Чистый, громкій, истинно металлъ славу Господа свидѣтельствуетъ!

— Лѣстница-то плоха!

— Что дѣлать. Поправить денегъ нѣтъ. Ждемъ, не явится ли благодѣтель какой, а мы бы за него ужъ какъ помолились. Вы думаете, легко намъ. Цѣлую седьмицу, вотъ, свѣчи горятъ предъ иконами—а нарядъ только въ праздникъ!..

Спустились внизъ. Опять мать Серафима ждетъ насъ.

— Сподобились съ колокольни нашей поглядѣть?.. Охъ, искушеніе...

— Давно-ли вы у себя въ кельѣ этой живете?

— Въ щели-то?.. Страхи Господни!.. Восемь лѣтъ... Восемь лѣтъ какъ насѣкомый комаръ!

Зимою—холодно. Топить нечѣмъ. Серафима, какъ тотъ же, по ея терминологіи—насѣкомый комаръ—бѣдна. Дровъ купить не начто.

— Что же вы дѣлаете?

— Дрожу.

— Да, вѣдь, не выносимо?

— А очень тяжело станетъ, и сейчасъ вспоминаю, какъ Христу-то бокъ копьемъ прободали... На крестѣ-то! Ему голубчику еще больнѣе было!.. Ну, прощайте, дай вамъ Богъ въ мірѣ и весело домой вернуться. Вы не изъ духовныхъ будете?

— Нѣтъ!

— То-то, я вижу, платье краткое и откровенное. Съ показаніемъ ногъ! Къ намъ изъ свѣтскихъ мало кто. Свѣтскому веселиться надобно, а у насъ печаль! Поусердствуйте, поусердствуйте, батюшка. Походите по обителямъ—многое увидите и научитесь многому. Это пустое вѣрить, что монахъ ни чему не научитъ. Всякое дыханіе научитъ можетъ. Начто грибъ, вотъ у меня бѣлой растетъ. Кажется, сырость одна, а и онъ душеполезенъ. Какъ свѣтъ—онъ сейчасъ шляпку свою къ свѣту. А свѣтъ—Богъ!

IV.

По кельямъ.

— Нечѣмъ похвалиться нашему монастырю—нечѣмъ!— сокрушалась мать Варлаама, обходя со мною убогія кухни и пекарни. Запахъ свѣжаго тѣста охватилъ насъ здѣсь. «Изъ образованныхъ»! шепнула мнѣ проводница, указывая на массивную монахиню, управлявшуюся съ квашней.

— Что-же, развѣ для нея не нашлось другого дѣла?

— Сама пожелала тяжелыхъ послушаній. Какъ простыя, говоритъ, такъ и я. Ну, ее въ просфирную и опредѣлили. Второй годъ работаетъ!

Хорошенькая рыженькая послушница метнулась вся, кланяясь Варлаамѣ.

— Спаси Господи, Настенька, Спаси Господи... Есть кто-нибудь въ ткацкой?

— Не знаю, матушка, именно не знаю!

— Сбѣгай-ка, Настенька, ножки-то у тебя молодыя!

Дѣвушка опять метнулась и кинулась на верхъ. Черезъ нѣсколько секундъ вернулась оттуда.

— Искушеніе, матушка, искушеніе... По кельямъ, матери ушли, всѣ по кельямъ. Часъ-то такой, отдыхаютъ!

— Созови ихъ. Скажи, вотъ гостя привела!—Настенька поклонилась мнѣ. Ткачихи-монахини сбѣжались быстро, низко сгибаясь передъ Варлаамой и въ чемъ-то, невѣдомо, прося прощенія. Онѣ надъ просфирнею, въ большой просторной залѣ втораго этажа, ткали громадныя ковры на продажу, для келій и для церкви. Всѣ точно были виноваты—такой ужъ порядокъ въ обители. Хоть и ничего не сдѣлалъ, а просить прощенія надо!

— Кто это работаетъ?

— Прости, матушка, Іулита начала, а продолжала я!

— Хорошо сдѣлано... Гдѣ это она узоръ достала?

— Ужъ прости, матушка, сама выдумала. Красовитый узорокъ-то?

Я сталъ спрашивать о производствѣ—тоже самое.

— Прости ужъ—сами и шерсть красимъ, сами и станъ дѣлаемъ и прядемъ сами... Ужъ, прости милостиво, все сами!

— Вы замѣчаете,—вмѣшивается мать Варлаама,—что у насъ въ коврахъ ни голубаго, ни розоваго цвѣтовъ нѣтъ. А знаете-ли почему: нѣтъ свѣдѣній техническихъ. Не знаемъ, чѣмъ шерсть въ эти колера красить!

— А остальную краску какъ добываютъ?

— Сами... Изъ земли разной, изъ травы... Цвѣты тоже идутъ на это. Ну, что-жъ, и то слава Богу. Теперь у насъ будутъ ковры и для алтаря, и для трапезы, и къ пріѣзду владыки. А то — срамъ, изъ кусочковъ до сихъ поръ составляли!

— Что получаютъ работницы?

— Монахини вѣдь. Кормитъ ихъ и содержитъ обитель, а трудъ—въ послушаніе. Вотъ и трапеза наша,—только нѣкому ѣсть въ ней. Общежитія нѣтъ. Вишь, какъ расписана-то!

Расписана она была, дѣйствительно, интересно. Я привыкъ уже къ такимъ наивнымъ произведеніямъ. Страшный судъ на стѣнѣ. Гдѣ вы его не увидите? Обыкновенно сидитъ прикащикъ и сукно отмѣриваетъ, а его въ это время гіенское пламя жжетъ. Грѣшникъ продолжаетъ работу. Дѣвица не замѣтила, что она ужъ въ горящую пасть змія попала, и танцуетъ себѣ, нюхая какой-то необыкновенный цвѣтокъ... Офицеръ съ саблей вино пьетъ и все въ той-же не подходящей обстановкѣ. Впрочемъ, что-же удивляться. Въ одной изъ сельскихъ церквей Елецкаго уѣзда я еще и не то видѣлъ: постель,—на постели нѣжные супруги, а кругомъ—пламя, такъ и вьется. Мужики рады. А то тамъ же—чортъ солдату брюхо вскрылъ и не переваренный, какъ есть, съ пробкой, штофъ водки, оттуда вытаскиваетъ, а солдатъ, какъ и слѣдуетъ православному воину, знать ничего не хочетъ, вздѣлъ шапку на бекрень и куритъ трубку. Вмѣсто дыма, изъ трубки вьется надпись: отъ сего душе-вредное зло, и т. д. Въ женскомъ монастырѣ живопись получше, въ томъ же родѣ.

— Хороша?

— Не дурно!—похвалилъ я.—Только зачѣмъ-же, вотъ этотъ господинъ ветчину кушаетъ, когда ему уже въ самую пасть змѣй влѣзъ?

— Это змій иносказательный, это змій невидимый... Это грѣхъ — въ видѣ змія! Самоучка писалъ все, но, впрочемъ, сто рублей взялъ!—вздохнула Варлаама

— И самоучка-то какой, все-бы ему работать. Пріѣдетъ какой-нибудь художникъ въ Ѣлецъ—онъ сейчасъ къ нему. Даромъ—въ лакеи. Краски ему трети, ходитъ за нимъ, а самъ въ это время учится. Самъ учится!.. Одинъ изъ Петербурга иконописецъ былъ — удивлялся. Большой, говоритъ въ тебѣ талантъ сидитъ!

— Что-же онъ его не взялъ съ собою?

— Денегъ просилъ, а у Петрова денегъ не было. Только вотъ на этой картинѣ изобразилъ что-то не подобное. Ишь, у него въ геену-то кто идетъ—монахи и митрополиты. Ужъ мы думали, думали, держать-ли ее здѣсь? Какъ-бы не вышло что!.. А то вдругъ звѣря нарисовалъ: верблюдъ, говоритъ, а какой верблюдъ, если у него двѣ головы и шесть ногъ!..

Что-жъ, впрочемъ, удивляться художнику, если одна изъ спасавшихся здѣсь монахинь, побывавшая въ Іерусалимѣ, въ своемъ наивномъ разсказѣ когда-то еще и не такихъ чудовищъ изображала. Россія, видите-ли, по ея словамъ, отъ Іерусалима отдѣляется громадною пропастью: «и бездна имя ей есть»! Такая пропасть, что моста чрезъ нее построить нельзя: днемъ построютъ, а ночью явится «нѣкто водопламенный» и весь мостъ рушитъ. Ну, такъ роль моста исполняетъ особливый, отъ самаго Бога къ этому дѣлу приставленный, вельбудъ (верблюдъ). Этотъ вельбудъ, кромѣ величины своей (араратскій вельбудъ, матушка, араратскій! Подъ самимъ Ноемъ ходилъ), отличается еще тѣмъ, что онъ при жигалѣ стоитъ. Сядутъ на него паломницы, а «нѣкій мужъ», съ этого края, возметъ жигало съ жаровнею и прямо его его чгаломъ въ спину. Онъ и перемахнетъ на

ту сторону, а тамъ другой «нѣкій мужъ», опять съ жаровнями жигало — туда-же. Верблюдъ совершаетъ путешествіе обратно.

— У насъ какія есть инокини,—разъ одна бѣса поймала...—разсказывала мнѣ впослѣдствіи мать Александра, монахиня одного изъ монастырей этой-же полосы.

— Какъ бѣса?

— Такъ, идетъ старушка Божья вечеромъ, этакъ часовъ около восьми—вдругъ—искушеніе! Кто-то черный съ хвостомъ и рогами — шасть мимо. Ну, послушница какая испугалась-бы, а монахинѣ бѣса трепетать никогда не слѣдуетъ, потому она, монахиня-то, всѣми молитвами противу него, нарывца, вооружена достаточно. Замѣтила она, что бѣсъ-отъ прямо къ молодой дѣвицѣ одной, Евпистиліи, прибѣжалъ. Старушка туда — не дошла еще до крылечка, а Евпистилія уже и летитъ къ ней на встрѣчу. Летитъ—на ней лица нѣтъ.

— Что ты?—спрашиваетъ.

— Матушка Іулита!.. У меня-то бѣсъ проявился...

— Какой бѣсъ?

— Настоящій, съ хвостомъ. Онъ, Господи, силушки моей нѣтъ... То-то кѣцей (конецъ) я все во снѣхъ видѣла... Бросился на меня бѣсъ и давай цѣловать!

— А, такъ вотъ онъ бѣсъ какой! У тебя крыльцо-то съ наружи запирается?

— Какъ-же!

— Пойдемъ — запри. А сама постой, постереги его, чтобы не выскочилъ!

— Боюсь я... А какъ онъ меня жупеломъ!

— А ты молитвы читай. Да воскреснетъ Богъ!.. Я сейчасъ назадъ...

Стала послушница у крыльца, а мать Іулита съ двумя инокинями—дородныя да сильнѣющія онѣ были у насъ, Анастасія и Екатерина. Взяла ихъ — нарвали онѣ крапивы по угламъ, розогъ взяли. Вербы у насъ,—а на вербахъ вѣтки мягкія. Приходятъ, сидитъ бѣсъ,—спрашиваетъ?—Сидитъ... Ну, и чудесно... Сначала мы ви-

славу Господню засвидѣтельствуемъ. Входятъ онѣ въ келію—никого нѣтъ; ищутъ бѣса—нѣтъ бѣса. Но тутъ матушкѣ Іулитѣ страшно стало... Вдругъ самая эта Епистилія, какъ взвизгнетъ. А она это къ кровати подошла, чортъ изъ-подъ нея и поймалъ послушницу за ногу. Сейчасъ Анастасія съ Екатериной—половыми щетками его оттуда выгнали и поставили его посередь келіи. Оградились крестомъ честнымъ, святой водой на него брызнули—бѣсъ и затрепеталъ. Что вы, говоритъ, святыя дамы, сдѣлать со мной хотите? Если что неподобное, то лучше помыселъ свой оставьте, потому я губернскій секретарь,—это въ рогахъ-то и съ хвостомъ. Матушка Іулита, не удостоивъ его отвѣтомъ, сняла съ повстанца псалтирь и давай читать. А монахини съ послушницей стали хлестать его, Анастасія и Екатерина его сѣкутъ въ славу Божію, а Епистилія съ молитвой прямо въ его поганую рожу крапиву тычетъ. Похлестали съ часъ. Сталъ бѣсъ на колѣни и говоритъ: святыя дамы, отпустите меня!—А въ Бога вѣруешъ?—спрашиваютъ.—Вѣрую.—Честныхъ иноkинь, слабыхъ да убогихъ соблазнять будешь?—Никогда!—Ну, если никогда, тогда же легче будетъ. Сейчасъ его Анастасія за хвостъ и закрутила, а Екатерина, ревнуя о Господѣ, опять его лозой! Визжитъ нечистая сила и чѣмъ громче визжитъ она, тѣмъ громче Іулита псалтирь читаетъ. Потомъ его Екатерина за хвостъ, а Анастасія розгами сѣчь... Сѣкли, сѣкли,—устали. Опять,—въ Бога вѣруешь? Вѣрую! Читай «Отче нашъ».—Прочелъ. Читай Символъ вѣры—и Символъ прочелъ.—Отдохнули иноkиня—опять его за хвостъ, опять сѣчь. Такъ до самой полуночи драли бѣса. Но потомъ еще вящшее посрамленіе ему устроили Послали за полиціей и къ исправнику отправили Вотъ у насъ иноkини какія!

Не повезло въ другомъ уѣздномъ монастырѣ и становому приставу.

Ѣхалъ разъ такой: видитъ, большая корзина со стѣны спущена на веревкѣ. А у обители испортилась стѣна, такъ [illegible]кладывали въ корзину, а иноkини ее притя-

гивали кверху. Мужики, складывавшіе кирпичъ, ушли; корзина и висѣла такъ, пустая. Становой-то пакостникъ былъ, думалъ, не послушница-ли какая друга ждетъ. Извѣстная вещь, что бѣсъ непрестанно вокругъ обители ходитъ и все свои подлые ковы строитъ. То тоску возжигаетъ въ инокиняхъ, то злобу, то зависть, а не можетъ,—такъ онъ, сквернавецъ, озлобленіе плоти и естественную брань въ нихъ возбуждаетъ. Какъ это становому втемяшилось въ голову,—онъ сейчасъ остановилъ ямщика, сѣлъ въ корзину и кричитъ: «подымай съ Богомъ». Подняли его монахини, и вдругъ, вмѣсто кирпича,—жгуты на плечахъ и золотыя пуговицы, съ усами. Взвизгнули матери, а онъ имъ поцѣлуй изъ корзинки ручкой дѣлаетъ. Ну, между монахинями тутъ одна оказалась глубокаго ума. Она сейчасъ же распорядилась спустить корзину до половины стѣны. Ни вверхъ становому, ни внизъ... Висѣть надобно,—больше ничего. Сейчасъ монахини давай его водой поливать. Лили, лили, потомъ домой пошли. А становой виситъ. Виситъ часъ уже. Вернулись крестьяне съ кирпичемъ — корзинки-то нѣтъ, на верху корзинка со становымъ. Они ему—слѣзай, ваше благородіе, а онъ имъ,—какъ я, подлецы этакіе, слѣзу, снимите... А они ему — никакъ намъ васъ снять не возможно... Изъ села Пупырей народъ сбѣжался, видятъ, становой виситъ. Ничего, гулянье какъ-бы внизу устроилось. Сталъ тутъ кричать становой—его съ верху опять водой полили. Въ городъ дали знать. Изъ города дамы въ экипажахъ наѣхали, — любуются тоже. Время было глухое, ни театровъ, ни концертовъ, обрадовались этому. Исправника, наконецъ, подняли. Прискакалъ онъ.

— Что вы тамъ дѣлаете?..—По долгу службы,—отвѣчаетъ становой—вижу корзина, я и влѣзъ... Ну, а теперь, что вы дѣлаете?—Теперь сижу.—Слѣзайте! А слѣзть не могу, инокини не спускаютъ. Сколько усилій стоило уговаривать ихъ освободить рискнувшее на воздухоплаваніе начальство.

Обители здѣсь, вообще строгія.

— Сейчасъ, я покажу вамъ одну промышленность нашу!—Настенька, сбѣгай-ка узнать—мать Митрофанія дома или нѣтъ?

Та-же рыженькая красавица опрометью бросилась исполнять порученное ей «послушаніе».

— Дома, пожалуйте!—мигомъ вернулась она.

Мы вошли въ маленькій домикъ. Въ немъ три крохотныхъ комнатки. Пахнетъ ладономъ и еще чѣмъ-то противнымъ ужъ очень.

— Что это у тебя?..—поморщилась Варлаама.

— Что?

— Пахнетъ какъ?..

— Это, матушка, отъ топлива нашего. Совсѣмъ согрѣво не подходящее, мы вѣдь съ кожевень покупаемъ,—обратилась она ко мнѣ,—выдѣланную уже кору дубовую—лузгу. Прежде ее въ ровъ выбрасывали—никуда она не годилась. Ну, а теперь, какъ лѣсомъ-то всѣ пооскудѣли, и бѣдность пошла—и лузга въ чести. На дрова-то у меня средствія нѣтъ, гдѣ взять...

— Ужъ очень бѣдны мы!—вздохнула мать Варлаама.

— Такъ бѣдны, такъ бѣдны, ужъ чѣмъ только живемъ! Такъ вотъ, вмѣсто дровъ, я вотъ эту щеноть дубовую и покупаю.

— Почемъ нынче?

— Ахъ, матушка,—сокрушенно заныла Митрофанія,—какъ-бы вы думали? Вѣдь, по девяносто пять копѣекъ съ воза!—съ ужасомъ всплеснула она руками.—Охъ, тяжко, тяжко!

Мокрое сырье это, оказывается, ближайшими кожевенными заводами доставляется въ обитель. Цѣлое лѣто бѣдныя монахини, не имѣющія средствъ на покупку дровъ, заняты сушкою этой лузги. Грабли на плечи и вплоть до заката солнца ворочай эту вонючую массу!...

— Много на это силы да здоровья уходитъ!

Мать Митрофанія ничего кромѣ кельи не имѣетъ. Ей приходится жить своимъ трудомъ. Прежде она кружева плела, но съ тѣхъ поръ, какъ больный трудъ отбилъ

это производство у монастыря, Митрофаніи пришлось искать другого. Она и нашла. Теперь монахиня дѣлаетъ ризы къ иконамъ изъ фольги и цвѣты изъ шерсти и бумаги для церквей и по частнымъ заказамъ.

— Ну, и идетъ дѣло?

— На хлѣбъ пока хватаетъ... Богъ, да добрые люди даютъ...

Мать Митрофанія она изъ самыхъ красивыхъ монахинь, какихъ я когда либо видѣлъ. Высокая, статная, съ родинкой на правой щекѣ, съ полными огня черными глазами. Она дочь купца, который ей не даетъ ничего. Обыкновенная исторія! Уйдетъ человѣкъ отъ деспотизма—его донимаютъ, предоставляя на произволъ судьбы. Хотѣли замужъ выдать, вѣрно за нелюбимаго человѣка, ну, и предпочла, бѣдная, вѣчное молчаніе своей кельи—этому сытому и жирному довольству съ безотвязнымъ и противнымъ мужемъ. Слава Богу еще: для русской мѣщанской или купеческой семьи есть хоть это спасеніе отъ тиранніи и вѣчнаго гнета. Иначе была-бы одна дорога,—избранная Катериной Островской — прямо въ воду! — Работаетъ Митрофанія—самыми примитивными орудіями—ножницами и рукой. Она и льетъ, и золотитъ фольгу.

— Все сама, иначе-бы и жить нечѣмъ! Рѣжетъ фольгу для окладовъ и защипываетъ. Ни штамповъ, ни пресса. За то просторъ личному вкусу. Не отъ того-ли ея работы и выходятъ такъ удачны? Я видѣлъ цѣлый рядъ иконъ, отдѣланныхъ такимъ образомъ; выходитъ и красиво, и необыкновенно легко. Она же дѣлаетъ и цвѣты изъ бумаги.

— Папиросную бумагу покупаю и крашу сама. Мнѣ и послушаніе такое дано—убирать фольгой и цвѣтами образа къ праздникамъ... Съ весельемъ и радостію дѣлаю. Сердце лежитъ къ этому!

Всматриваясь въ нее, слушая интонацію ее голоса, удивленіе мое ростетъ все больше и больше. Молода, здорова, красива, а между тѣмъ, какая установившаяся монахиня. Видимо, никакихъ порываній, никакой «естественной брани», все улеглось и успокоилось. Закосте-

нѣла—тогда, когда другія только жить начинаютъ, когда страсть въ душѣ кипитъ, огонь по жиламъ льется!.. Съумѣетъ-же человѣкъ такъ себя замкнуть и захолодить, что и весеннее солнце не согрѣетъ его своей благодатною нѣгой. И, вѣдь, довольна, счастлива, ничего иного не хочетъ. Нѣтъ, впрочемъ, хочетъ—ножницы плохи и тупы стали; нужно-бы новыя купить!.. Да не на что... Еще папиросная бумага для цвѣтовъ толста очень, найти-бы еще потоньше... Слушаемъ и не вѣримъ!..

— Я даже не вѣдаю, какъ Господа благодарить... Вѣдь, все сама, матушка, все сама! Ничего не знала прежде—доходила—доходила и дошла! Ну, и рада безъ памяти, слава тебѣ, Господи!

— Кому вы это дѣлаете теперь?

— Благородная дама одна заказала. Очень ей нравится узоръ такой для оклада. И инструмента всего у меня, что ножницы да булавки. Въ монастыряхъ у насъ и способности сказываются. Въ мірѣ — мужъ, дѣти. Когда мужа нѣтъ — отецъ хмурый ходитъ... Голова кругомъ!

— И работа же у васъ кропотливая.

— Господь требуетъ терпѣнія!—нравоучительно отвѣтила она.

Смотрю на окна, цвѣты... Герань разбросала свои листья, плющъ подъ потолокъ забрался и раскинулся на немъ... Жасминъ, вотъ, въ углу... Чистота необычайная. Въ слѣдующей темной комнатѣ лампады горятъ предъ образами... Тускло отражаются робкіе огоньки ихъ на вздрагивающей ажурной фольгѣ такихъ же окладовъ. Варлааму, очевидно, любятъ здѣсь. Митрофанія слишкомъ уже ласково въ глаза ей смотритъ. Варлаама, вообще, для обители нужный человѣкъ. Во-первыхъ, работаетъ много, и такую работу, гдѣ грамотность и образованіе нужны. А, во-вторыхъ, натура талантливая, не мало послужившая въ пользу общаго дѣла.

— У насъ мать Варлаама—настоящій министръ!—говорятъ монахини.

— Золотая головка. До чего другому еще способно

додумываться надо, а она, глядишь, уже дошла! — Ужасно страненъ этотъ своеобразный мірокъ, всѣ эти молодыя и красивыя дѣвушки, отрѣшившіяся отъ міра, возненавидѣвшія его. Вотъ, напримѣръ, одна, поблѣднѣлая, чахлая, только глубокіе синіе глаза живутъ за все ея бѣдное больное тѣло.

— Вся думка моя въ монастырѣ была,—объясняетъ она.—Родители не пускали, женихи все ходили къ намъ!

— Ну, и что же?

— Бѣгала я отъ нихъ, били меня за это... Противно мнѣ казались на мужчину взглянуть. Пять мѣсяцевъ безъ платья подъ замкомъ держали. Сломить хотѣли, а во мнѣ что-то такъ и росло, говорило: «претерпи, претерпѣвый спасется». Наконецъ, тятенька, разъ, взяли да и выгнали меня, коли такъ, говоритъ, ступай, куда хочешь. Я тебя и знать не буду. Я сейчасъ сюда... Съ дѣтства меня обитель манила. Все-то главы церковныя въ глазахъ, благообразное пѣніе слышу... Засну, бывало,—во снѣ вижу себя монахиней, а кругомъ ладанъ облаками.

— Чѣмъ-же вы здѣсь живете?

— Работаю... золотомъ шью по бархату. Я рукодѣльница. У насъ безъ работъ не проживешь. Не глядите, что четыреста монахинь—монастырь убогій. У насъ, какъ бываетъ: явится послушница, живетъ, пока родители помогаютъ, разсорятся родители—уходи вонъ...

— Отчего состоятельныя не помогаютъ?

— Не хватитъ у самихъ. Кто побогаче, у тѣхъ погляди-ко, сколько бѣдныхъ живетъ. Вотъ новый изъ хорошаго дуба выстроенъ домъ. Кругомъ запертъ.

— Кто живетъ здѣсь?—спрашиваю у матери Варлаамы.

— Монахиня. Изъ благородныхъ она. Сейчасъ я познакомлю васъ... У нея увидите, какъ у насъ золотомъ шьютъ!

Вошли. Чистота, нѣкоторая роскошь даже. Пахнетъ ладономъ, образа въ серебрѣ и золотѣ. На стѣнахъ—недурныя картины, разумѣется, содержанія библейскаго. На полу коврики.

— Кто это писалъ?

— А все таже мать Есфирь, которую вы видѣли въ живописной школѣ нашей!

Вотъ, напримѣръ, Христосъ, идущій черезъ море. Кисть не умѣлая, техники нѣтъ совсѣмъ, но за то есть то, что никакимъ умѣньемъ не дается: внутренній смыслъ, душа картины. Талантъ поразительный. Даже мать Варлаама засмотрѣлась.

— Какъ есть! Яко и море и вѣтры повинуются ему!

Хозяйки еще не было.

— Какъ зовутъ ее?—спрашиваю.

— Г-жа Щербачева—курская помѣщица. Отецъ ея предводителемъ!

Пришла она—милая женщина, забываешь о ея монашескомъ костюмѣ. Несмотря на нѣкоторое богатство, работаетъ тоже, не складывая рукъ. При мнѣ золотомъ шила по голубому бархату —все для того же убогаго монастырскаго собора. Въ комнату поминутно шмыгали послушницы—бѣдныя дѣвушки, живщія на ея иждивеніи... Какая разница, вообще, съ мужскими монастырями. Тамъ, какъ-бы ни былъ богатъ инокъ, у него въ кельѣ, если только онъ не настоятель и казначей—грязи не въ проворотъ, здѣсь—напротивъ. Куда не заглядывалъ я, къ бѣднымъ и богатымъ, часто видна нищета, но за то все педантически чисто, все прибрано. Что есть, то поставлено съ чисто женскимъ вкусомъ. И постели также. Грубое сукно, грубые коты, грубая скуфья. Холстъ, хоть шей изъ него палатки—но ни пятнышка, ни одной заплаты...

— Ну, что мать, Варлаама,—обратилась къ ней хозяйка.—Составили вы планъ?

— Послѣ, послѣ!—покраснѣла моя путеводительница. Сконфузилась, очевидно.

— Что-же скрывать-то... дѣло доброе. Вы знаете у насъ мать Варлаама архитекторъ!

— Какъ это?

— Такъ. Планы составляетъ, чертежи; за постройками

наблюдаетъ. Вотъ она какая! Мать Варлаама, все краснѣя, только отмахивалась.

— Такъ я... По простотѣ. Искушеніе съ вами, право!

А простота эта оказалась положительно врожденнымъ талантомъ; послѣ мнѣ показывали постройки, сдѣланныя по ея чертежамъ. Онѣ и легки, и прочны.

— Вотъ-бы церковь намъ перестроить зимою!

— Денегъ нѣтъ!

— Томленіе въ церкви у насъ, томленіе! Монахинь четыреста придутъ, да мірскія тоже, а церковь низенькая. Мірскимъ то голоса наши нравятся. Поютъ у насъ ужъ очень хорошо. Такъ поютъ,такъ поютъ. Только отъ тѣсноты да отъ жары скоро портятся голоса. Ревматизмъ!.. Онъ, горе, горе, скудность наша лютая... Отворятъ двери-то изъ церкви; такъ оттуда клубами бѣлый паръ, что твои облака Мы, вѣдь, какъ? У насъ концерты Бортянскаго исполняются безъ затрудненія!

— Кто же учитъ?

— А тоже мать Варлаама. Она изъ института, музыку-то знаетъ, вонъ какъ! Она научно-приготовляетъ пѣвчихъ. Вѣдь и голоса какіе. Иная у себя въ кельи поетъ, а ее въ деревнѣ слышно!

— Басы какъ же у васъ?

— У насъ есть свои басы!

— Какіе?

— Монахини. Чего вы смѣетесь? У одной дѣвушки изъ Ливенъ такая октава... А мать Марія? Старуха, шестидесяти пяти лѣтъ. Послушали-бы вы, какъ она басомъ поетъ. Діаконъ одинъ даже разъ изъ-за нея сколько сраму набрался. Взяла она низко, низко что-то—тотъ и разинулъ ротъ, а ему возглашать слѣдовало. Стоитъ и молчитъ, на мать Марію таращится. Ужъ ему священникъ изъ алтаря крикнулъ. Такъ онъ только тогда опомнился! Вотъ у насъ, какія пѣвчія. Вы какъ-бы полагали? Да вы не смѣйтесь! Пожалуйте къ намъ къ обѣднѣ—услышите сами...—Пріѣхалъ и услышалъ. Дѣйствительно, діаконъ долженъ былъ озлобиться!..

Я вынесъ изъ монастыря очень неопредѣленныя впечатлѣнія. Сильные люди, крупные типы—идутъ на отрицаніе жизни. Вся энергія, всѣ таланты, вся чудовищная воля направлена на то, чтобы заморить въ себѣ человѣка. И вѣрно нужно это, должно быть, идеалы аскетизма свѣтятъ народу, понятны ему, если онъ бѣжитъ сюда искать правды, какой ему не найти въ мірѣ. Эти сотни несчастныхъ дѣвушекъ, бросившихся за эти стѣны и затворы искать свободы и ласки, въ которыхъ имъ отказала семья, эти другія сотни, которыя, напротивъ, принесли сюда свободу и сдали ее, какъ тяжелое изнурительное бремя. Жизнь въ проголодь, вѣчный трудъ ради нѣсколькихъ минутъ экстаза. Тишина и уединеніе въ годы, когда жизнь требуетъ шума и движенія. Есть же въ этомъ смыслъ и сила—однимъ изображеніемъ праздныхъ монаховъ да разсужденіями о безполезности монастыря—съ вопросомъ не покончишь. Я видѣлъ много монастырей, и всѣ они имѣли подъ собою почву,—Соловки, Валаамъ, Святыя горы—не чужеядными растеніями выросли среди народа и еще вопросъ, кто тому помогъ больше—они ему, или онъ имъ. Въ старое время, куда спасался крѣпостной, замученный рабъ, гдѣ онъ находилъ права и достоинства человѣка—на Ладожскомъ озерѣ или на бѣломъ морѣ, на Валаамѣ или въ Соловкахъ! Куда теперь уходитъ рабочій, и гдѣ его изобрѣтательность, геній, если хотите, развертывается въ полномъ блескѣ,—все тамъ-же! Куда дѣваться ливенской или елецкой мѣщанкѣ отъ побоевъ отца, отъ пріятной перспективы драчливаго и пьянаго мужа, куда ей уйти изъ темнаго царства русской средней семьи? Уничтожьте сегодня каменно-горскую обитель и—завтра станутъ кидаться въ Сосну мѣстныя Катерины. Вѣдь прорубь-то, все-таки, легче жизни подъ вѣчными побоями, въ безвыходномъ страхѣ,—жизни, гдѣ даже ласка является насиліемъ болѣе крѣпкаго и болѣе могучаго животнаго!.. Кабинетнымъ отрицаніемъ ничего не подѣлаешь въ вопросахъ, которые ставитъ жизнь.

СВЯТЫЯ ГОРЫ.

I.

Путь къ монастырю.— Соловьиная ночь.

Еще за-свѣтло выѣхали мы изъ тихаго, спящаго у своихъ соляныхъ озеръ Славянска. Позади смутно рисовались темные силуэты градирень и высокія, едва опушившіяся весеннею зеленью, березки съ черными шапками грачиныхъ гнѣздъ. До Святогорскаго монастыря было верстъ около четырнадцати. Пустынная дорога, пустынные луга по сторонамъ, только и оживляемые тѣсно сбившимися отарами, когда то помѣщичьихъ, а теперь перешедшихъ въ еврейскія руки овецъ. Заходящее солнце обливаетъ окрестности косыми лучами. Надъ нѣжною мелкою травой точно вздрагиваетъ золотистое пламя... Какая то рѣченка мерещится огнистымъ зигзагомъ—далеко-далеко, тамъ, гдѣ поля уже слились съ небомъ въ таинственные голубые сумерки... Прощальное сіяніе умирающаго дня зыблется и на придорожномъ озеркѣ, мимо котораго, мягко шурша по пыльному пути, катится нашъ экипажъ.

— Это все монашеское!—махнулъ рукою кругомъ мой спутникъ, когда мы отъѣхали верстъ десять отъ Славянска.

— И поля, и луга?

— Да... Прежде иноки сами хлѣбопашествомъ занимались, ну, а какъ пошли неурожаи, они и сдали крестьянамъ... У насъ крестьяне малоземельные, бѣдные. Промысловъ скудость. Соляной едва-едва кормитъ только... Да и тотъ для горожанъ. У насъ случается, что съ

крестьянина сходитъ податей и всякихъ сборовъ больше, чѣмъ онъ заработаетъ въ годъ!

— Кто же выручаетъ?

— Обитель. Кабы не она—помирай! И землю арендуютъ у монаховъ. Монастырю лучше и желать нельзя. Посѣвъ крестьянскій, а четверть урожая—обители...

Безоблачный день скоро смѣнился ясною лунною ночью... Дорога отъ фермы, тоже принадлежащей инокамъ, пошла по откосу крутой горы. Ущелье внизу сплошь заросло сосновымъ боромъ. Свѣтъ мѣсяца зыблется только на верхушкахъ деревьевъ — подъ нами. Глыбами матоваго серебра кажутся попадающіяся по дорогѣ мѣловыя скалы. Пахнетъ ночными фіалками, поднявшимися на горныхъ скатахъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ оглушительнѣе орутъ лягушки. Въ этихъ лощинахъ и болотинахъ, по рѣкѣ Дону и его притокамъ—міріады ихъ. Ни одной минуты тишины; концертъ продолжается до утра, и кажется, что каждая изъ пѣвицъ старается особенно отчетливо выдѣлывать свои однообразныя рулады. Впрочемъ, всякій, кто былъ здѣсь, согласится со мною, что, въ общемъ, это вовсе не такъ непріятно, какъ можетъ показаться... Вонъ вдали мелькнула облитая луннымъ блескомъ церковка и снова спряталась въ чащу деревьевъ. За нею пошли рощи, запахло дубовою порослью, и послышалась соловьиная пѣсня... Сначала рѣдкая, отрывистая, пропадавшая въ лягушечьемъ концертѣ, но чѣмъ ближе къ Донцу, тѣмъ все болѣе и болѣе громкая. Скоро вокругъ насъ пѣли тысячи соловьевъ. Я не знаю, съ чѣмъ сравнить эти звуки ночи. Не хотѣлось говорить вовсе, только слушалось... Соловьиная пѣсня какъ-то странно улаживалась здѣсь съ ораньемъ лягушекъ. Оно какъ-будто составляло фонъ, на которомъ выдѣлывали свои поэтическія трели неутомимые пѣвцы красивой Украйны... Понятіе о ночи не могло здѣсь ужиться съ представленіемъ о тишинѣ. Ночь была крикливѣе дня; точно каждый листъ этихъ задумчивыхъ рощъ проснулся подъ волшебнымъ свѣтомъ мѣс[illegible]еталъ, и пѣлъ намъ на встрѣчу... И что

за очаровательная дорога шла передъ нами. Отсюда она уже прорыта на мѣловой горѣ. Серебромъ блещетъ подъ луною, голубыми сумеречными тонами уходитъ во тьму... Слѣва—стѣна мѣловаго откоса, справа—обрывъ въ соловьиную чащу.

Мы вышли изъ экипажа.

— Вы знаете здѣшнее повѣрье о соловьѣ и кукушкѣ?—спросилъ меня мой спутникъ.—Кукушка, видите ли, влюблена въ соловья, поэтому и кладетъ яйца въ чужія гнѣзда... Соловью тоже некогда вить, онъ все поетъ... закрывши глаза поетъ—самого себя слушаетъ. Народъ вѣритъ, хотя мальчишки сотнями истребляютъ соловьиныя гнѣзда... Вообще здѣсь кукушки подзадариваютъ соловья, лѣтомъ иногда начнетъ куковать,—соловей, озадаченный, смолкнетъ на минуту, но потомъ, точно раздосадованный, зальется такою трелью, что кукушка недовольно отлетаетъ прочь.

Монахи выбрали себѣ самыя лучшія мѣста. Самыя красивыя, самыя живописныя. Основатели обителей несомнѣнно были поэтами. Въ этомъ соловьиномъ царствѣ они взяли себѣ прелестнѣйшій уголокъ. Да и вообще, куда не загляснешь—если стоитъ обитель, значитъ, болѣе поэтическаго, болѣе красиваго мѣста по всей округѣ нѣтъ. Разумѣется, я говорю не о подгородныхъ лаврахъ позднѣйшаго времени. Эти основывались съ иными цѣлями, не имѣвшими ничего общаго съ намѣреніями древнихъ иноковъ, обрѣтавшихъ мѣста для своихъ пустынь среди первобытнаго захолустья...

— Зачѣмъ именно здѣсь поставлена обитель?—обратился я къ одному изъ монаховъ, попавшемуся намъ на пути.

— По указанію свыше!—Инокъ напиралъ на «о». Совсѣмъ волжскій говорокъ.

— Это же какъ?

— На темя горъ подобаетъ. Ближе къ Богу. Не сказано ли, «тако глаголетъ Господь: яко будетъ въ послѣдняя дни явлена гора Господня и домъ Божій на версѣ горъ,

и возвысится превыше холмовъ, и пріидутъ къ ней вси языцы, и пойдутъ языцы мнози и рѣкутъ: пріидите и взыдемъ на гору Господню и въ домъ Бога Іаковля и возвѣститъ намъ путь свой,—пойдемъ къ нему». Вы, по новой модѣ, поди, Ісаію не читали? Такими пустяками, по свѣтскому своему мудрованію, не занимаетесь? А? Современные люди?

— Отчего же?

— А коли, не въ примѣръ прочимъ, читали, то таковой текстъ у него во главѣ второй отыщете. Посему именно иноку равнина не подобаетъ. На низу намъ не добро быти. Вверху духъ питается, внизу — плоть, а духъ отягощается. «На верху горѣ даны бысть ему крылья». И этого текста не знаете?

— Не знаю.

— И не можете знать!—засмѣялся монахъ густымъ, жирнымъ, точно масломъ смазаннымъ баскомъ.—И не можете знать, потому не отъ куда. Ибо это я, по малоумію своему, изъ головы!.. И даны бысть ему крылья—да возлетитъ!

II.

Прошлое.

Успенскій монастырь у насъ почти неизвѣстенъ.

Мало кто изъ сѣверянъ посѣщалъ этотъ дивный уголокъ, хотя художникъ-природа создала въ немъ нѣчто дѣйствительно великолѣпное. Поросшія дубовыми лѣсами крутогорья праваго берега Донца возносятся здѣсь пятью громадными мѣловыми скалами, въ которыхъ человѣкъ, во время оно, пробилъ себѣ норы, ходы снизу вверхъ, спасавшіе его отъ нашествія половчанъ, отъ набѣговъ злой татарвы—пещеры на высотѣ воздушной, откуда на восемьдесятъ верстъ впередъ видны дремлющія подъ солнечнымъ свѣтомъ дали. Въ шестнадцатомъ столѣтіи, по преданію, здѣсь уже была обитель, а гораздо ранѣе на мѣловыхъ скалахъ и въ захолустьяхъ у лѣниво струяща-

гося Донца спасались отцы-пустынники, обрѣвшіе образъ святителя Николая. Имя «Святыхъ горъ» впервые оффиціально встрѣчается въ книгѣ большого чертежа, въ 1547 году. На Святыя горы въ то время уже выставлялась стража отъ городовъ Рыльска и Путивля, охранявшая эту окраину отъ крымцевъ. Филаретъ, архіепископъ харьковскій, полагалъ, что пещеры въ Донецкой скалѣ были ископаны ближайшими послѣдователями преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ; а въ XIV вѣкѣ здѣсь уже существовалъ монастырь. Убогій храмъ его, въ тѣ отдаленныя времена, былъ сплошь охваченъ кругомъ дубовою чащею; первымъ инокамъ приходилось бороться не только съ набѣгами кочевниковъ, но и съ могучимъ лѣснымъ царствомъ, наступавшимъ на обитель отовсюду безчисленными полчищами своихъ вѣковыхъ великановъ. Тѣмъ не менѣе, о началѣ монастыря, о томъ: «кто оное пустынное жительство изобрѣлъ и въ горѣ сей церковь устроилъ», никакихъ свѣдѣній болѣе или менѣе точныхъ нѣтъ «за многими татарскими нахожденіи и разоренія». Изъ Синодика Святогорскаго извѣстно только, что уже въ 1624 году черный попъ Симеонъ съ братіею получалъ здѣсь царскаго жалованья: ржи по двѣнадцати четвертей, овса по столько же, и между прочимъ, изъ «набацкихъ» доходовъ, денежнаго подаянія десять рублевъ. Въ одной изъ мѣловыхъ скалъ открыли глубокую подземную пещеру, въ которой, какъ оказалось, еще до основанія обители, былъ храмъ. Нѣсколько вѣковъ, въ безмолвіи и мракѣ ея, не слышалось ни одной молитвы, не теплилось ни одной лампады, и только лѣтъ сорокъ назадъ церковь возстановлена въ прежнемъ видѣ. Во времена оны, когда святые иноки заботились не объ одномъ благолѣпіи храмовъ и пріумноженіи благъ земныхъ, а стояли стражею на рубежѣ русской земли—и тутъ были нарыты монахами батареи, коими правили пушкари изъ черноризцевъ. Еще въ прошломъ столѣтіи въ монастырѣ хранились три мѣдныхъ и одна чугунная пушка. Воинственные монахи Святогорья, случалось, даже

у крымцевъ и нагайцевъ отбивали цѣлые косяки коней; а русскіе плѣнники, бѣжавшіе отъ мусульманъ, находили здѣсь вѣрный пріютъ. Какъ Соловки на сѣверѣ были изстари прибѣжищемъ для замученнаго крѣпостного мужика, такъ и Святыя горы на югѣ скрывали всѣхъ, гонимыхъ уніею, а порою и донцовъ, преслѣдуемыхъ царскими приставами. Въ одной изъ грамотъ, по этому случаю, даже изображено: «А буде донецкіе воры-черкасы учнутъ къ нимъ проситься въ монастырь для молепія—и они бы черкасъ въ монастырь не пущали и отъ нихъ отговаривались всякимъ обычаемъ». Впрочемъ, усердные молитвенники воры-черкасы не разъ и сами грабили монастырь. Такъ, въ 1644 году, они явились въ обитель, сначала отслужили молебны, честь честью, а потомъ, подумавъ, нашли, что пустынножителямъ, пріявшимъ на себя чинъ ангельскій, вовсе не къ лицу мірскія блага. По этому резонному соображенію, они ограбили монастырь до тла. Благочестивые донцы и послѣ не разъ облегчали такимъ образомъ инокамъ пути въ царствіе небесное. Они, впрочемъ, никому не давали пощады. Такъ, помолясь, они напали и на русскаго посланника, возвращавшагося изъ Царь-града, а немного спустя, умертвили ѣхавшаго въ Россію турецкаго посла съ его шестью сановниками. Въ тѣ времена Святогорскій монастырь стоялъ на крымской землѣ, и русскіе цари называли его обителью «что за чергою», т. е. за границею. Будучи, такимъ образомъ, передовымъ, зарубежнымъ форпостомъ нашимъ, Святогорье сослужило большую службу Россіи. Уже не говоря о томъ, что тысячи полоняниковъ-бѣглецовъ находили себѣ защиту за его стѣнами, на неприступныхъ скалахъ, игумены обители занимались еще чисто политическимъ шпіонствомъ. Они разузнавали о намѣреніяхъ крымцевъ и, не медля, доносили о томъ бѣлгородскимъ воеводамъ; посылали переодѣтыхъ и хорошо знакомыхъ съ татарскимъ обычаемъ полоняниковъ въ орду — и эти приносили тоже свѣдѣнія о силахъ, собиравшихся для набѣговъ на наши рубежи.

Татары, впрочемъ, не оставались въ долгу. Такъ, въ 1679 году, они напали на обитель и, встрѣченные огнемъ иноковъ, недурно управлявшихся съ пушками, взяли штурмомъ монастырь, обобрали его и увезли съ собою воинственнаго архимандрита Іоиля и братію... И впослѣдствіи не разъ «сакмы» воинскихъ людей чинили всякія обиды и уводили монаховъ въ полонъ. Зачастую св. отцы пускались въ погоню на ладьяхъ и на коняхъ и отбивали такимъ образомъ своихъ полонянниковъ. Въ это время уже монахамъ принадлежало множество угодій. Они владѣли всею землею по Донцу верстъ на пять кругомъ, къ нимъ были приписаны села, имъ были отказаны и рыбные ловы, и промыслы, и кладези Славянскіе, въ которыхъ и тогда уже добывалось достаточно соли. Особенно повезло въ этомъ отношеніи монастырю въ тяжелую годину 1718 г., когда «грѣховъ нашихъ ради, попущеніемъ Божіимъ моръ великъ начался въ Бахмутѣ и въ Тору, а потомъ въ Изюмѣ и въ окрестныхъ градѣхъ и селѣхъ». Въ эту пору обитель возсіяла, аки адамантъ, и мнозими пожертвованіями пріукрасилась.

— Да, тогда были благочестивые люди! — вздыхаютъ иноки о счастливыхъ временахъ лютаго мора...—И спасеніе душамъ своимъ получали... А нынѣ обитель — въ запустѣніи.

— Да вѣдь иноку нищета подобаетъ Помните притчу о верблюдѣ и игольномъ ушкѣ!

— Кая польза человѣку, аще весь міръ обрящетъ, душу же свою отщетитъ? Мы не о себѣ... Мы бѣдны, но пусть храмъ Божій будетъ богатъ, ему подобаетъ слава и великолѣпіе Намъ не надо! Мы не міряне, кои только о тѣлесѣхъ своихъ пекутся! Мы нищетою величаемся и униженіемъ возносимся!

Къ тому же времени относятся и возмущенія братіи, возставшей противъ своихъ архимандритовъ. Иноки, привыкшіе къ набѣгамъ въ татарскую сторону, тотъ же духъ отваги перенесли и на своихъ владыкъ, хотя дѣйствовали противъ нихъ болѣе въ современномъ вкусѣ—

доносами. Не подчинялся имъ въ обители, сіи «понесные старцы» посылали въ консисторіи различныя обвиненія противъ настоятелей, а когда сихъ послѣднихъ «за неумѣренные поступки» удаляли—братія еще болѣе превозносилась гордынею, за что въ 1738 и 1739 годахъ въ монастырѣ началась моровая язва: всѣ іеромонахи, іеродіаконы, монахи—померли, остались только два инока простыхъ, лѣтъ по сту каждому. Послѣ того обитель опять возсіяла. Въ нее даже явилось много префектовъ изъ харьковскаго колегіума и профессоровъ философіи, что продолжалось до просвѣщеннаго игумена Филарета Финевскаго, который былъ смѣщенъ за великодушное увольненіе монастырскихъ крестьянъ на свободу. При его преемникѣ обитель была закрыта, причемъ иноки и до сихъ поръ съ негодованіемъ поминаютъ, какъ «екатеринославскаго намѣстничества господинъ экономіи директоръ, нѣмчинъ Корбе, прибывъ въ оный монастырь самолично, все экономическое и церковное имущество описавъ, отобравъ и не давъ никому въ пріемѣ онаго росписки», монашествующихъ изъ монастыря выслалъ». Имѣнія монастыря, до 2,000 крестьянъ и земли съ 30,000 дес. лѣса, подарены Потемкину Это случилось въ 1787 году.

Только черезъ семьдесятъ лѣтъ возникла эта обитель на прежнемъ своемъ мѣстѣ, но уже въ иномъ видѣ. Нѣкогда, опираясь на свои историческія заслуги и экономическую мощь, монастырь былъ самымъ крупнымъ хозяиномъ въ краѣ. Все ему подчинялось, капиталы сами текли въ его кассу приношенія копились въ ризницѣ. Монахи варили и добывали соль, рыболовство и звѣроловство по Дону приносили имъ опредѣленный доходъ. На сотни верстъ чувствовалось вліяніе богатой обители, благопріятствовавшей крестьянству. Теперь подъ монастырь было отведено только 70 дес. земли, и записанъ на него капиталъ въ 10,000 рублей. Впрочемъ, униженное состояніе обители, какъ это будетъ видно изъ нашихъ очер-

жалось не долго.

Пока монахъ дѣлился съ нами свѣдѣніями о бурномъ прошломъ Святогорья *), дорога свернула направо, и далеко внизу открылся такой дивный уголокъ, что мы остановились, какъ очарованные. Представьте себѣ извивъ Донца, освѣщенный луною. Стѣны монастыря, колокольни и храмы, бѣлые среди черной рамки лѣса, какъ будто сползли къ рѣкѣ съ высокихъ горъ и пропали въ водѣ, оставивъ на спускѣ часовенки и церкви. Намъ сверху были видны дворы обители, блестящіе подъ лучами мѣсяца куполы, длинный рядъ келій съ черными окнами, кровли храмовъ, у которыхъ круглятся окутанные серебристымъ сіяніемъ раины каштановъ. Въ лѣсахъ и рощахъ вокругъ обители еще сильнѣе и громче разливаются соловьи, только мѣловыя горы стоятъ вдали, молчаливыя и величавыя, словно сторожа отъ кого-то эту чудную пустыню.

Лягушки внизу по Донцу орутъ во всю.

— Что твоя птица,—замѣтилъ инокъ.—Иная каналья такъ кричитъ, что всѣхъ превозвышаетъ своимъ гласомъ. Будто утка!

III.

Попъ на эпитеміи. — Гостиница.

На встрѣчу намъ попался оборванный попикъ. Впалые глаза страдальчески глядятъ на поблекшемъ лицѣ, руки и ноги развинчены—во всѣ стороны ходятъ. Онъ подобострастно поклонился монаху.

— Здравствуй, отче!—привѣтствовалъ его тотъ.

Попикъ поклонился еще ниже.

— Ну, что, писемъ нѣтъ?

— Нѣтъ... нѣтъ ихъ... нѣтъ, и не будетъ. Господи, Господи, Господи!—И попикъ какъ-то растерянно посмотрѣлъ на насъ.

— Богъ милостивъ!

*) Свѣдѣнія эти дополнены тѣми, которыя приводятся Филаретомъ, архіепископомъ харьковскимъ.

— Къ кому милостивъ, а къ кому...

— А ты не ропщи, неразумный!—И монахъ стукнулъ попика пальцемъ въ лобъ.—Тебѣ не дано понимать путей Его!

— Я не ропщу, отче... не ропщу... Червь я. Не ропщу, а воздыхаю! Отъ всѣхъ скорбей моихъ воздыхаю... Раздавленъ и изнеможенъ!

— Вотъ тоже,—безцеремонно указалъ на него инокъ,— на эпитимію къ намъ присланъ въ обитель. Жену имѣетъ, дѣтокъ!

— Пять дѣтокъ! Пять, отче!.. Охо-хо-хо!.. Пять, пять! Дѣтки малыя, неразумныя!

— А ты не ропщи! Ну, что заладилъ — пять! Богъ видитъ!

— Охъ, видитъ!—продолжалъ растерянно воздыхать тотъ.—Малыхъ... неразумныхъ...

Лицо его какъ-то задергало, искривилось. Изъ впалыхъ глазъ понуреннаго попика покатились слезы. Въ горлѣ захрипѣло что-то. Весь онъ точно осѣлъ разомъ.

— Охъ, видитъ... Пятеро, отче, пятеро! Благородные господа, пятеро! Гладны и хладны!.. Ножки у нихъ слабыя, что они могутъ? Охъ, пятеро!..

— Тоже,—желчно заговорилъ монахъ:—прислали къ намъ, а семья такъ осталась. Ни копѣйки у нихъ въ домѣ не было, какъ уходилъ. А нынѣ вѣстей нѣтъ; ни писемъ, ни вѣстей. Жестоко!.. А ты не ропщи!—опомнился онъ.

— Что ужъ роптать! Пятеро!.. Охъ, пятеро! Гдѣ-то... какъ-то головки мои?

— Что онъ сдѣлалъ?—спросилъ я потомъ у монаха.

— Разводку повѣнчалъ. Жену, разведенную за прелюбодѣяніе. Соблазнился—и повѣнчалъ. Очень ужъ жалко ему стало, ну, и сопрягъ. Имъ ничего, а его къ намъ. Попикъ смирный, немощной попикъ. А семью жалко, за жестоковыйность отчю—отвѣтствуютъ младенцы!

Вздохи этого попика до сихъ поръ слышатся мнѣ. Душа болѣла въ нихъ. Видимо, къ каждому бросался съ

своею скорбію этотъ несчастный, каждому повторялъ: «Охъ, пятеро!»

— Кому молиться-то? — вдругъ обратился онъ къ иноку уже совсѣмъ злымъ голосомъ.—Кому?

— Ишь, какъ въ тебѣ нераскаянность твоя мятется!

— Мятется, отче, потому ожесточенъ превыше мѣры. Гладные... Кто призритъ? Кто? Попадья недужная, болящая—куда ей!.. Охъ, головенки мои бѣлыя, ножки мои слабыя!.. Пятеро!

— Смирись, попъ, смирись. Господь призритъ!

— Смирялся я, отче! Но испытуй въ мѣру!.. Въ мѣру испытуй, не терзай свыше возможности! — кричалъ уже ожесточившійся попикъ, поднявъ впалые глаза къ небу, такъ что жиденькая трепанная бороденка вся выставилась впередъ.—Не терзай, ибо возропщу на тя! Воз-ропщу!..—переходилъ онъ опять въ рыданіе.

Тягучій ударъ колокола... другой... третій. Звонъ замиралъ гдѣ-то далеко, далеко за Донцомъ.

— Отца Мелетія не стало!—перекрестился монахъ.— Царство небесное! Со святыми упокой!.. О, Господи, пошли кончину праведную!

А позади шелъ себѣ, шатаясь, немощный попикъ въ гору. Видно, невыносимо въ кельѣ стало. Бѣлобрысенькія головенки дѣтей сновали передъ глазами, тьма давила, кроткая, слезная жалоба матери слышалась. Воздуху, наконецъ, дышать не стало отъ тоски, выбѣжалъ онъ и въ горы бросился съ своими кровавыми, отцовскими слезами.

— Вотъ и гостинница наша!—ввелъ меня монахъ-спутникъ во дворъ большого дома.—А вотъ и отецъ гостинникъ Іоаннъ. Богомольцы, господа благородные!—отрекомендовалъ насъ инокъ, передавая съ рукъ на руки.

— У насъ комнаты хорошія, просторныя!—таялъ гостинникъ.—Даже, которые простые богомольцы и тѣмъ всяческія предоставляетъ монастырь льготы... А для именитыхъ господъ мы по двѣ келіи отводимъ и постель даемъ... Сегодня вотъ только постели вамъ не будетъ. Тутъ одна боголюбивая харьковская помѣщица съ сы-

номъ пріѣхала—все подъ себя взяла. Вы уже потружайтесь на диванчикѣ. По простотѣ. По монашескому чину!

— Все равно намъ!

— Изъ окошекъ у васъ мѣстоположеніе... На Донецъ выходитъ. Ежели—и отворить можно, для воздуха!

— Клоповъ-то, клоповъ! — брезгливо замѣтилъ мой спутникъ.

— Клопы? Клопы у насъ есть, и сколько угодно!—успокоилъ насъ инокъ.—Дѣйствительно, этотъ звѣрь къ нашей обители очень приверженъ... Но отъ него и пользы не мало... для умерщвленія плоти и для бодрствованія!

Гостинникъ—очень бойкій и юркій монахъ, глаза котораго обладали замѣчательною способностью въ одно и тоже мгновеніе перебѣгать по лицамъ богомольцевъ, по ихъ багажу, по стѣнамъ кельи. Говоритъ съ вами и въ тоже время рукою машетъ въ окно послушнику.

— Коли вамъ что потребуется—вотъ онъ вамъ послужитъ... Потрудись, братъ Аѳанасій, для господъ!

— Не благословите-ли вы насъ самоварчикомъ?

— Отчего-же, можно! — И гостинникъ юркнулъ въ дверь кельи.

Комната была неказистая, но просторная—за окнами Донецъ и обступившія его рощи, залитыя такимъ лунным свѣтомъ, что при немъ легко можно было читать книгу. Листья ясеней серебрились, въ каждой струйкѣ рѣки отражался мѣсяцъ. Точно расплавленное серебро текло тамъ, внизу, подъ нашими окнами. Майскіе жуки шуршали въ воздухѣ и со слѣпу чмокались въ стекла. Теплынь, красота, благодать!

— Сосѣдка ваша, боголюбивая харьковская помѣщица, посылаетъ вамъ для души...—И гостинникъ подалъ брошюру съ какою-то проповѣдью.

— Кто она такая?

— Благочестивая госпожа... Десятый годъ вдовствуетъ—обителямъ благотворитъ... Ишь, кровопивецъ! У нея сынъ есть, семнадцати лѣтъ, и повѣрите-ли, такъ она его въ чистотѣ и непорочности доселѣ соблюла. . . . . .

Одна дочь ея въ инокиняхъ. Ангельскій чинъ сподобилась пріять. И по сейчасъ она съ сыномъ, ставъ на молитву въ девять часовъ, творитъ оную. А въ двѣнадцать часовъ ночи пойдетъ въ соборъ на утреню!

— Неужели у васъ утреня такъ рано?

— Въ полночь, ровно! Егда апостолъ Петръ Христа отрекся. Въ четырѣ часа ранняя обѣдня. Колоколъ васъ разбудитъ. Въ девять часовъ обѣдня поздняя, а въ двѣнадцать—милости просимъ отъ нашей скудости отвѣдать въ трапезную. Мы всегда обѣдаемъ въ полдень. Завтра полагается рыба—своя, свѣжая, изъ Донца. Въ пять часовъ—вечерня. У насъ богослуженіе истое... Пѣвчіе хорошіе. Изъ Петербурга одинъ сановникъ пріѣзжалъ, «Свѣти тихій» запѣли—восплакалъ. Очень уже въ немъ духъ возчесся отъ нашего пѣнія. Клиръ сладкогласный — у насъ даже пѣвецъ есть, говорятъ, изъ театра.

— Это какъ?

— А по слабости своей и по наущенію діаволю—ахтеромъ былъ. Но нынѣ исправился—хорошій монахъ сталъ. Находитъ на него—по горамъ свѣтскіе канты воспѣваетъ, ну, мы его смиряемъ тогда. Навозъ посылаемъ возить, ибо не подобаетъ иноку!..

— Молитвами святыхъ отецъ!..—послышалось у дверей.

— Помилуй насъ, Боже!—отвѣтилъ гостинникъ, и послушникъ внесъ самоваръ въ комнату.

IV.

Во дворѣ обители.—Трапезная.—Чайная.

Мнѣ не спалось. Лягушечій концертъ и соловьиныя пѣсни донимали до измору. Я вышелъ во дворъ гостинницы. Зданіе ея образовало правильный четыреугольникъ въ два этажа, одинъ фасадъ его—общія комнаты для простыхъ богомольцевъ, деревянный, на каменныхъ столбахъ, остальные три—кирпичные, прекрасно выстроенные. Къ Донцу выходили отдѣльные нумера, къ задней

стѣнѣ примыкала столовая и чайная для крестьянъ. Дворъ былъ ярко освѣщенъ луною, отъ стѣнъ падала тѣнь. Слышался храпъ оттуда, подхожу— масса богомольцевъ прямо на дворѣ расположилась въ повалку. Котомки подъ головы. Должно быть, въ общихъ комнатахъ душно стало... Издали—точно груды тряпья навалены; только, подойдя, замѣчаешь, что изъ подъ этихъ грудъ выбиваются руки и лица съ широко открытыми ртами. Дышатъ во всю здоровенныя груди. Псы тутъ же свернулись калачиками и повизгиваютъ во снѣ. Большинство этихъ богомольцевъ съ Дону пришло пѣшкомъ. У иныхъ посѣщеніе обители обратилось въ страсть. Какъ весною потянетъ, такъ и снимаются съ мѣста. Идутъ сырыми понизями, иной разъ по колѣна въ водѣ разливовъ. Не дождутся даже, когда спадутъ они. Случается, что у такой партіи богомольцевъ гроша за душой нѣтъ, но въ селахъ по пути ихъ кормятъ и поятъ. Этнографу я посовѣтовалъ бы провести лѣто въ обители, здѣсь онъ можетъ изучить всѣ типы южно-русскаго крестьянства. Каждый уголокъ Украйны и Новороссіи посылаетъ сюда своихъ представителей. Тутъ и обожженные солнцемъ греки изъ Крыма, и колонисты-болгары, разжирѣвшіе на льготныхъ русскихъ угодьяхъ, и медлительные хохлы, и станишники, и русскіе кацапы, гнѣздами засѣвшіе по Украйнѣ. Случаются даже и цыгане, хотя трудно сказать, что гонитъ ихъ сюда въ пеструю массу обычныхъ посѣтителей монастыря. Богомольцевъ кормитъ обитель за свой счетъ. Имъ полагается—кулешъ, щи, каша ячная, которыя готовятъ на особой кухнѣ монахи. Щи, разумѣется, безъ мяса, а каша безъ масла, изрѣдка только конопляннымъ смажутъ. «Для блеска», какъ выразился одинъ монахъ юмористъ. Ѣдятъ разъ въ день на иноческій коштъ, въ остальное время—хочешь, бери въ три дорога или въ лавкахъ монастыря, или въ арендуемыхъ у обители магазинахъ. Во дворѣ — цѣлые ряды торговокъ сидятъ съ разными немудреными явствами; у нихъ богомольцы скупаютъ все.

Самая трапезная для богомольцевъ отдѣльно отъ монастырской: длинная, громадная столовая. «Божій звѣрь», какъ говорятъ иноки, т. е. тараканъ, чувствуетъ себя здѣсь полнымъ хозяиномъ. На кухнѣ, въ трехъ котлахъ помѣщается 120 ведеръ щей, часто и этого, впрочемъ, не хватаетъ. Котлы эти привели бы въ неистовый восторгъ Петра Петровича Пѣтуха; ихъ работали по спеціальному заказу; въ одномъ, самомъ большомъ, варится 70 ведеръ, въ двухъ другихъ—по 25.

— Кладязи Авраамовы! —замѣтилъ монахъ, показывая мнѣ кухню.

— Почему же Авраамовы?

— Да люди тогда, сказываютъ, больше были, и историческія доказательства есть на то; каковъ, напримѣръ, долженъ былъ быть оселъ, если одною челюстью онаго Самсонъ перебилъ столько народу?

Квасная для богомольцевъ отдѣльно. Бочки—цѣлые дома. Въ столовой буфетъ каменный, за нимъ старикъ-монахъ, подслѣповатый ворчунъ.

Кромѣ этой столовой, монастырь выстроилъ для богомольцевъ чайную. Такая же громадная казарма, поддерживаемая двумя рядами столбовъ. Обитель даетъ отъ себя только посуду и кипятокъ, за буфетомъ опять монахъ.

— Мы тутъ мирволимъ рабамъ Божіимъ!

— Какъ же это?

— Чиновницъ, которыя есть, сажаемъ отдѣльно—по сословіямъ: кесареви кесарево воздаемъ. Вонъ за тотъ столъ чиновницъ, за этотъ которые попроще, а въ самомъ углу, ужъ если настоящіе господа пожелаютъ!

Чайная разсчитана на 350 человѣкъ, кипятокъ готовится въ двухъ кубахъ на 40 и на 50 ведеръ.

И это все обитель создала въ тридцать лѣтъ существованія, ничѣмъ не торгуя и ничего не производя.

Въ Соловкахъ положеніе богомольца гораздо лучше. Ему идетъ и уха, и рыбы въ волю, и хлѣбъ бѣлый. Тамъ они наѣдаются до отвала. Святогорье—экономи

и даетъ въ обрѣзъ, хотя зачастую богомолецъ, несмотря на свои лохмотья и истощавшій видъ, жертвуетъ въ пользу обители по нѣсколько сотъ рублей.

— Вонъ онъ, оборванецъ какой,—показывалъ намъ служитель гостинницы богомольца, къ которому подойти нельзя было.—Свинья-свиньей! А вчера пришелъ и на обитель восемьсотъ рублей прожертвовалъ. Вотъ и поймите его, каковъ онъ. Иные изъ нихъ побогаче, нарочно нищими одѣваются, по обѣту... Идетъ—подаяніе собираетъ, тѣмъ и кормится; а въ лохмотьяхъ-то у него сотни зашиты... Тутъ, въ одной обители, какое дѣло было! Станишникъ, казакъ, пришелъ и тысячу рублей пожертвовалъ. Свои-то знали его, диву дались, откуда у него благодать такая. Ну, онъ только молчитъ, ни слова. Потомъ уже оказалось. Это онъ, казачишка-то, полагая Господу Богу угодное сдѣлать, ограбилъ по дорогѣ госпожу одну и деньги эти цѣликомъ въ обитель, ни единой копѣйки на себя не истратилъ. Вотъ у нихъ какое понятіе. Усердія много, но и невѣжество притомъ неистовое. Необузданность въ нихъ эта торжествуетъ!

— Что-жъ потомъ съ этимъ казакомъ было?—заинтересовались мы.

— Богъ, ради обители, все же его вызволилъ изъ бѣды. Госпожа его простила и деньги въ обители оставила!

Усердіе богомольцевъ внѣ всякихъ сравненій. Хохлушки, напр., ночью выходятъ изъ келій женскаго отдѣленія во дворъ и тутъ цѣлые часы простаиваютъ, колѣнопреклоненныя на громадныхъ булыжникахъ, и молятся. Нѣсколько попалось и мнѣ.

— Повѣрите-ли, онѣ это и въ дождь—все равно! Больше, которыя безплодны. По вѣрѣ и исцѣленіе бываетъ. Иная три ночи въ грязи такъ-то выстоитъ, ну, а вернется въ домъ мужній и зачнетъ во чревѣ своемъ. Дѣвушки тоже, кои замужъ хотятъ... Наша обитель многимъ помогаетъ; мѣсто тутъ старое, намоленое. На каж[illegible]ѣ слеза лилась!.. Истинный домъ Божій!

Бабы, впрочемъ, молились очень оригинально: двѣ, напримѣръ, стоятъ рядомъ на колѣняхъ и въ перемежку съ молитвами переругиваются. Одна никакъ не можетъ забыть, что тетка у сосѣдки была колдунья; сосѣдка же очень резонно доказываетъ, что мужъ ея товарку укралъ у попа борова... послѣ такихъ антрактовъ онѣ съ еще большимъ жаромъ принимаются за молитвы и земные поклоны на видимый отсюда крестъ собора. Потомъ опять вдругъ выступаетъ на сцену зажиленная намиста, неизвѣстно куда исчезнувшій очипокъ.

— Я казала въ дому бери черевики, дакъ чижь буду въ чеботахъ!—слышится съ другой стороны голосъ также колѣнопреклоненной богомолицы.

А соловьи заливаются во всю, мѣсяцъ еще пуще разгорается надъ этимъ плѣнительнымъ уголкомъ Святогорскаго захолустья.

Не хочется идти въ душную келью.

V.

Утро на Святыхъ Горахъ.—Видъ монастыря.

Что за чудесное было утро, когда изъ душной кельи гостинницы я вышелъ къ Донцу. Берега поросли тюльпанами. Маслистый запахъ ихъ слышенъ далеко. Барвинки голубѣютъ повсюду, точно глаза украинской красавицы наивно улыбаются вамъ изъ густой чащи; желтыя головки полевой ромашки нахально выскакиваютъ изъ травы. Розовые кусты райскаго дерева словно хотятъ разорвать изгороди. Задыхаешься отъ аромата, что вѣетъ съ весеннихъ полей. Пушистая первая зелень на вѣтвяхъ, низко клонящихся къ водѣ. Щеглы задорно перекликаются въ ней, смѣнивъ заснувшихъ поэтовъ ночи—соловьевъ. На береговомъ пескѣ неподвижно стоятъ, глядясь въ воду, какъ въ зеркало, трясогузки... Точно гдѣ-то далеко-далеко дуетъ вѣтеръ по возморью,—жужжатъ пчела въ нѣжной листвѣ только что проснувшагося лѣса.

По Донцу перебѣгаетъ тѣнь отъ колышущихся вѣтвей. Вмѣстѣ съ тѣнью ползутъ по рѣкѣ плоты. Ползутъ, лѣниво поскрипывая... Много тутъ рубятъ лѣсу. «Изводятъ Донецкія чащи», жалуются монахи. Солнце еще не жжетъ—а только грѣетъ, любовно-ласково грѣетъ. Лучами его пользуется и разросшаяся куриная слѣпота, и суховатая южная фіалка... Лягушонокъ повисъ въ водѣ головой вверхъ—тоже наслаждается теплomъ и свѣтомъ.. Подойдешь—моментально налѣво кругомъ и бултыхъ на дно! Квакушки перекликаются одна съ другой... Здѣсь нѣтъ запаха морской воды, нѣтъ того простора, что въ Соловкахъ, крики чаекъ не будятъ безбрежной пустыни неба—за то природа улыбается вамъ такими красками, оглашаетъ васъ такими кипящими жизнью звуками и пѣснями, какихъ не знаетъ угрюмый, убогій сѣверъ... Чужда этому теплому лѣнивому югу суровая энергія поморянъ; не трудится здѣсь въ потѣ лица своего созерцательный инокъ. Не надуваетъ свѣжій вѣтеръ парусовъ кораблей, приплывающихъ съ отдаленнѣйшихъ каменныхъ береговъ океана... Вспѣненныя волны не бьются, какъ тамъ, въ гранитныя пристани, обдавая солеными брызгами богомольцевъ и, точно евангельская Марія, обмывая протянутыя къ самой водѣ подножія вѣковой обители... Едва струится задумчивый Донецъ, точно ему жаль разставаться съ этими тихими берегами... Точно не хочетъ онъ выйти изъ подъ тѣни этихъ зеленыхъ облаковъ весенней зелени...

Я уже говорилъ, что Успенскій монастырь сползъ къ Донцу.

Видъ его безподобенъ. Горный кряжъ поросъ дубомъ и сосною. На высотѣ—надъ зелеными облаками лѣса—куполъ церкви и ея бѣлыя стѣны. Ихъ полувоздушныя очертанія тонутъ въ синевѣ безоблачнаго неба... Нѣсколько ниже, горный кряжъ изрѣзанъ грудою мѣловыхъ скалъ. Синею тѣнью отдѣляются онѣ одна отъ другой. На нихъ платформа, надъ платформой небольшой монастырь св. Николая, съ колокольнями и куполами. Точно

корабль, плававшій въ просторѣ неба и остановившійся здѣсь на этихъ бѣлыхъ вершинахъ. Кругомъ балкончики, галерейки. Все это кажется микроскопическимъ, но еще меньшими кажутся черныя точки ползающихъ тамъ монаховъ. Скалы конусообразны. Внизу всѣ онѣ сливаются въ одну общую мѣловую массу, и только верхушки возносятся сахарными головами. Точно вся эта масса поднималась снизу вверхъ, чтобы достигнуть небесныхъ высей, и безсильная остановилась на полпути, сохранивъ въ самыхъ контурахъ свое стремленіе къ этой недосягаемой цѣли. Въ скалахъ—черныя точки подземныхъ келій, кажется, что это не утесы, а фантастическая бѣлая постройка циклоповъ. Отовсюду охвачена она зеленою дремою дубоваго царства; на темномъ фонѣ его, очертаніе бѣлыхъ конусовъ выдѣляется еще рѣзче, еще красивѣе... Сверху внизъ, то прячась въ чащу, то поблескивая на солнцѣ—зигзагъ крытой галереи прямо къ монастырю. Сама обитель внизу, совсѣмъ внизу, у восхитительнаго Донца, съ ея бѣлыми стѣнами, красивыми домами, съ монументальными островерхими колокольнями собора, высоко возносящаго свой золотой крестъ. Налѣво—бѣлыя стѣны гостинницы. А еще лѣвѣе, верстахъ въ трехъ, среди зеленой чащи горнаго ската, пріютилась вилла, которая до сихъ поръ носитъ имя Потемкиной.

Я долго смотрѣлъ на эту дивную картину, не отрываясь. Ни одного дисонанса не было въ ней. Самыя разнообразныя детали сливались въ одно величавое цѣлое. Все это такъ сгруппировано, что, любуясь подробностями, глазъ ни на минуту не теряетъ общаго. Желая взглянуть на обитель съ еще болѣе отдаленнаго пункта—я подошелъ къ парому. Нѣсколько ниже, Донецъ дѣлится на рукава, образуя острова, сплошь заросшіе осинами, дубами и березами. Оттуда обдаютъ васъ щебетаніемъ и гамомъ цѣлыя тучи мелкой лѣсной птицы. Словно золотыя, видны сквозь чащу соломенныя кровли села. Лиловый дымъ отъ трубъ стоитъ надъ лѣсомъ. На па-

ромѣ, приставшемъ къ нашему берегу, хохлушка. Въ рукахъ у нея двѣ утки и селезень.

— Что это ты?

— Да святить. Въ монастырь...

— Онѣ и пѣтуховъ святить приносятъ!—замѣтилъ неодобрительно монахъ-перевозчикъ...

VI.

На паромѣ.

Толпа хохлушекъ въ бѣлыхъ и сѣрыхъ охабняхъ усердно отбиваетъ на движущемся паромѣ земные поклоны. На противоположномъ берегу тоже самое повторяютъ бабы, только что подошедшія и ожидающія перевоза. За ними—зеленые понизи. На понизяхъ веселыя рощицы, смутные очерки далекихъ лѣсовъ. Общее впечатлѣніе—красота, миръ и покой.

— Ты куда? Ты куда?—хватаетъ одну хохлушку за охабень, юркій перевозчикъ-монахъ.—А деньги забыла?

— Нема грошей!

— Ахъ, грѣшница-грѣшница! Кого обмануть ты хочешь? Бога надуваешь!

— Нема грошей! — повторяла оторопѣвшая бабенка.

— Ну, иди... Назадъ уже тебя не перевезу... А у тебя что?—обернулся онъ къ завязанной бабѣ. Точно что узелъ какой-то стояла она на паромѣ.

— Хвороба!

— Ну, ступай къ намъ въ больницу... Тамъ святой есть, отъ разныхъ недуговъ милуетъ, даже и отъ порчи спасаетъ... Ежели съ вѣрою. Господь у насъ помогаетъ, потому мѣсто святое. Вонъ, въ другихъ мѣстахъ соловьи цѣлый день не поютъ, а тутъ во какъ!

Дѣйствительно, только что разгорѣлся день, соловьи опять защелкали, засвистѣли въ рощахъ.

Я разговорился съ перевозчикомъ. Оказался изъ купе-

ческихъ приказчиковъ. Всю свою лавочную складку сохранилъ. Зашла рѣчь о Кіево-Печерской лаврѣ.

— Что лавра!.. У насъ лучше!.. Позапрошлый годъ постомъ пятнадцать тысячъ богомольцевъ было. Нонѣшній плохо торгуемъ... восемь тысячъ только... Ну, да и то у Печерской-то наши Святыя горы всю коммерцію отбили;—наивно живописалъ монахъ, отплывая отъ берега.—Мы, какъ бы вы полагали, двѣсти человѣкъ наемныхъ рабочихъ держимъ, по пятнадцати рублей каждому въ мѣсяцъ идетъ. Вотъ онъ какой хозяинъ — монастырекъ-то нашъ Харчъ имъ тоже отпущаемъ хорошій!

— Вонъ, въ Соловкахъ добровольные рабочіе по году живутъ!

— То въ Соловкахъ... У насъ мужикъ не такой На мѣсяцъ, на два еще приходятъ—и то подъ весну въ голодную пору.. А такъ, чтобы круглый годъ не бываетъ. Иной разъ случается тоже не по усердію, а по эпитеміи... Наложутъ на него эпитемію три мѣсяца и обитель потрудиться, ну, онъ точно. Въ потѣ лица своего... Да мы и безъ этого. славу Богу! Одна наша мельница тыщъ пятнадцать доходу даетъ, а то бываютъ годы, что и больше Мы торгуемъ хорошо... Вы какъ полагаете, у насъ между монашествующими и профессора и полковники... Даже одинъ генералъ, настоящій, военный генералъ есть! У насъ шибко..

Когда я возвращался назадъ, на паромѣ была давка. Толпа богомольцевъ стѣснилась. Маленькіе юркіе странники въ скуфейкахъ, совсѣмъ не съвернаго типа... Тѣ неповоротливые грузные, кудлатые, брюха на выносъ, сапоги—человѣкъ въ нихъ помѣстится! Это ловкіе, воровatые, обожженные на солнцѣ. Въ толпѣ имъ не то что жутко, а опасливо. Оглядываются на каждаго крестьянина. Потираются, точно имъ холодно.

Монахъ-перевозчикъ по своему понялъ ихъ.

— Чего мятетесь? Ежели на счетъ паспортовъ,—такъ у насъ свободно. У насъ обитель,—не полиція... мы не

спрашиваемъ, кто еси и откуда... А всѣхъ обременепныхъ пріемлемъ!

Многимъ, дѣйствительно, полегчало. Не такъ опасливо озирались они въ толпѣ послѣ успокоительнаго слова перевозчика.

Пристали къ берегу. Монахъ опять у выхода съ парома.

— Рабы Божьи... по усердію, на пользу святыя обители... Богъ наказуетъ, если кто не подаетъ... По силамъ, рабы Божіи, по силамъ, кто сколько! Ей, вы тамъ— оглянулся онъ на юркихъ странниковъ, проскользнувшихъ у него за спиной:—воровская порода, почему не дали? Давайте, давайте, по усердію, на пользу святыя обители. Что же, рабы, скорѣе... Мы же молимся за васъ, православныхъ христіанъ *)!

И пятаки, и трешники, и копѣйки сыпались въ горсть монаху, зорко заглядывавшему въ мошны мужикамъ и бабамъ.

— Что мало дала!.. Ишь, у тебя монисто какое! Давай больше, раба, больше давай! Тебѣ на томъ свѣтѣ зачтется. . . . Ну, рабы, по силѣ возможности... Ишь, уходятъ... по усердію! . . . . . .

. . . . . .

Мѣдь еще шибче посыпалась въ раскрытую горсть.

— Вотъ благодарю! — отозвался онъ на чей-то двугривенный.—Господи, спаси и благослови!

— Наше дѣло трудное, — живописалъ потомъ отецъ Трофимъ-перевощикъ, показывая мнѣ ободранныя руки.— Вотъ оно какъ! Этотъ паромъ обитель едва оттягала. Перевозъ-то съ торговъ шелъ; ну, одинъ мірянинъ и отбилъ,—дороже далъ. Становой, слава Богу, помогъ, спаси его душу: запретилъ перевозить на томъ мѣстѣ, и мірянинъ поневолѣ обители передалъ и большіе за жестоковыйность свою убытки понесъ. Чрево-то теперь не

*) Считаю необходимымъ оговориться. Въ Святыхъ горахъ это былъ единственный случай вымогательства. Тутъ иноки лично, дѣйствительно чо къ данію благу.

распускаетъ, похудалъ даже, съ лица спалъ. А мы ничего, торгуемъ хорошо!

На противоположный берегъ опять привалила партія богомольцевъ. Земные поклоны отбиваютъ, прямо лбомъ въ песокъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, рабы Божіи!—кричитъ имъ отсюда отецъ Трофимъ, отваливая... И опять скрипитъ канатъ, и опять обрываетъ себѣ руки перевощикъ.

VII.

Монастырскія дамы.—Женская больница.

Не успѣлъ я попрощаться съ отцомъ Трофимомъ, какъ на встрѣчу намъ красивый, рослый, но хмурый монахъ, ряса шелковая. Вокругъ дамы, потертыя, изношенныя, въ черныхъ платьяхъ, губы сжаты великопостно. Глаза завидующіе, щеки подбѣлены, волоса жиденькіе, колечками на лобъ. Такъ и пахнуло на меня отъ нихъ камфорой, ополъдокомъ, креозотомъ и ладономъ. У нихъ всегда подобный запахъ. Полъ-жизни онѣ сплетничаютъ—остальную молятся и плачутъ. И все по обителямъ. Живутъ мѣсяцъ, другой—свиваютъ часто гнѣздо около монастырей...

. . . . . .

— Эта масть и у насъ развелась!—кивнулъ на нихъ худой, сморщенный монахъ, съ которымъ я заговорилъ по пути.

— А что?

— Ходятъ, шельмы, по всѣмъ дворамъ. . . . .

. . . . . .

— Чего имъ надо?

— Совмѣстныхъ молитвъ просятъ. Всѣ онѣ Гогомъ обижены. Пшь, мордастыя какія! . . . . Я одну такую изъ своей кельи за руку на дворъ вывелъ, тамъ поставилъ ее передъ соборомъ и въ затылокъ ткнулъ, чтобы покаялась, а потомъ плюнулъ ей на хвостъ и отошелъ прочь—въ мирѣ... Отъ нихъ не убережешься! Р-

лѣсъ пойдешь—она ужъ тутъ какъ тутъ: передъ глазами подоломъ вертитъ и льстивыми словесы тебя ульщаетъ.

. . . . . .

И сколько ихъ, этихъ дамовъ, къ намъ ѣздитъ!.. Ну, только шельмъ, Господь тоже, надо полагать, не пожалѣетъ. Блудницы вавилонскія! Гнилозубыя!

— Покаются въ свое время!

— Онѣ и каются-то какъ! Ишь, волоса въ колечки. Будутъ мучимы день и ночь, и дымъ мученій ихъ воспаритъ до небесъ. Подрумянятъ щеки да каются...

— Экъ, вы злы на нихъ!

— Да ужъ очень доняли. Комаръ этотъ и мошкара—лѣтомъ не такъ томятъ. Вонъ этотъ инокъ—изъ за вѣжливости своей страдаетъ, духу у него нѣтъ крикнуть имъ: ступайте вонъ, подлячки!

При монастырѣ живутъ прачки—бабъ шестьдесятъ, и молодыхъ, и старыхъ. Онѣ моютъ полы въ келіяхъ, окна, стираютъ бѣлье инокамъ, трапезную въ чистотѣ содержатъ. Онѣ же помогаютъ и въ женской больницѣ, устроенной для богомолокъ при обители. Тутъ за недугующими и страждущими ухаживаютъ старушки «вродѣ какъ бы монашки», пояснилъ мнѣ инокъ. Больницу эту я осматривалъ. Она открыта на пятнадцать кроватей. Воздухъ прекрасный, содержаніе безукоризненно. Всѣ издержки принимаются на счетъ монастыря.

— Умирающіе тутъ за рѣдкость,—пояснилъ мнѣ тотъ же монахъ.—Случается, привезутъ—на ладонъ дышетъ, но оправляется. Потому у насъ воздухъ цѣлебный . . . . . Иная встанетъ и пѣшкомъ до Кіева еще сходитъ. Мы и фельдшера для больныхъ держимъ. Сначала ему деньги платили, а потомъ убѣдили иноческій санъ пріять. Теперь онъ монахъ; и ему лестно, и монастырь выгадалъ. Все на пятьсотъ рублей въ годъ расходу меньше. Доктора нанимаемъ свѣтскаго изъ Славянска. То-ли бы дѣло, коли-бы и тотъ постригся. Совсѣмъ бы тогда наша больница на ноги встала. У насъ въ обители ус[illegible]же зимой и то не скучно. Вы какъ ду-

маете, мы и училище содержимъ. Верстахъ въ семи отъ монастыря. Мальчиковъ на пятьдесятъ!

Учить дѣтей посылаютъ стариковъ-монаховъ. Въ самой обители мальчиковъ и слишкомъ молодыхъ послушниковъ не держутъ вовсе, по весьма понятнымъ причинамъ. На югѣ могли бы развиться совсѣмъ неподходящія къ достоинству обители отношенія. Окрестному же населенію вообще монастырь старается быть полезнымъ. И вліяніе его все растетъ и растетъ. Такъ, напримѣръ, случился около пожаръ; обитель не только послала свои инструменты, но погорѣвшимъ выдала пособіе отъ десяти до пятидесяти рублей. Разумѣется, всѣ такіе расходы возвращаются почти сторицею. Монахи слишкомъ хорошіе хозяева, чтобы бросать деньги даромъ. Какъ Соловки на сѣверѣ, такъ и Святыя горы здѣсь—типы хозяйственной общины. Отъ умнаго помѣщика одно отличіе: тотъ на себя старается, а эти на обитель усердствуютъ. Поставьте въ укоръ иноку слишкомъ ужъ промышленный характеръ его дѣятельности—отвѣтъ готовъ:

— Мы не на себя... мы на благолѣпіе обители!.. Намъ не надо! Мы нищетой возносимся и уничиженіемъ величаемся!

VIII.

Соборъ. — Сѣверный и южный монахъ.

Въ самомъ монастырѣ, посреди двора, уложеннаго плитами—громадный соборъ. Не смотря на всю свою массивность, онъ кажется чрезвычайно легкимъ, съ четырьмя угловыми и пятою—высокою, посрединѣ его колокольней. Величавое зданіе это обошлось обители вчернѣ въ 300,000 р. и, что всего замѣчательнѣе, строилось оно простымъ полтавскимъ крестьяниномъ-подрядчикомъ, безъ всякой помощи ученаго архитектора. Меня поразила въ этомъ соборѣ соразмѣрность и красота линій, соотвѣтствіе частей. Ни башенки не давили массу собора, ни самый корпусъ его не казался слишкомъ великъ для нихъ. Къ со-

жалѣнію—монахи думаютъ, по своему обыкновенію, аляповато росписать его стѣны снаружи и тѣмъ, разумѣется, уничтожатъ впечатлѣніе, производимое имъ теперь.

Крестьянинъ, строившій соборъ, работалъ почти безвозмездно—изъ усердія.

— Въ городахъ ему работы мало... Начальство воспрещаетъ безъ архитектора, ну, а у насъ онъ по своей вольной волѣ...

Строитель при этомъ оказался еще и полуграмотный. То же явленіе, на какое я наткнулся и въ Соловкахъ. Только Святыя Горы, разумѣется, далеки отъ нашей сѣверной обители. Въ Соловкахъ каждый камень полонъ воспоминаніями. Цѣлые вѣка протекли надъ обителью. Въ ея башняхъ, келіяхъ и стѣнахъ — живетъ лѣтопись славнаго прошлаго. Плѣсень и ветхость дряхлѣющихъ построекъ, рядомъ съ циклопическими сооруженіями, пережившими четыреста лѣтъ, кажутся вамъ страницами открытой книги, на которыхъ вы читаете краснорѣчивыя былины о борьбѣ и страданіяхъ, о ростѣ этого крестьянскаго царства. Самые типы монаховъ тамъ чудятся вамъ тѣми же, какими они были во время шведскаго раззоренія. Тѣни Зосимы и Савватія какъ будто еще бродятъ въ дремучихъ лѣсахъ Анзеръ и Муксальмы. Тутъ иное дѣло. Святогорье пахнетъ не плѣсенью старины, а лакомъ, масляной краской и известкой. Оно возникло только вчера; отъ прошлаго здѣсь, внизу, не осталось ничего. Это чистенькій и богатый мѣщанинъ, строющій купеческія хоромы и расписывающій по суздальски ихъ внутреннія стѣны. Это созданіе послѣдняго времени, безъ стараго величія. Тамъ наворочены цѣлые утесы, здѣсь всюду кирпичная кладка. Одно зданіе собора не измѣняетъ еще этого впечатлѣнія. Сверхъ того, въ Соловкахъ повсюду вы видите могучую волю, богатырскій розмахъ. Тамъ мужикъ строилъ мосты черезъ море, заваливая его скалами. Не красиво, за то прочно создавалъ, по медвѣжьи. Здѣсь, черезъ Донецъ, возятъ на паромѣ, хотя на [illegible]ожный берегъ рукой подать.

— Отчего бы вамъ моста не поставить?

— Лѣтомъ ставимъ... деревянный... Теперь не время... Осенью снимаемъ.

— Вамъ-бы настоящій завести!

— Это мірское дѣло!

Тутъ есть тоже скопидомство, но Соловецкое соединено съ замѣчательною предпріимчивостью. Соловки изобрѣтательны. Это широкая натура, покорляющая море, срывающая цѣлыя горы себѣ въ угоду. Здѣсь, въ Святыхъ Горахъ, кулачество мѣщанское, наживное, копѣечное. Тутъ не рубль создаетъ милліоны, а только копѣечка рубль бережетъ... Это разница, и разница большая... Тамъ соловчанинъ-монахъ не на однихъ даровыхъ, да наемныхъ работникахъ выѣзжаетъ; тутъ святогорецъ самъ ни за что не возьмется. Соловецкаго монаха вы увидите съ топоромъ, съ сѣтью въ рукахъ, съ киркой. Онъ и землю роетъ, и стѣну кладетъ, и лѣсъ рубитъ, и рыбу ловитъ, и звѣря бьетъ, и соль варитъ, и доки строитъ, и мореходствуетъ. Святогорецъ нанялъ себѣ человѣкъ двѣсти рабочихъ и благодушествуетъ въ теплѣ благодатнаго юга. Мѣсто монастыря внизу все срыто. Тутъ прежде холмы стояли, ихъ сняли. Лощины засыпали. Но все это сработано не монашескими руками. «Наймали грабарей». Иноки только присматривали за ними. На соловецкихъ островахъ дороги пробиты руками крестьянъ-монаховъ; здѣсь путь въ Славянскъ, дорожки между пустынъками и скитами, всѣ продѣланы мужичками за поденную плату. Это именно разбогатѣвшій мѣщанинъ. Въ окрестностяхъ два села, Банное и Богородично, которыя почти сплошь заняты работами на монаховъ. Даже лѣсъ рубятъ курскіе наймиты. Одѣвается святогорецъ одинаково съ соловчаниномъ — то же грубое платье, та же неуклюжая обувь. Но послѣдній передъ вами является мужикъ мужикомъ. И ходитъ онъ, присѣдая, и лапища у него заскорузлая, и чрева нѣтъ (у мужика брюха не найдешь, оно ему не полагается). Святогорецъ же отростилъ себѣ животъ, а ужъ если истымъ монахомъ явится, такъ

именно иконописным, съ сухой складкой изможденнаго лица, съ равнодушнымъ, безучастнымъ къ страданію и радости ближняго, взглядомъ. Жилье его такъ же не казисто, какъ и у соловецкаго монаха; но во всякой кельѣ вы замѣчаете, что тутъ поселился не мужикъ, а именно мѣщанинъ. И картины не тѣ, и книжки своеобразнаго пошиба. Куда ни посмотришь — вездѣ эта разница. Въ Соловкахъ пропасть лошадей. Богомольцевъ ко всѣмъ островамъ возятъ въ монастырскихъ экипажахъ. Кучера—непремѣнно монахи. И настоящіе, не послушники. А заправляетъ дѣломъ іеромонахъ, играющій большую роль въ обители. Въ Святыхъ Горахъ содержится до тридцати коней, но ходятъ за ними и кучерами служатъ наемные люди. Донецъ богатъ всякой рыбой, но правильнаго промысла монахи не завели. Сами-же говорятъ, что у нихъ сомы ловятся пудовъ по десяти, а рыбу на уду добываютъ. Въ Соловкахъ и сельдяные, и тресковые ловы организованы какъ большое промышленное предпріятіе. Святогорцы ссылаются на то, что Донецъ весь запруженъ коргами, рвущими сѣти. Но существовало-ли бы такое препятствіе для соловчанина, который англійскіе доки ухитрился у себя устроить... Нужно приложить личный трудъ и сметку—а этого-то и нѣтъ. У кого они есть — тотъ въ загонѣ. Потому что настоящему иноку «не подобаетъ». Сравнивая дальше Святыя Горы съ Соловками, всюду встрѣтишь то же соотношеніе. Отчего-же промыселъ, трудъ, изобрѣтательность не прививаются здѣсь? Потому-ли, что южное крестьянство бездѣятельно? Разумѣется, нѣтъ! Воронежскіе и харьковскіе крестьяне въ Соловкахъ являются дорогими помощниками и работниками. Я объясняю это иначе. Въ сѣверной обители мужикъ всѣмъ правитъ и верховодитъ. Къ сожалѣнію, только администрація у него отнята. Въ Святыхъ Горахъ во главѣ: дворянинъ, купецъ и мѣщанинъ. Именно, разбогатѣвшій мѣщанинъ. Къ нимъ нужно присоединить и монаховъ изъ духовенства. Отсюда, при кулацкихъ порываніяхъ, отсутствіе изобрѣтательности, предпріимчивости, энергіи. Оттого

и келья, не смотря на свою неприглядность, все таки не деревенскимъ обиходомъ встрѣчаетъ васъ, а затхлой, душной атмосферой городскаго мѣщанства... Соловецкій монахъ ничего не боится. Онъ говоритъ на чистоту; все что знаетъ, выложитъ. Святогорецъ высматриваетъ васъ искоса, прикидываетъ каждое ваше слово. Вы высказываетесь, а онъ—молчокъ! Себѣ на умѣ! Нужно мнѣ было посѣтить кой-какія хозяйственныя учрежденія. Просился показать мнѣ грамотный и умный монахъ. Послали къ архимандриту—благословитъ-ли?

— А кто онъ такой (это про меня)?

— Писатель.

— Нельзя, нельзя! Помалкивайте!

И прислалъ ко мнѣ послушника, отъ котораго только и можно было добиться, что разсказовъ объ удивительныхъ качествахъ и святости разныхъ отцовъ. Имя писателя, ученаго, открываетъ вамъ въ Соловкахъ всѣ двери, архивы, библіотеку. Здѣсь оно же заставляетъ запираться отъ васъ поплотнѣе. Опять-таки чисто мѣщанская черта. Въ Соловкахъ монахъ свободенъ. Захотѣлось ему въ лѣсъ—въ лѣсъ уйдетъ, въ море задумалъ—сѣлъ въ лодку и былъ таковъ. Тутъ—дисциплина убійственная. Чтобы выйти за черту монастыря, инокъ, часто старецъ, спрашивается у архимандрита. Въ Соловкахъ пользуются вліяніемъ истые работники, а въ Святыхъ горахъ, напротивъ, верховодятъ уставщики, столпы монашеской обособленности и иноческаго формализма. Сѣверный монахъ здѣсь задохнулся бы несомнѣнно. Онъ меньше всего черноризецъ. Въ Святыхъ же горахъ инокъ византійскаго склада чувствовалъ бы себя какъ нельзя лучше. Разумѣется, я говорю о Соловецкомъ монастырѣ того времени, когда я тамъ былъ, лѣтъ одиннадцать назадъ. Теперь и тамъ сказывается монастырскій бюрократизмъ, обличавшійся такъ энергично корреспондентами «Церковно-общественнаго Вѣстника».

IX.

У казначея въ кельѣ.

— Казначей послалъ васъ просить къ себѣ!—разыскалъ меня монашекъ въ ободранной рясѣ.

— Куда это?

— Въ келію къ себѣ, поучительной бесѣды удостоиться!

По фарисейски сжалъ губы монашекъ, окидывая меня «пронзительнымъ» взглядомъ и стараясь высмотрѣть насквозь, вѣроятно, для соотвѣтственнаго доклада тому же отцу-казначею.

Я пошелъ къ сановнику обители.

Келья хоть куда! На столахъ узорочныя скатерти, въ окнахъ цвѣты, на полу коверъ, двѣ-три свѣтскія книжки даже, только не разрѣзаны, хотя, я думаю, пыль на нихъ цѣлыми годами копилась. Образа въ окладахъ.

Отецъ казначей оказался рязанскимъ купчикомъ; типъ, бьющій въ глаза. Молчитъ и воздыхаетъ, а самъ взгляда съ васъ не спускаетъ, точно взвѣшиваетъ васъ. Зорко высматриваетъ. На разговоръ не вызовешь; выжидаетъ, и чуть вы слово — такъ и видите, какъ онъ его подчеркнетъ и закрѣпитъ у себя въ памяти.

Такіе типы, я думаю, каждому случалось встрѣчать между кулачествующими купчиками. Стоитъ передъ нимъ крестьянинъ, чуть не плачетъ, а онъ, знай себѣ, на счетахъ прикидываетъ и ухомъ не ведетъ. Его не разжалобишь; онъ не сантименталенъ и каждаго можетъ разжевать и проглотить въ лучшемъ видѣ. Рядомъ съ нимъ, улыбающійся духовникъ, черниговецъ, кролевецкаго уѣзда. Само добродушіе, приправленное хохлацкимъ остроуміемъ. И клобукъ у него какъ-то назадъ сползъ, открывая простое, честное лицо съ живыми смѣющимися глазами. Среди бѣлаго духовенства много такихъ, которые посытѣе, разумѣется. У голоднаго попика все лицо въ одну просительную складку сведено. И отвѣты какіе различные.

— Отчего у васъ того нѣтъ, другого? — любопытствую я.

— Не подобаетъ монаху! — подумавъ, отвѣчаетъ рязанскій купчикъ.

— Глупы еще мы, вотъ почему! Кабы за умъ взялись, давно бы сдѣлали!—завершаетъ духовникъ.

Нужно было видѣть, какое смятеніе изобразилъ на своемъ лицѣ отецъ казначей, когда я вынулъ записную книжку, чтобы внести туда нѣсколько цифръ самыхъ невинныхъ, въ родѣ того, напримѣръ, что всѣхъ монаховъ въ обители 300.

— Это у васъ что же такое?

— Для памяти, отецъ казначей!

— Такъ-съ, для памяти.—А самъ ерзаетъ, усидѣть не можетъ.—Ишь, какая книжка. Много такихъ дѣлаютъ нынче... Затѣйливая!

Рука то протянется къ книжкѣ, то назадъ.

. . . . . .

— Хотите посмотрѣть?

— Вотъ благодарю!

Точно ястребиными когтями захватилъ. Перелистываетъ... Глаза такъ и впиваются. Видимо, все запоминаетъ.

— Это у васъ что же? Про нашу обитель?

— Да!

— Писать будете?

— Буду!

Покачалъ головою. Такъ и изобразилось: не было печали...

— А это что обозначаетъ, буквы о. а.?

— Отецъ архимандритъ!

Казалось, онъ глазами пронижетъ книгу, впился—не оторвешь. Наконецъ, насосался всласть, отпалъ.

— Такъ-съ. Нынче многіе пишутъ... Занятно!

Сталъ я его разспрашивать, — скорѣе у мѣднаго колокола отвѣта добьешься. Опасливо по сторонамъ оглядывается, воздыхаетъ, всего даже въ потъ ударило. Хо-

ренно еще, что духовникъ былъ здѣсь. Тотъ мнѣ повѣдалъ, что когда возобновляли обитель, на версѣ горъ оказалась старая, полуразрушенная казачья крѣпость; только уцѣлѣвшія башни, да часть стѣны, словно орлиное гнѣздо, висѣли надъ Дономъ.

— Гдѣ онѣ?—готовился я идти туда.

— Куда съ ними! Мы ихъ срыли!

— Вотъ тебѣ и на! Да это монастырь бы скрасило. Историческія воспоминанія!

— Помилуйте! Не монашеское дѣло совсѣмъ; Богъ съ нею и съ крѣпостью этою!

А башни, по разсказу, были очень красивы. И вся крѣпость оказывалась очень эффектною среди затянувшаго ее лѣсного царства Пушки тамъ были. Одна изъ нихъ и до сихъ поръ передъ соборомъ жадно разѣваетъ свое черное жерло.

— А другія гдѣ?

— Да куда-то подѣвались! — совершенно равнодушно отвѣтилъ отецъ духовникъ.

Другіе монахи отрицаютъ, впрочемъ, и башни, — говорятъ, что были только валы нарыты тамъ

Заговорили о составѣ монастырской братіи; оказалось, что публика у нихъ чистая.

— Половина изъ благородныхъ духовныхъ и купцовъ. Крестьянства мало, да оно у насъ нѣмое, не слышишь ихъ. Истинные агнцы Божіи!

Оно и понятно, что мужику не подняться въ такой средѣ.

— Работаютъ мало-маля. Мы на работѣ не стоимъ, потому работа отъ молитвы отвлекаетъ!

— Въ Соловкахъ иначе говорятъ. Работа на св. Зосима и Савватія—та же молитва!

— Что Соловки—мужицкое царство! У насъ уставъ святыя Афонскія горы. У насъ на Господскіе и Богородичные праздники пѣвцы поютъ: «Господи, Боже мой, возвеличился еси зѣло» медленно, и прочіе стихи, перемѣняя на лики, поютъ чинно. При «Господи возвахъ»,

на іеродіаконахъ—пелена съ кивотомъ, а во время псалмовъ ризничій и экклесіархъ кадятъ кадіями.

— Это что такое?

— Кадильницы, имущія, вмѣсто цѣпей, рукоятки. Пища у насъ поставляется по достатку и по приличію дней, обаче безъ излишества, и питіе—квасъ хлѣбный; піанственныхъ же отнюдь да не бываетъ. И много другого... Возьмите архимандрита Филарета твореніе о нашей обители—тамъ найдете обо всемъ подробно!

Заговорили о красотѣ монастыря; тутъ вдругъ на отца казначея точно благодать низошла — языкъ оказался.

— Это что! Вы нашъ монастырь лѣтомъ посмотрите, когда лѣсъ «потемнѣетъ». Тогда у насъ хорошо. Только внизу сыро, зато вверху воздухъ здоровый. Птицы всякой у насъ—тьма! Тучами летитъ и на разные голоса поетъ—Господа своего славословитъ. Стоишь, стоишь, слушаешь и радуешься творенію Божію. Малая птаха лѣсная, а и та сердечкомъ своимъ къ небу возносится. Ликуетъ—солнцу радуется, псальму солнцу поетъ. Хорошо у насъ тогда. Вѣкъ бы съ обителью не разстался!

— Зачѣмъ же разставаться?

— Какъ зачѣмъ? Случается, въ другіе монастыри посылаютъ. У насъ такія дѣла бывали. Старца Амвросія помните, отче?

Духовникъ утвердительно кивнулъ головою.

— Перевели его за неумѣренные поступки — гордъ былъ—въ другую обитель — не выдержалъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отъ тоски померъ. А то еще какое дѣло случилось. Послушника мы прогнали—онъ назадъ. Его опять прочь—онъ возьми да утопись въ Донцѣ. Вотъ какую приверженность къ обители чувствуютъ. Кажется, вѣкъ бы не ушелъ отсюда!

— А если обитель оскудѣетъ?

— Что же! У насъ въ уставѣ сказано: аще же будетъ оскудѣніе въ обители—всѣ, равно, да претерпѣваютъ скудость со благодареніемъ. Воздуха нашего у насъ не

отымутъ, горъ также не возьмутъ! Донецъ все также будетъ струиться!

— По Донцу вотъ скоро, говорятъ, пароходы пойдутъ!

— Монахи заводятъ?

— Нѣтъ. Начальство свѣтское, отъ себя!

— Отчего же вамъ не заняться этимъ?

— Да не монашеское дѣло!

И опять глаза внизъ Смотритъ тупо. Соловчане,—тѣ не ждали, когда придетъ въ голову архангельцамъ завести пароходы. Сами устроили все.

Ужасно тяжело было вести бесѣду съ отцомъ казначеемъ. Ни о чемъ не удавалось разговориться. Соловецкій монахъ самъ толкуетъ съ вами, этотъ — высматриваетъ и выслушиваетъ. Каждое слово выжимать приходится. Чуть не клещами изъ горла вытаскивать. И притомъ образцовый формализмъ вездѣ. Въ Соловецкіе скиты, напримѣръ, всякому открыта дорога. Здѣсь скиты открываются для богомольцевъ только четыре раза въ годъ.

Отчего же это?

— Иначе, какое же скитское жительство будетъ!

Когда я вышелъ отъ казначея, ко мнѣ подошелъ молодой, чрезвычайно симпатичный инокъ, съ которымъ я познакомился наканунѣ.

— Не нравится вамъ у насъ?

— Какъ не нравится, эдакая красота!

— Нѣтъ, я о людяхъ. Людей у насъ нѣтъ. Грѣхи насъ заѣли совсѣмъ.

— Какіе это грѣхи?

— Есть у насъ!.. Повѣрите-ли, иной разъ такъ бы и улетѣлъ отсюда!.. На просторъ тянетъ! По ночамъ, особливо зимою, плачешь-плачешь. А куда пойдешь?

— Помилуйте, вы молодой такой!

— Да вы имѣете понятіе, что такое разстрига? Это отщепенецъ. Ему нигдѣ мѣста нѣтъ! Въ сторожа не возьмутъ. Къ крестьянину въ батраки не попадешь!.. А сердце просится куда то, рвется! Вѣдь я сюда двадцати лѣтъ пришелъ, да здѣсь и остался, ничего не

извѣдавши... Колоднику лучше. Онъ знаетъ, что сошлютъ его, срокъ кончится, все, какая ни на есть, свобода! А мы совсѣмъ какъ въ тюрьмѣ, хоть головой объ стѣну!

— Другіе же сживаются!

— Ну, какъ сказать! Всѣ почти перешли черезъ эту муку. Закостенѣли, потомъ настоящими монахами стали. И я тоже когда нибудь закостенѣю! Тоже настоящимъ инокомъ буду... А тяжело, охъ, какъ тяжело!.. Точно тебя живого въ могилу... И отпѣли...

X.

Выдающіеся люди. — Монахъ-фотографъ. — Монахъ-писатель.

Солнце сегодня печетъ во всю. Даже неугомонныя птицы надъ Донцомъ примолкли, и ихъ заморило теплomъ. Только что я легъ отдохнуть:

— Молитвами святыхъ отецъ!—послышалось за дверьми.

— Войдите!

— Это я-съ! Вотъ обѣщанное принесъ вамъ!

И отецъ Стефанъ, самоучка-фотографъ, подалъ мнѣ виды монастыря. Снимки были сдѣланы весьма тщательно; потомъ я ихъ передалъ въ Петербургѣ редакціямъ иллюстрированныхъ изданій, и работа отца Стефана была воспроизведена граверами. Отчетливость, нѣжный колоритъ, умѣніе выбрать пунктъ, откуда снимать видъ, достойны были всякой похвалы.

— Радъ бы работать, да вотъ нельзя! Много нельзя!

— Почему это?

— Отвлекаютъ. Прочимъ монахамъ непріятно. Говорятъ, не иноческое дѣло. А я такъ думаю, все же во славу святыя обители... Ну, и на пользу... Вотъ вы купите, другой, третій. Можно посылать и на продажу въ прочія мѣста... Анъ, и деньги! Другой бы монастырь еще помогъ завести фотографію настоящую! А что у насъ! Невѣжество во всемъ. Теперь какъ дразнятъ-то

Вчерась отецъ Анемподистъ: — «бѣса тѣшишь» на весь дворъ кричитъ. Ну, что же я могу... Я человѣкъ слабый. У меня порокъ есть!

Порокъ отца Стефана оказался очень простъ: на него находило—и онъ пилъ. Потомъ вытрезвлялся. Случалось, на него и послушаніе накладывали за это. Въ Святогорскомъ монастырѣ довольно строго. Даже и монатейныхъ монаховъ не щадятъ. Проштрафится въ чемъ нибудь, на него, по приказанію настоятеля, надѣваютъ сермягу и посылаютъ на самую черную работу, на самое тяжелое послушаніе: возить навозъ обирать грязь съ дворовъ и еще хуже. Если проступокъ болѣе крупный — вонъ изъ монастыря, къ «разстригу». Послушникамъ, тѣмъ легче. Не понравится наказаніе —онъ сейчасъ можетъ «разуказиться», т.-е. бросить монастырь и перейти въ прежнее свое званіе. Что проступокъ совершить здѣсь очень легко, видно изъ запрещеній, существующихъ не только на вино, но и на трубки.

— Дымить, братъ, у насъ монаху ни-ни! За дымокъто на черный дворъ!—пояснилъ мнѣ добродушный старикъ о. Симеонъ, тайкомъ покуривавшій у меня въ кельѣ.— Теперь поймай меня—къ настоятелю! Ну, тотъ и благословитъ навозъ возить!

Странно было даже видѣть, какъ семидесятилѣтній монахъ оглядывался и, при малѣйшемъ шорохѣ, зажималъ огонь папиросы пальцами, обжигая ихъ и встряхивая. Ни одинъ школьникъ не могъ быть пугливѣе.

Воспрещенъ даже нюхательный табакъ. Недавно одного монаха заставили мести дворы въ гостинницѣ за то, что онъ, во время всенощнаго бдѣнія, опасаясь заснуть, зарядилъ носъ табакомъ. На него донесли. Какъ и вездѣ въ монастыряхъ, шпіонство здѣсь въ большомъ ходу. Нюхательный табакъ запрещенъ наравнѣ съ опьяняющими напитками.

Архимандритъ, славящійся строгою жизнью, и самъ очень строгъ. Пастырь сей не жалѣетъ своего стада. Онъ былъ и пѣвцомъ, и строителемъ, и уставщикомъ, весь

чинъ монашескій произошелъ. Оттого и къ другимъ относится съ строгостью безпощадною.

Отцу Стефану часто доставалось за его слабость. Онъ только тѣмъ и держался, что ужъ очень полезенъ былъ обители. Понадобится кому снимокъ сдѣлать съ Святыхъ горъ, портретъ снять — за бока о. Стефана. Онъ, впрочемъ, на всѣ руки мастеръ былъ. О. Стефанъ много читалъ. На каждую книгу бросался съ жадностью, но все прочитанное перерабатывалъ на свой образецъ. Какъ будто онъ знакомился съ чужими мыслями, съ научными данными, только для того, чтобы еще тверже убѣдиться въ томъ, до чего онъ дошелъ своимъ умомъ. Книги увѣряли его въ томъ, что заблужденіямъ человѣческимъ нѣтъ предѣла. Такъ, напримѣръ, онъ, изучивъ астрономическую географію, пришелъ къ отрицанію вращенія земли вокругъ солнца. Доказывалъ онъ это съ большою логикою и, противъ приводимыхъ въ космографіи аргументовъ, выставлялъ цѣлую батарею своихъ. Говорилъ охотно и много. Вступалъ въ споръ со всѣми, почему монашествующая братія особенно любила поддразнить отца Стефана. Замѣчательно, что обо всемъ онъ спорилъ съ одинаковымъ азартомъ. О движеніи ли планетъ небесныхъ, или о способахъ печь хлѣбъ. Точно обидится — и давай сокрушать выю противника діалектикою, иногда весьма безцеремонною. Потомъ вдругъ обрывался разомъ и смолкалъ. Смолкнетъ и станетъ робко смотрѣть и ежиться. Будто растеряется.

— Что это онъ?—спросишь у монаховъ, знающихъ его.

— О слабости своей вспомнилъ и смирился!

Видимо боится, чтобы кто другой ему не напомнилъ о ней. Насупится и уйдетъ, не окончивъ спора.

— У насъ тоже писатель есть!—огорошилъ онъ меня на этотъ разъ...

Ну?

— Я ему про васъ сказалъ. Желаетъ познакомиться!

— Я его радъ видѣть.

— Только вотъ что. Къ вамъ ему нельзя по сан

его! Опять же станутъ говорить... Еще что выйдетъ... Если бы вы къ нему?.. А?

И отецъ Стефанъ искательно заглянулъ мнѣ въ глаза.

— Я съ удовольствіемъ!

— Онъ не далечко тутъ. Ежели бы сейчасъ?

Мы пошли.

Святогорскій писатель оказался о. протоіерей Дюковъ, жившій въ монастырѣ на покоѣ. Онъ занималъ большую келію. Простой письменный столъ былъ заваленъ бумагами и книгами. Книги были на табуреткахъ и на подоконникахъ, и на полу... Одинъ на другихъ. Въ большей части — вложены закладки и на закладкахъ отмѣтки. О. Дюковъ работалъ много и охотно. Цѣлыя кипы замѣтокъ и выписокъ лежали у него на столѣ. Много книгъ было раскрыто. Видимо, старикъ трудился надъ чѣмъ-то, требовавшимъ тщательныхъ справокъ, цитатъ, ссылокъ... Въ углу кіотъ съ образами. Передъ нимъ столикъ съ библіей и другими духовными книгами.

Симпатичный, крѣпкій старикъ поднялся намъ на встрѣчу.

— Мы свѣтскихъ писателей рѣдко видимъ. Но все же по оружію братья! — привѣтствовалъ онъ меня.— А я тутъ вотъ трапезую... Простите, Бога-для!

О. Дюковъ, когда мы вошли, обѣдалъ. Передъ нимъ стояла тарелка пустыхъ щей и черный хлѣбъ. Это все, что ему отпускалось. Грубая ряска, рясы вообще здѣсь на всѣхъ монахахъ грубыя. Бѣлье—солдатское, иначе не знаю какъ и назвать эту дерюгу. И постель солдатская. Голыя доски на деревянныхъ чурбанахъ. Что-то свалявшееся подъ голову. Вмѣсто одѣяла кусокъ грубаго сукна.

— По аѳонскому уставу!—объясняютъ умерщвляющіе свою плоть монахи.

Разговорились мы съ нимъ, и старикъ оказался прекраснымъ діалектикомъ и крайнимъ консерваторомъ. Онъ гремитъ противъ распредѣленія приходовъ по одному на каждую тысячу душъ, злобствуетъ противъ разрѣшенія попамъ [illegible] соборне безъ дьякона.

— Ересь это!.. Чѣмъ раскольники послѣ того хуже?

Еще больше негодуетъ онъ противъ мысли объ устройствѣ для старообрядцевъ школъ безъ преподаванія закона Божія и т. д. Онъ и пишетъ въ этомъ духѣ. Впрочемъ, въ послѣднее время онъ занятъ какимъ-то большимъ трудомъ, о которомъ разсказывать воздерживается... проговорился только...

— Коли бы Богъ далъ кончить. Всю бы жизнь завершилъ!

О. Дюковъ крайне любознателенъ. Между прочимъ, сталъ добиваться:

— Скажите, господинъ Лѣсковъ, который «Соборянъ» написалъ—особа свѣтскаго званія?

— Да.

— Духовное воспитаніе получилъ, значитъ?

— Нѣтъ.

— Быть не можетъ. Какъ онъ хорошо духовенство наше описуетъ. Впрочемъ, что-жъ, если Господь ему талантъ такой вложилъ!..

— Ахиллу-то дьякона, какъ!—возвеселился вдругъ о. Стефанъ.

— А ты тоже читалъ?

— Любопытствовалъ... Какже!

— Ну, смотри! Тебѣ за свѣтскія книги влетитъ!.. Дорогой человѣкъ отецъ Стефанъ... чистое золото—96-й пробы. Всякое мастерство знаетъ, способности какія. Ему бы поучиться...

— Да вотъ что же... Слабость моя меня одолѣла!—вздохнулъ фотографъ.

— Благодари Бога за нее, за слабость эту!

— Ну, что-жъ тутъ!

— Безъ нея ты, можетъ быть, какъ далеко бы, Господь знаетъ, ушелъ. А она, слабость-то твоя, тебя тутъ держитъ, смиренію учитъ. Безъ этой слабости ты бы и обитель оставилъ?

— Пожалуй, что...

— Ну, вотъ. А съ нею ты тутъ каешься. И въ честномъ иночествѣ состоишь... Въ слабости этой спасеніе твое. Слабостію спасенъ будешь!..

— А вы пчеловодство наше видѣли? — обернулся ко мнѣ о Дюковъ.

— Нѣтъ, не видалъ!

— Ну, чтожъ, наша пчела. Развѣ такъ надо? У насъ, что жукъ что пчела—все одно!—возносился о. Стефанъ.

— А то какъ? По твоему-то какъ?

— Совсѣмъ по иному... Вонъ въ Америкѣ... Стеклянные ульи..

— Чтожъ, по твоему, у насъ дураки все?

— Не дураки, а въ темнотѣ запутались... Въ невѣжествѣ своемъ бродятъ. Истинное просвѣщеніе отметаютъ...

— Что же ты всѣхъ умнѣе? Пчела!.. Давно-ли ты пчеловодомъ сталъ-то?

О. Стефанъ обидѣлся. Дюковъ сейчасъ же это замѣтилъ.

— Ну прости, что оскорбилъ. Бога-для!..

Чмокъ другъ друга въ руку, и оба успокоились.

— Сдѣлайте мнѣ милость великую! — просилъ меня отецъ Стефанъ, когда я уѣзжалъ отсюда.—Знаете, тоска здѣсь такая обуреваетъ... Будьте добры...

— А что?

— Пришлите изъ Питера лучшее и самоновѣйшее руководство по фотографіи. Сколько слѣдуетъ, я хоть сейчасъ!. Такъ буду благодаренъ, такъ благодаренъ.. Вѣкъ не забуду!

Я предложилъ прислать ему даромъ, чтобы отблагодарить за превосходный снимокъ мѣловыхъ скалъ Святогорскихъ. Послалъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, но отвѣта не получилъ. Что съ нимъ?.. Можетъ быть, онъ уже вошелъ въ колею. Совсѣмъ смирился и ни о чемъ не помышляетъ болѣе

XI.

На пасѣкѣ.

У кельи отца казначея два каштановыхъ дерева. Сегодня въ нихъ ярко свѣтитъ солнце, обливая нѣжную молодую листву золотыми брызгами. По листвѣ золотые

брызги солнечнаго свѣта скатываются внизъ огнистымъ дождемъ, падая на гладкія плиты, на желтый песокъ двора. Еще не жарко. Еще нѣтъ, нѣтъ, да и потянетъ съ Донца прохладой; но воображаю, что тутъ должно быть въ іюлѣ! Тогда монахи сидятъ на версѣ горы и только поневолѣ спускаются внизъ, въ эту теплую котловину... И на внутренній дворъ монастыря сегодня налетѣло всякой птицы пропасть. Въ листьяхъ каштана щеглы даже драку затѣяли...

— Описуете?—благодушно подошелъ ко мнѣ толстый монахъ съ улыбающимся лицомъ.

— Что?—не понялъ я.

— Въ книжку все?

— Да, чтобы не забыть!

— Не имѣли счастія, значитъ, въ бурсѣ воспитываться, тамъ память превосходно развиваютъ. Въ наше время, преимущественно при помощи лозы! До сихъ поръ и грековъ, и латынянъ памятую, ибо былъ за оные народы сѣченъ нещадно!.. Одного я не могу понять—что васъ въ монастыри влечетъ? Житіе у насъ скудное... не веселое. Коли бы мнѣ, я бы все по большимъ градамъ путешествовалъ!

— Ну, тоже скудное житіе! — вмѣшался мой спутникъ.—Вы бы, отче, помалкивали!

— А развѣ вы что по сему предмету занотовали?

— Да, есть...

— А вы по христіански—забудьте.

— Да что же забывать-то, дурнаго ничего!

— А хорошему отдавайте справедливость!.. Мы, черноризцы, столько разъ уже были обруганы, что похвала намъ въ диковину. Свѣтскіе писатели представляютъ насъ въ родѣ... какъ бы нечистыми свиніями. Это—не точно... Во всякомъ дѣлѣ есть разныя стороны... А вы наблюдайте свою совѣсть, еже бы всякое дѣло творити съ благословеніемъ и по совѣсти благо!.. Но только иногда и ругать насъ слѣдуетъ. Временно же за чрезмѣрное. Вотъ вашъ спутникъ сообщитъ вамъ, что я, напримѣръ, очень пунша люблю!

— Какой же это пуншъ? Нальете воды въ стаканъ, выполощете, потомъ воду за окно и доливаете до верху ромомъ!

Монахъ расхохотался.

— Бѣдная монашествующая братія! Во всемъ скудость, во всемъ претерпѣваемъ лишенія... Даже и въ водѣ себѣ отказываемъ...

Мы улыбнулись.

— Ну, чтожъ, на пасѣку?—спросилъ меня мой спутникъ.

— А вы на пасѣку... нашего полковника посмотрѣть желаете? Чудо-юдо монастырское?

— Почему-же чудо-юдо?

— Настоящій военный полковникъ и черноризецъ. Пчелъ во фрунтъ ставитъ и маткамъ ихнимъ по всей формѣ ученіе производитъ!

До пасѣки было недалеко.

Мы въ часъ дошли туда. Едва достучались. Пасѣка плотно обнесена заборомъ; видимо, хозяйство истовое, тщательно охраняемое... За заборомъ, посреди пасѣки, простая крестьянская изба, на двѣ горницы. Въ одной—глубокое кресло. въ креслѣ—помавающій бровями на монаховъ, полковникъ черноризецъ. Это и есть намѣстникъ пасѣки. Блѣдное, безкровное лицо... одутловатое. Чрево большое, но, видимо, не отъ излишествъ, а отъ недуга... На столѣ «Сынъ Отечества» и нѣсколько носовыхъ платковъ. Большой кіотъ въ углу. Подъ образами ордена висятъ, боевые, съ мечами. Чуть-ли даже не георгіевскій крестикъ бѣлѣетъ... Въ комнатѣ душно. Мухи чувствуютъ себя хозяевами и безцеремонно звенятъ по стекламъ... Пахнетъ воскомъ и медомъ... Полковнику и черноризцу, несмотря на жару, очевидно, холодно. Закутался во что-то теплое и ноги завернулъ одѣяломъ... У него трое монаховъ.

— Адъютанты мои!—старается онъ улыбнуться, но улыбка на этомъ безкровномъ лицѣ является на столько странно[illegible]ча, помимо воли черноризца, сбѣгаетъ прочь.

— А армія моя изъ трехъ сотъ колодъ состоитъ! — столь-же неудачно шутитъ полковникъ.

И опять молчаніе, и опять мухи бьются въ стекла и звенятъ тамъ.

Получили, наконецъ, благословеніе осмотрѣть пасѣку.

Вся она на вершинѣ горы, невысокой, зеленой... Деревья разбросаны вездѣ. Нѣжная листва ихъ млѣетъ въ солнечномъ блескѣ. Между деревьями пропасть колодъ. Миръ и покой царятъ тутъ... Пчела жужжитъ надъ ухомъ. Ласково жужжитъ—точно привѣтствуя посѣтителей. Адъютантъ, въ бѣлой рясѣ и черной скуфейкѣ на затылкѣ, озабоченно тыкаетъ въ какую-то колоду... Каждая обтянута обручами и накрыта глиняной чашкой отъ дождя. Пахнетъ первымъ весеннимъ цвѣтомъ. Въ травѣ словно улыбаются голубоглазые барвинки.

— Да, Господь благословилъ. Триста колодъ у насъ!

И монашествующій адъютантъ снялъ у себя пчелу съ лица. Снялъ съ лица, прилипла къ пальцу.

— Ишь, дурашка малоумная! Чего пристала? Ступай на цвѣтъ Божій—пей росу медвяную... Ступай, ступай, рабъ лѣнивый!—И онъ подбросилъ ее въ воздухъ. Пчела зазвенѣла и скрылась въ чащѣ.

— Одного меду мы здѣсь получаемъ по 150 пудовъ въ годъ... У насъ еще и другая пасѣка есть, та подальше. Тоже на триста колодъ поставлена... Хорошо у насъ тутъ, а?

Я согласился, что хорошо.

Скуфейка у монаха сползла еще дальше на затылокъ.

— Наша обитель первая!.. Такой красоты богоданной по другимъ мѣстамъ нѣтъ!.. И на пасѣкѣ у насъ раздолье... Ишь, воздуси какіе — духовитые!.. Вы потяните въ себя—всякимъ цвѣтомъ пахнетъ... У насъ и соловьи гнѣзда вьютъ... Вотъ, погодите, къ вечеру начнутъ пѣсни пѣть. Божья птичка чувствуетъ тоже, что здѣсь ей покой... Благословеніе на сихъ мѣстахъ почіетъ...

«Соловей гнѣзда не вьетъ, ему некогда», вспомнились слова народной легенды,—«поетъ все». Удивительно, какъ

сказочныя правила уживается въ народномъ умѣ съ правдою дѣйствительности. Взаимно противорѣчатъ, а ужи ваются... На пасѣкѣ соловьиныхъ гнѣздъ много. То-то пѣсенъ будетъ...

— Повѣрите-ли какъ запоютъ, такъ кажется, будто это воздухъ самый разливается... Глушатъ. Ну, и пчела ихнюю пѣсню соловьиную любитъ тоже... Другой не терпитъ, а соловья чтитъ. Одно только горе у насъ... Въ этомъ году ульевъ пятьдесятъ погибло. Донецъ близко. Въ разливъ пчела летитъ къ нему. Чабрецъ-то по разливу раньше всего распускается, пчелка на чабрецъ и садится. А у насъ весенніе вѣтра шибкіе... ее и гонитъ въ воду, топитъ пчелку Божію. . Въ одномъ мѣстѣ было— вода отъ пчелы желтая стала!.. Вотъ оно горе-то наше какое. Холимъ, холимъ, молимъ, молимъ, а уберечь немощны. Не убережемъ. Пятьдесятъ ульевъ! Теперь бы, глупая, промежъ деревьевъ летала, росу медвяную собирала... А потопла—и нѣтъ ее... Охъ-хо-хо!

— У васъ и деревья-то здѣсь чудесныя!

— Мы дикому дереву не даемъ на пасѣкѣ цвѣсти. Тутъ все яблони, груша, слива, вишня, черешня, абрикосъ. Какъ зацвѣтутъ, да пустятъ духъ свой по вѣтру, такъ по вѣтвямъ змѣя и ищемъ. Врага рода человѣческаго!

— Какого змѣя?

— Потому ужъ очень на рай земной похоже... Пчела тоже станетъ ласковая, цвѣтовъ ей въ волю... Сытая летитъ, тяжелая!.. Звенитъ густо; довольна, значитъ!

Отсюда внизъ заглядѣться можно.

Ниже фруктовыхъ деревьевъ, густолѣсье дубовое. Лощины къ самому долу спускаются, гдѣ «святое мѣсто» съ келіями схимниковъ. За святымъ мѣстомъ — Донецъ мерещится. Хоть и не близко,—а смутно поблескиваетъ... Нѣтъ, нѣтъ, да и повѣетъ оттуда прохлада.

— Одно намъ не хорошо, дятлы одолѣли, — продолжалъ монахъ.—Вотъ, попозже, услышите, точно ворота скрипятъ. Просто извести бы всѣхъ, да тоже твореніе Божіе, тоже и свѣта хочетъ... А вотъ вы послушайте у

улья,—прилежите ухо,—какъ наша пчела, мудрая, разговариваетъ!

Въ ульяхъ, дѣйствительно, шумѣло, точно тысячи пчелъ вели между собой бесѣду.

— Она—птица Божья—пчела, умная. Ей разговоръ данъ. Она такъ въ улью не сидитъ, а все гу-гу-гу... Шумитъ... гдѣ летаетъ, что видитъ—обо всемъ разсказываетъ... Ну, и другія ей тоже.

Онъ открылъ одинъ улей и показалъ, какъ роются и возятся пчелы.

Въ сторонѣ теплый сарай. Это пчелиное жилье на зиму. Въ колодахъ, которыя приносятъ туда, оставляютъ имъ достаточно меду. Не выдаютъ всего. Пчела за зиму изморится такъ, что какъ вылетитъ весной, такъ сначала только наружныя стѣнки сарая облѣпитъ и сидитъ. Дышетъ воздухомъ вольнымъ, къ свѣту опять себя пріучаетъ, крылья потомъ пробуетъ. И звенитъ же какъ первый разъ въ летъ уйдетъ! Около сарая—печь для вытопки меду, и вощина на простыняхъ.

— А нихнюю пчелиную трапезную желаете видѣть?

Повелъ въ тѣнь. Звонъ тамъ стоитъ и гамъ. На солнцѣ выставлены двѣ колоды съ варенымъ медомъ. Тутъ пчелы ѣдятъ, тутъ же и жучки разные возятся, и всякая муха на монастырской счетъ продовольствуется... Кипитъ кишитъ.

— Словно богомольцы! Каждый свою порцію получай—безъ запрету.

— Отчего вы не заведете нумеровъ для улья? Отмѣчать рожденія, ходъ...—вспомнилъ мой спутникъ профессорскія лекціи.

— Зачѣмъ это?—поднялъ брови монахъ.

— Порядку больше, правильнѣе дѣло...—И онъ сталъ пояснять ему.

— Ну, ихъ!—отмахнулась скуфейка.—Тоже и человѣкъ вотъ... Дадутъ ему имя, а онъ взялъ да номеръ!.. Вотъ тебѣ и имя, и число! Нѣтъ, ужъ мы здѣсь по Божью—безъ науки...

Въ корытахъ около—вода для пчелъ. На водѣ мохъ, чтобы пчела, напившись, не тонула...

— Теперь что... теперь тутъ гуляй, сколько угодно. А вотъ какъ цвѣтъ облетитъ, да жары начнутъ, тогда наша пчела страсть кусается... Собаченка тутъ есть, Шарикъ, и та не сидитъ—уходитъ. А еще хуже пчелѣ, если отъ кого табакомъ пахнетъ; жалитъ и на цѣлые версты гонитъ прочь. Обороняетъ отъ дурного запаху свое царство. Она тоже монашенка, отшельница... Любитъ духъ отъ цвѣтковъ Божьихъ. А зелье это ей смерть! Если водкой отъ кого, еще хуже! Цѣлымъ роемъ кидается и закусываетъ... Въ пасмурный день пчела сидитъ смирно!

— Мѣсто у васъ тутъ не медное? Липу бы посадили!

— Рѣчка даетъ «взятку». Тамъ, по берегамъ, всякой поросли гибель. Пчела наша даже съ вербы внизу взятку беретъ. Верба раньше всего распускается... А потомъ уже съ клена, съ черноплины. Съ липы взятокъ идетъ уже потомъ, какъ зацвѣтаетъ она!

Пока мы ходили по пасѣкѣ, на небо набѣжали тучи. Зелень точно потемнѣла... Потемнѣла и лощина, идущая къ святому мѣсту внизу. Гуще запахло цвѣтами... Маслистый запахъ даже въ голову бьетъ. Точно надъ букетомъ дышишь... Вонъ, между колодами, сидитъ монахъ въ бѣломъ подрясникѣ и въ сѣткѣ. Видимо, въ ульѣ возился да и заснулъ тутъ же, благо тѣнь отъ черемхи падаетъ сюда. Теперь ужъ тѣнь на другое мѣсто перешла и косымъ лучемъ солнца, прорвавшимся сквозь тучи, прямо въ лицо ему бьетъ. Но разоспавшемуся иноку еще слаще. Дышетъ, не надышется; взброситъ голову, удивленно раскроетъ глаза, потянетъ въ себя запахъ цвѣтовъ, и опять смыкаются вѣки... Тучи скоро совсѣмъ заполонили небо... Шибко, шибко бѣгутъ. Пчела отовсюду къ улью летитъ. «Пшь, грузная», словилъ одну на лету адъютантъ въ скуфейкѣ... Ну, лети, лети, божій работничекъ!—взбросилъ онъ ее на воздухъ... Прокатилось въ тучахъ, ударилъ громъ... Разомъ какъ-то, неожиданно... и попрятались. Зашумѣло въ зелени. Точно просну-

лась дремавшая листва и давай перешептываться. Запрыгали капли дождя по лѣсной чащѣ. Сбѣгаютъ по листвѣ, на головы намъ катятся... А вдали, уже опять солнце во всю. Другимъ, золотымъ дождемъ брыжжетъ. Сѣрыя тучи сползаютъ, и черезъ нѣсколько минутъ отъ всего этого грома и дождя только благодатная свѣжесть въ воздухѣ, да блескъ на только что обмытыхъ листьяхъ. Кое-гдѣ капли висятъ; въ каждой изъ нихъ солнечные лучи дробятся.

Мой спутникъ, адъютантъ въ скуфейкѣ, оказался поэтомъ. Посмотрѣлъ на эти сіяющія капли и произнесъ:

— Такъ и въ каждомъ помышленіи человѣческомъ должно слово Божье отражаться, какъ солнышко въ этихъ росинкахъ... Она, пчелка эта, умная, — продолжалъ онъ.— Случается, непогодой колоды повалитъ. Весь медъ можетъ вытечь. Такъ нѣтъ же, пчелка не позволитъ... Вся по краю бросится, облѣпитъ такъ, что капли не пропадетъ. Землѣ-матушкѣ ничего не достанется!

Въ хорошія темныя ночи чудесно спится этимъ монахамъ на пасѣкѣ. Пчела гудетъ въ ульяхъ, и подъ этотъ гулъ, наполняющій всю пасѣку, сами собою смыкаются вѣки.—«Повѣрите-ли, и во снѣ она снится!»

Попробовалъ настоятель Святогорья взять этого монаха съ пасѣки въ обитель. Затосковалъ по пчеламъ, заболѣлъ даже. Въ церковь придетъ, пѣнія не слышитъ. Все ему чудится, что пчела гудетъ это. На берегъ Донца сунется, пчелки летятъ мимо, разговариваетъ съ ними, плачетъ... Совсѣмъ было рехнулся. Должны были его вернуть назадъ.

— Какъ вернулся на пасѣку, такъ точно на свѣтлый праздникъ попалъ!

— И пчелки меня узнали,—разсказывалъ онъ,—звенятъ кругомъ, на руки садятся! Мы вѣдь съизмала пчеловоды. Курскіе мы. Только у насъ пчела еще посильнѣй будетъ. У насъ съ улья пудиковъ по пяти медку съимать случается. За то здѣсь пчела безгрѣшная, священная пчела!

— Это какъ?

— Какъ улей сажаемъ, богоявленской водой его кропимъ... Ну, и потомъ молебны служимъ, каждый вечеръ молитвы читаемъ. Тутъ пчелка благословенная!

Мы стали прощаться.

— Семъ-ко я васъ провожу. Въ обитель я рѣдко захаживаю, что тамъ мнѣ дѣлать? Отсталъ отъ монашествующей братіи совсѣмъ. Пчелка умнѣе человѣка, она даромъ не обидитъ; если куснула, значитъ, есть за что. Она маленькая, а только зорко въ глазахъ человѣческихъ видитъ. Иное помышленіе отъ себя самого спрячешь, а отъ нея не уйдетъ... Подсмотритъ... Что пчелка, что муравель — оба божьи; муравлевъ мы стадомъ божьимъ называемъ здѣсь. Ихъ Господь насетъ. Вонъ, по дорогѣ вы ничего не видите?

— Ничего.

— Гречиха, это такъ валяется, по вашему?

На пути, дѣйствительно, были разбросаны щепотки гречихи.

— Это агнецъ Божій, муравель. Дождемъ гречу смочило, солнце опять проглянуло, они и вынесли сушить... Ну, прощай, дай Богъ!

XII.

Съ мѣловыхъ скалъ.

По крытой галлереѣ, по подземнымъ ходамъ, которые будутъ описаны ниже, по чернымъ норамъ, гдѣ до сихъ поръ, кажется, пахнетъ схимниками, и слышится звонъ ихъ желѣзныхъ веригъ, выбрались мы, наконецъ, на самыя вершины мѣловыхъ скалъ Святогорскихъ. Я видѣлъ Соловецкіе острова — съ Анзерской горы, Заволжье — съ откоса въ Нижнемъ, панораму Урала — съ Растеса, Заднѣпровье — съ Кіево-Печерскихъ высотъ, волшебныя равнины Аваріи и Кой-су, цѣлое море Балканъ — съ орлинаго гнѣзда на св. Николаѣ, счастливыя долины Гирловскаго султанства — съ Дервишъ-горы, — но еслибы теперь мнѣ еще разъ пришлось полюбоваться на эту громадную

картину съ мѣловыхъ скалъ Святогорскихъ, я, несомнѣнно, многое забылъ бы ради нея.

Горизонтъ безъ предѣла. Словно на ладони, все па восемьдесятъ верстъ впередъ. Внизу, подъ самыми ногами, извивается серебряная чешуя Донца. Берегъ опушенъ точно садами... Налѣво, на гористомъ берегу, хмурятся темныя сосны; внизу, въ долинѣ, нѣжная весенняя зелень, совсѣмъ пуховая, окутала черноплены, дубы, ясень, липы и клены. Точно мягкія зеленыя облака приникли тамъ и дремлютъ на этой красивой глади. Налѣво, на скатѣ, золотятся кровли села Бородичнаго; прямо прелестная просѣка къ церкви села Студенокъ. Еще ближе, въ ту же сторону, желтѣетъ село Банное. Далеко, далеко, изъ-за лѣса, лиловый дымокъ подымается; тамъ лѣсопильный заводъ обители. Направо—лѣса за лѣсами, одни смутнѣе другихъ; кажется, что неопредѣленнѣе очерковъ и представить себѣ нельзя, а всмотришься, за ними мерещатся еще болѣе туманные. А тамъ, на краю неба, синева погуще—опять лѣса, но ихъ уже только чувствуешь, но не видишь... Ближе къ намъ, песчаная отложина берега, сверкающая, какъ золото, и множество озерковъ, словно серебряные и голубые щиты, разбросанные по равнинѣ. Все это остатки недавняго разлива. Подъ самыми ногами—весь монастырь. Голова кружится, когда смотришь съ этой высоты. Колокольни снизу точно тянутся къ тебѣ, точно хотятъ подняться до этихъ мѣловыхъ скалъ. Лодочка на рѣкѣ. Муравей-рыболовъ топорощится тамъ. Направо, далеко-далеко, бѣлая вилла Потемкиной чуть прорѣзывается на зеленомъ скатѣ.

Гдѣ конецъ этому горизонту? Гдѣ рамки этой картины?

Мѣловыя скалы снизу кажутся орлиными гнѣздами. Сверху только чувствуешь себя подавленнымъ этими громадными, гнетущими воображеніе, массами. Бѣлые, рѣжущіе глаза спуски съ коричневыми пятнами лишаевъ изрѣдка. Послѣ дождя разорались лягушки, крики ихъ даже здѣсь все заглушаютъ. Какіе-то особенные, точно милліоны утятъ шумятъ на болотѣ. И соловьевъ не стало

*

слышно. Каждое озерко гремѣло и орало. Когда глазъ привыкъ уже, насмотрѣлся на всю эту даль, то сталъ приглядываться къ ея деталямъ. Вонъ бѣлыя точки барановъ... Вонъ бѣлыя искры внизу,—это гуси движутся къ Донцу, въ который точно опрокинулись и не могутъ наглядѣться пышные берега. Толпы народа снуютъ по монастырскимъ дворамъ, точно муравьи роятся тамъ!

— Теперь еще не такъ красиво!—послышалось за мною.

— Почему?—даже и не оглянулся я.

— Нужно попозже. Когда груша, яблоня и вишня распустятся внизу. Тогда истинно нерукотворная краса Господня!

Рядомъ съ нами, на одной высотѣ, взмываетъ орелъ. Широко раскинулъ мощныя крылья сѣрый хищникъ. Клювъ внизъ. Глаза зорко впились въ зеленую чащу... И что за воздухъ здѣсь! Послѣ дождя, тысячи благоуханій курятся вверхъ, какъ раскрытыя кадила.

— Вы на наши скалы воззритесь!

Массы голубей сидѣли на ихъ уступахъ. Снимется который нибудь, распуститъ хвостъ вѣеромъ, опишетъ громадный кругъ, какъ серебряный комокъ, сверкая на солнцѣ, и опять домой—на мѣловую скалу. Мѣлъ этихъ утесовъ бѣлъ и чистъ. Спайки кремневой породы прорѣзываются наружу, точно по этимъ снѣжнымъ массамъ ползутъ темныя змѣи. Кое-гдѣ видны черные квадратики окошекъ. Неужели тамъ, за ними, жили люди? Въ этой тьмѣ? За то какая чудная панорама творенья Божьяго раскрывалась передъ ними. Черныя окошки и вверху, на самыхъ лысинахъ утесовъ.

— Какъ могли забираться туда?

— Еще недавно жили!

Я оглянулся; до тѣхъ поръ было не до того.

Красивое блѣдное лицо подъ чернымъ клобукомъ. Изможденное. Вдумчивые печальные глаза.

— Антонинъ!..—рекомендуется монахъ.—Еще недавно жили,—продолжалъ онъ.—Вонъ, видите, на гладкой совсѣмъ скалѣ, что надъ пропастью нависла, какъ бы малое

логовище звѣриное. Кажется, на крыльяхъ только и можно туда подняться. Ну, а тутъ пустынникъ спасался. Прочтите о немъ, въ описаніи нашей обители есть разсказъ архимандрита. «Трудно повѣрить, если бы мы сами не были тому свидѣтелями, что тутъ жилъ, даже при насъ, тайный отшельникъ, и мы около полугода о томъ не знали. Удивлялись только, что устье пещеры этой было черно, и видали иногда какъ бы струю дыма, изъ него исходившую. Однажды подстерегли, впрочемъ, человѣка, но онъ тотчасъ скрылся во тьму своего логовища. Я самъ пришелъ сюда и сталъ умолять невѣдомаго раба Божьяго выйти изъ его вертепа, дабы не навлечь непріятности только что зарождавшейся обители, если въ ней будутъ скрываться неизвѣстные люди. Долго не было отвѣта на мои увѣщанія, какъ вдругъ, къ общему изумленію нашему, внезапно явился изъ устья пещеры сухой, изможденный человѣкъ, еще не старый, въ одной сорочкѣ. Легко перепрыгнулъ онъ черезъ пропасть, изъ своей пещеры, на остріе противолежащаго утеса, влѣзъ на нашъ балконъ и, молча поклонившись намъ, удалился. Такъ и не узнали кто онъ».

Чѣмъ это не отшельникъ Ѳиваиды? Чѣмъ не подвижникъ первыхъ вѣковъ христіанства въ Палестинѣ?

Глядя на эти бѣлыя вершины, дѣйствительно, повѣришь тому духу уединенія, который, подъ этимъ аѳонскимъ небомъ, объемлетъ пустынножителя святогорскаго. Не захочется самому внизъ, къ этимъ кучамъ муравьевъ, что суетятся тамъ, въ непрестанной заботѣ о прибыткѣ, что мучаются и волнуются тревогами о мѣдномъ грошѣ. Эти скалы, впрочемъ, и на окрестное крестьянство дѣйствуютъ также. Однажды, возвращаясь отъ утрени, монахъ замѣтилъ на одномъ изъ остроконечныхъ утесовъ, самомъ высокомъ, какъ будто человѣка «съ развивающеюся отъ него хартіею».

— Меня объялъ ужасъ. Не мечтаніе-ли бѣсовское?— объяснялъ монахъ.

Спрашиваетъ у келейника, а тотъ весь блѣдный... Тоже, значитъ, увидѣлъ.

Братія на другую, доступную скалу двинулась. Подошла поближе. Видитъ, стоитъ на той ближняго села мужикъ, одержимый лунатизмомъ. Какъ онъ взобрался— никому не въ домекъ. Приступу—ни откуда! Сперва онъ стоялъ, потомъ сѣлъ, такъ что изъ подъ него камни посыпались. Сталъ громко кричать: «ожидаю благодати свыше», а по вѣтру развивалась длинная «разрисованная хартія», которую онъ повязалъ себѣ на шею. Боялись назвать его по имени, чтобы не очнулся и не упалъ въ пропасть. Принесли шесты и веревки, дабы его спустить какъ нибудь. Черезъ полчаса онъ очнулся и, въ ужасѣ схватившись за скалу, сталъ вопить и умолять, чтобы его сняли. Кое-какъ добросили ему веревки, которыя онъ обмоталъ за вершину скалы и спустился оттуда съ чрезвычайною опасностью.

— Я и до сихъ поръ не понимаю, какъ онъ могъ влѣзть туда,—прибавилъ монахъ.—Только птицѣ доступно!

Мнѣ самому казалось, когда я смотрѣлъ отсюда внизъ, что надъ всею этою гладью воздушный корабль несетъ меня въ синевѣ теплаго воздуха. Вотъ, вотъ надвинется онъ на Донецъ, оставитъ его за собою.

И голова кружилась, и въ вискахъ стучало.

Внизъ отсюда идутъ крытыя галлереи. Кое-гдѣ онѣ лѣпятся по каменной породѣ. Направо и налѣво щелятся черныя трещины. Грузинъ попался намъ на встрѣчу. Какъ онъ попалъ сюда? Молится на каждый крестъ, кланяется чуть не въ каждое окно святынямъ обители. На камнѣ держатся кое-какъ громадныя деревья. Корни разбросали по щелямъ. Трескается камень подъ ними. Темная чаща заслонила солнце. Точно въ царствѣ изумруднаго блеска идемъ мы назадъ. На встрѣчу артель тульскихъ рабочихъ. Какъ и слѣдуетъ быть, туляки разинули ротъ и дивуются.

— Ахъ, ты, Господи! Монашки-то, монашки... Гдѣ прилѣпились, а?

— Чудеса.

— На воздусяхъ. Примѣрно, какъ птица. А?

— Что ужъ...

— Куда вы, братцы, пробираетесь?

— А на Украйну. Найматься... Робя!.. Во енъ какой!

— И звѣря же лютая!

— Съистъ онъ ее?

— Какъ не съистъ. Читай-ко!

— Святая мученица Перепетуя!

— Ну, на то она мученица, чтобы звѣрь ее съилъ. Это ужъ такъ, братцы, положено. Безъ этого тоже не обойдешься!

— А другихъ каленными щипцами! Я тоже, робя, видалъ!

— И каленными. Не то, что ноне... Ноне больше въ морду влетаетъ!

— Претерпѣвый до конца—спасется!—гудитъ издали басъ монаха.

Посмотрѣлъ и я на картину, которую разглядывали туляки, и, не взирая на святость мѣста, засмѣялся. У льва проборъ на боку и виски впередъ зачесаны. Оказалось, что это видѣніе св. Перепетуи. Дальше христіане, отданные на съѣденіе дикимъ звѣрямъ: львамъ и тиграмъ; въ этой же компаніи преспокойно прогуливается корова! Подъ картиною надпись, ни съ того, ни съ сего:—«Узки врата, и тѣсенъ путь, вводяй въ животъ, и мало ихъ есть, иже обрѣтаютъ его. Такъ узка и прискорбна добродѣтель. Всѣ мы должны блюсти себя опасно, чтобы не угрызъ насъ прелестный змій, т.-е. гордость, невоздержность, чревоугодіе, лакомство, піанство и блудъ! Сіи прелестныя страсти зміевы — суть власти и различныя крюки—суть грѣхи. Всякъ самъ себя блюди и, съ помощію Божіею, по златой лѣстницѣ въ рай иди. А кто полезнаго вамъ желаетъ, о томъ Бога молить подобаетъ».

— Вотъ такъ грамота, братцы!—восхищались туляки.—Ишь, ты, какой?..—тыкалъ одинъ въ прелестнаго змія.

— Времена были.

— Ноне, братъ, хуже!

— Ну?

— Что змій! Перекстился — и нѣтъ его! А ты вотъ откстись-ко отъ становаго!

— Отъ становаго не откстишься!

— Оно и есть...

— А то тоже—прискорбна добродѣтель!.. Енъ, братъ, какъ всыпетъ...

— Какъ не всыпать. Будь спокоенъ. Съ легкимъ сердцемъ всыпетъ!

— Ну, то-то! Енъ, братъ, угрызетъ. Тутъ, братъ, не соблюдешь!

— Блюди себя, опасно—сказано...

— Енъ тебѣ покажетъ! А то змій!.. Что змій!

Когда мы сошли внизъ, въ темное царство дубоваго лѣса,—уже смеркалось. Съ противоположнаго берега Донца доносилась пѣсня. Я прислушался.

«Ой якъ мині моя мати
Важко не вздихати,
Пригнавъ чумакъ сімъ паръ волівъ
Та-й ставъ запрягати...»

Голосъ былъ звонкій, высокій. А тутъ соловьи гремятъ... Къ сердцу приростало это благодатное Святогорье. Всю ночь почти я бродилъ надъ рѣкой, любуясь, какъ мѣсяцъ съ высоты обливаетъ нервно вздрагивающимъ, словно зыблющимся свѣтомъ, мѣловыя скалы Донецкой Ѳиваиды.

XIII.

Прежде и теперь.

— Въ крѣпостное время, богомольцевъ у насъ бывало очень немного, не пускали помѣщики. Въ первый-же годъ по освобожденіи повалили тысячами. Тоже умножилась и братія!—пояснялъ мнѣ отецъ Антонинъ, съ которымъ я познакомился на мѣловыхъ скалахъ.

Вообще нынѣче народъ сталъ гораздо религіознѣе и нравственнѣе. Объ этомъ свидѣтельствуетъ весь монастырь. Прежде въ округѣ обители было гораздо больше преступленій, хотя дальше становыхъ значительная часть ихъ шла. Теперь же каждому даютъ ходъ—формалистами

стали, оттого и кажется много. Прежде за воровство и грабежи и за болѣе мелкіе проступки драли у становыхъ на дому, теперь обо всемъ протоколы и судбища. И откупались прежде гораздо чаще. Оттого послѣднее время и кажется слишкомъ чревато преступленіями. А, въ сущности, подъ вліяніемъ новыхъ учрежденій, народная нравственность значительно поднялась. Реформы воспитали народъ; это лучшій аргументъ къ посрамленію тѣхъ, которые любятъ ссылаться на нашу неподготовленность, на необходимость медленности въ преобразованіяхъ.

— Вы посмотрите: у насъ богомольцы, не только сами молятся, но и за незнакомыми слѣдятъ, чтобы молились. Въ обители заспаться другъ другу не дадутъ. Булавки не пропадетъ. Вѣдь паспортовъ не спрашиваемъ. Воры приходятъ, бѣглые притекаютъ, но все и всегда цѣло. Не шалятъ у насъ!

— А и бѣглыхъ случается, значитъ, встрѣчать?

— Что-же,—потупился монахъ:—это по мірскому они бѣглые, а по нашему—нѣтъ. Такіе еще нужнѣе Богу. Обремененные! Вотъ кто они по нашему. Судьи земные ихъ злодѣями нарекаютъ, а Отецъ Небесный говоритъ: азъ упокою вы... Такого спасешь, ему Господь-то больше еще радуется, чѣмъ девяносто девяти праведникамъ. Я помню, въ одной обители монахъ былъ, праведнѣйшей жизни старецъ, всѣмъ инокамъ примѣръ, а въ міру за грабежъ сколько разъ судился—сосланъ былъ. Съ сытой жизни не бѣгаютъ; кому жить хорошо, тотъ за темничные затворы не попадетъ. А кому жизнь омутъ, кто жизнью обиженъ—того укрыть надо, упокоить... Развѣ онъ виноватъ... Совсѣмъ ожесточенныхъ — нѣтъ. Такіе только въ книгахъ свѣтскихъ, да у прокуроровъ вашихъ на языкѣ. Іуда Искаріотскій, на что злодѣй, а и тотъ какъ каялся. Самъ себя смертью покаралъ... Нѣтъ—мы не спрашиваемъ: откуда и кто. Зачѣмъ? Пусть въ каждомъ человѣкѣ совѣсть проснется. Какъ ласково съ нимъ обойдутся—сейчасъ опамятуется. Разбуди его душу, какими она кровавыми слезами заплачетъ!.. Все смоетъ, всякій

грѣхъ... Ни вотъ эстолькою пятонушка не останется; потому нѣсть грѣха, превышающаго милосердіе Божіе!

— Сколько у васъ всего богомольцевъ перебываетъ?

— Да въ годъ тысячъ до восьмидесяти. Къ одному Николину дню тысячъ пятнадцать сойдутся, да къ Успеньеву столько-же. А вотъ хотите убѣдиться, когда было лучше людямъ, при помѣщикахъ или теперь?

— Хочу!

— Спросимъ-ко вонъ хохла!

Спросили. Тотъ глубокомысленно почесалъ традиціонный чубъ, уставился внизъ, подумалъ, подумалъ и, наконецъ, разрѣшилъ:

— Прежде мы чоботъ не носили и жили хуже, потому на пана работали, и работали съ утра до ночи. У насъ паны были злыдни... Донимали... Ну, а нынѣ, слава Богу, оправились!

— Ну, а пьете больше?

— И пить меньше стали. Прежде дѣвка — панская была, а баба — наша. А нынче все наше!

XIV.

Святогорскій Эдиссонъ—отецъ Антонинъ.

Отецъ Антонинъ, съ его умнымъ лицомъ и задумчивыми глазами, производилъ сильное впечатлѣніе. Я разговорился съ нимъ; оказалось, что онъ механикъ-самоучка, да не по верхамъ только, а въ самую глубь проникъ. Онъ изъ полтавскихъ купцовъ.

— Отецъ у меня суровый былъ,—разсказывалъ онъ,— заниматься запрещалъ. Увидитъ съ книгой, до полусмерти изобьетъ. Прятался я отъ него, чтобы учиться; бывало, ищешь, гдѣ такая щель, куда бы съ книгой уйти. Бѣгалъ я—ворочали. Бросить книгу не могъ. Очень ужъ тянуло ко всякому знанію. Сна себя лишалъ, день деньской, какъ тѣнь, слонялся. Сталъ онъ слѣдить, горитъ-ли у меня чь въ горницѣ. Что было дѣлать! Отдѣлиться нельзя;

такъ убѣжать — безъ паспорта куда пойдешь? Время жестокое было. И задумалъ я уйти въ монастырь, чтобы учиться на просторѣ. Призванія настоящаго иноческаго не было. Говорю отцу, что въ обитель желаю. Побилъ, побилъ, но все-таки не совладалъ, отпустилъ. Архимандритъ Арсеній тогда правилъ; ну, тотъ помогъ. Работай, говоритъ...

Только работать-то ему и здѣсь вышло не совсѣмъ способно. Камень преткновенія — монастырскій уставъ. Онъ вовсе не даетъ простора такимъ талантамъ. Слѣдуетъ, прежде всего, смирять гордыню. Изобрѣлъ что человѣкъ — его сейчасъ же смирять, чтобы не вздумалъ превознестись. Для этого разныя цѣли есть: можно положить на время запретъ работать или послать потрудиться на задній дворъ и чисто физическимъ, къ тому же не совсѣмъ чистоплотнымъ занятіемъ — обрѣзать крылья. Или унизить чѣмъ нибудь, да такъ, чтобы превознесящійся голову опустилъ пониже и червемъ себя счелъ, червемъ, ползущимъ и смердящимъ. Ну, а тамъ опять позволятъ отрости крыльямъ. Потому что обители все-таки польза — хоть часы починитъ или какое нибудь приспособленіе выгодное придумаетъ, сокращающее число необходимыхъ наемныхъ рабочихъ.

— Ну, а васъ такимъ образомъ смиряли?

Отецъ Антонинъ молча опустилъ голову, сморгнулъ слезу и замолчалъ. Видимое дѣло — тяжко человѣку.

Соловьи за окномъ наполняли своими пѣснями душную тишину этой кельи.

— Вы вотъ о мужикѣ говорили. Толкуете, что въ Питерѣ у васъ крестьянина чуть не обезьяной представляютъ. А по моему, способнѣе народа нѣтъ. У насъ, у купцовъ, дѣти куда не такъ способны. Вотъ прежде были при монастырѣ поселянскіе мальчики. И у меня ихъ нѣсколько въ мастерской работало. Нахвалиться не могу. Умъ-то, умъ какой! Сразу беретъ. Покажешь ему, а ужъ онъ самъ развьетъ. Орломъ хватаетъ! — воодушевился о. Антонинъ, даже глаза его загорѣлись.

— Былъ у меня одинъ такой. Чудеса дѣлалъ. Бралъ я взрослыхъ городскихъ слесарей—куда, сравненія нѣтъ! Совсѣмъ дерево — рядомъ съ нимъ. Самъ сталъ разныя приспособленія выдумывать. Нарадоваться я не могъ на него! Экъ, кабы народу да школу настоящую! Я, знаете, тупыхъ мальчиковъ между крестьянами не видѣлъ. Съ-лету понимаютъ!

— Куда-же этотъ дѣлся?

— Послалъ я его къ нѣмцу—механику одному. Ну, тотъ его встрѣтилъ не больно-то ласково. У меня, говоритъ, былъ попъ, что тебя крестилъ, только жаль, что не утопилъ! Ну, онъ послѣ того и забросилъ работу, захирѣлъ и спился. А какой малецъ то былъ!..

Швейная машина разъ уже была упрощена отцомъ Антониномъ. Сосѣдній помѣщикъ взялъ ее въ Петербургъ, съ цѣлью отдать модель профессору Киттарѣ.

— Ну, а въ Питерѣ съ помѣщикомъ этимъ грѣхъ случился!—добродушно улыбнулся о. Антонинъ.

— А что?

— Да въ карты онъ шибко игралъ. Продулся и модель мою спустилъ. Такъ все и пропало!

Многое задумывалъ этотъ монахъ, да денегъ не было на исполненіе, ну, и бросалъ. О. Антонинъ до того нуждался въ средствахъ, что одну модель едва могъ выполнить въ три года, выжидая нѣсколько рублей для покупки чугуна. Онъ самъ при этомъ и отливаетъ, и рѣжетъ. Иныя задуманныя имъ машины онъ долженъ былъ совсѣмъ видоизмѣнять и биться надъ ними, придумывать другія, изъ-за того только, что для исполненія первыхъ у него не было какого нибудь подшипка или иной, самой простой вещи. Часто ему приходилось отказываться отъ болѣе тонкаго и чувствительнаго механизма и замѣнять его инымъ, по недостатку средствъ. Потомъ, прежде чѣмъ сдѣлать модель, ему приходилось цѣлыми мѣсяцами потѣть надъ приготовленіемъ инструментовъ, которые, за нѣсколько рублей, онъ могъ бы купить въ ближайшемъ городкѣ. Монастырь въ этихъ случаяхъ совсѣмъ не помо-

таетъ. Когда онъ изучалъ математику — работать надъ ней приходилось по ночамъ, до утрени. Днемъ надо на обитель трудиться. Опять какая разница съ Соловками во время моего посѣщенія. Тамъ бы не дали этой силѣ пропасть даромъ.

И въ такой невозможной средѣ отцу Антонину пришлось сдѣлать многое. Исходя, напримѣръ, изъ того, что главный недостатокъ нынѣшнихъ молотилокъ это частый ремонтъ, котораго онѣ требуютъ, о. Антонинъ изобрѣлъ свою, не паровую и не сложную, а дешевенькую молотилку, и такую, притомъ, что она сама беретъ хлѣбъ, значительно уменьшая количество труда подающаго ей работника. Изобрѣсти изобрѣлъ, а на модель денегъ нѣтъ.

— Куда дѣваться, куда пойти съ своими изобрѣтеніями! Поневолѣ опустишь голову! Поневолѣ сложишь руки и въ монастырскую колею войдешь!

Упростилъ онъ американскій топчакъ, на колесахъ его сдѣлалъ и механизмъ измѣнилъ, да все такъ и осталось. Денегъ нѣтъ, осуществить нельзя. Видѣлъ я и часы, которые онъ дѣлалъ ктитору. Совершенно своеобразный маятникъ. Показать нашимъ часовщикамъ—ахнули-бы! Придумалъ онъ и телѣгу, очень оригинальную. Колеса въ ней вертятся вмѣстѣ съ осями и притомъ длинныхъ осей не надо, а довольно короткихъ кусковъ желѣза. Раздобылся на модель, отдалъ кому-то—такъ и забросили.

— Куда не кинь, все клинъ! Какъ съ дѣтства мертвою петлею захлестнуло, такъ и до сихъ поръ!—грустно улыбается о. Антонинъ.

Додумался онъ до приспособленія парового двигателя, такъ чтобы былъ примѣнимъ ко всему, дѣйствуя на всю окружность вала и при томъ безъ мертвыхъ точекъ. Чертежъ составилъ.

— Ну, и что-же?

— Да вотъ видите—въ карманѣ ничего. Пожалуй, моихъ средствъ и хватило бы на самыя простыя модели, да отецъ умеръ разоренный. У меня мать старуха, братья, всѣхъ ихъ содержу!

И содержать то приходится изъ копѣечныхъ средствъ. Келья у него маленькая, душная. Въ ней не только работать, сложа руки, трудно просидѣть. А какъ, напримѣръ, онъ занимается, задавшись чѣмъ нибудь. Пока свою швейную машину изобрѣталъ пять разъ передѣлывалъ и бросалъ ее, неудовлетворенный. И вся эта масса громаднаго таланта, весь жаръ изслѣдователя, весь каторжный трудъ— ни къ чему. То кто-нибудь плодъ его пятилѣтнихъ усилій въ карты спуститъ, то монашествующая братія найдетъ, что онъ превознесся гордыней, и давай его смирять!

— И какими цѣлями я задавался. Хотѣлось монашеское званіе возвысить, чтобы всѣ видѣли, какъ иноки работаютъ, чтобы не считали насъ дармоѣдами и тупеядцами... Эхъ! Превыспреннія мечты питалъ — всю округу поднять, хлѣбопашество наше не иныя основы поставить... и занялся было, ночи просиживалъ—а тутъ вдругъ монастырь отдалъ свои земли крестьянамъ изъ трети!

Что за неутолимая жажда труда и знанія была въ этомъ человѣкѣ. Особенно гордится о. Антонинъ часами, которые до сихъ поръ красуются на монастырской колокольнѣ. Часы эти сдѣланы на диво. Имъ изумлялся даже харьковскій профессоръ, посѣщавшій обитель, но, разумѣется, только при одномъ изумленіи и остался. Пальцемъ не шевельнулъ, чтобы помочь о. Антонину выбиться. Работалъ эти часы о. Антонинъ нѣсколько мѣсяцевъ; отли[illegible]ъ, рѣзалъ, точилъ, все самъ, до послѣдняго гвоздика. При этомъ и тутъ не ограничился готовымъ шаблономъ, но измѣнилъ регуляторъ колокольныхъ часовъ на манеръ хронометра и вышло очень удачно.

Отцу Антонину пришлось такимъ образомъ изучить самому почти всѣ механическія производства. Онъ и слесарь, и токарь, и мѣдникъ, и литейщикъ. Онъ мнѣ показывалъ цѣлую груду изящныхъ чертежей—все [illegible] проекты.—Я не знаю человѣка, разсказъ котораго произвелъ бы на меня болѣе гнетущее впечатлѣніе. Отецъ Антонинъ— монахъ съ 18 лѣтъ. Двадцать шесть лѣтъ вѣры въ свое призваніе и разочарованій, новыхъ увлеченій и новыхъ

ударовъ. Работникъ подъ рясою іеродіакона! Вотъ они, эти мученики труда и мысли! Говорятъ, золото и въ грязи видно, истинные таланты не пропадаютъ. Загляните-ко вы въ наши захолустья, да посмотрите, сколько тамъ гибнетъ талантовъ и знанія. И какъ еще гибнетъ—безъ слѣда, безъ толку!

Да, горькая твоя участь, русскій Эдиссонъ! Вѣдь это живая душа бьется, вѣдь это живое сердце обливается кровью. Съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ о. Антонина, прошло уже четыре года. Что съ нимъ? Работаетъ ли онъ по прежнему? Борется ли онъ? Или уже померкли эти грустные, пытливые глаза, совсѣмъ высохло и стало иконописнымъ это живое лицо, лицо, озарявшееся талантливою мыслью?

XV.

На дачѣ графини Потемкиной.

Совсѣмъ итальянская вилла!

Пріютилась на горѣ и закуталась въ благоуханную чащу, точно отшельникъ, бѣгущій отъ міра. Внизу—мирный Донецъ. Обогнулъ онъ выступъ этой горы и бѣжитъ дальше, чтобы приласкаться къ мѣловымъ скаламъ монастыря. За нимъ озерки, сплошь охваченныя облаками орѣшника и молодого дуба. Съ верхняго балкона виллы все, какъ на ладони; и бѣлые утесы, и самая обитель. Лучшаго пункта нельзя было избрать для картины. Выступы горъ за выступами—и всѣ обрушиваются въ Донецъ. Та же даль, что и съ мѣловыхъ скалъ. Не наглядишься на нее. Горы справа, точно чьи-то руки, обняли долину, и нѣтъ у нихъ силъ разогнуться. Ласкаютъ ее и нѣжатъ. Берегутъ отъ чьего-то завистливаго взгляда. Идиллическою прелестью дышутъ эти дали. Глазъ не разбѣгается, какъ въ Соловкахъ. Вся картина цѣликомъ передъ вами, гармоничная въ своихъ деталяхъ. При всей ея громадности, впечатлѣніе полно и опредѣленно.

Яркія бабочки носятся въ воздухѣ. Подъ легкимъ вѣт-

ромъ, внизу, у самыхъ ногъ, колышутся вершины деревьевъ. Слушаешь, и чудится, что это море далекое бьется въ мѣловые берега и катитъ волны по нимъ вплоть до крутыхъ откосовъ.

Вонъ, по дорогѣ, точно черные жуки, возы ползутъ, едва видны; скрипъ ихъ колесъ чуть доносится сюда. Выше насъ одно синее небо, да орелъ, широко разбросившій крылья. Подъ балкономъ — бабы-богомолки крестятся на виллу.

— Ишь, монастырекъ какой!

— А гдѣ хрестъ-отъ?

— Нѣтъ хреста. Все одно—и безъ хреста мѣсто свято. Ишь, отецъ сидитъ!—указываютъ онѣ на меня.

— Гдѣ тутъ угодникамъ помолиться, святой отче?— обращается ко мнѣ.

При всемъ великомъ соблазнѣ побыть хоть минуту святымъ отцомъ, я ихъ разочаровываю, и онѣ спѣлзаютъ внизъ. Гдѣ-то далеко, должно быть, въ «Банномъ», поетъ пѣтухъ... Крикъ его донесся сюда. Собаки за рѣкою лаютъ. Плотъ по водѣ ползетъ. Кажется, такъ медленно. Нестрая толпа насѣкомыхъ-гребцовъ на плоту. Вѣтеръ гонитъ по рѣкѣ зыбь, точно пылью подергиваетъ. Вѣтеръ и до меня добрался, обдалъ запахомъ бѣлой акаціи и шумитъ уже дальше, въ пустыхъ комнатахъ виллы, заботливо приподымая чехлы съ мебели, сметая пыль съ угловъ и будя пауковъ, что заснули въ щеляхъ за своими паутинками.

Какой-то монахъ вползъ по мнѣ на балконъ. Толстый, благополучный...

— Господи благослови!

Я поклонился ему.

— Богу помолиться пріхали?.. Ну, что, въ соборѣ нашемъ были?

— Былъ.

— Ну, слава Богу!

Молчаніе...

— Понравилось?

— Да, очень!

— Ну, спаси васъ Богъ!

И опять молчаніе. Только воздыхаетъ, да чрево свое поглаживаетъ, щурясь, какъ котъ, на солнце. Наконецъ, видимо, ему надоѣло безмолствовать.

— Аще бо пойду посреди сѣни смертныя—не убоюся зла... (пауза). Яко ты, Господи, со мною... (пауза). Се бо твой есмь азъ...—Зѣвнулъ сладко, сладко.

И опять молчаніе. И опять щурится на солнце.

— Женаты?

— Да.

— Суета... Неоженившійся печется о Господѣ... И давно побрались (на мѣстномъ нарѣчіи—женились)?

— Нѣтъ!

— Оставитъ человѣкъ отца своего и...—Новая пауза. Видимое дѣло — лѣнь человѣку. — По какому вѣдомству службу прохождаете?

— Не служу!

— Что-жъ такъ?.. При младыхъ лѣтахъ... И предаде ся волѣ пославшаго его, и изрекоша паки и паки... Благороднаго сословія?.. Такъ!.. Одержимы благочестіемъ, или такъ любопытствуете обитель нашу?.. Вы не иновѣрецъ ли?—подозрительно взглянулъ онъ на меня.

— Почему вы думаете, что иновѣрецъ?

— Такъ... Свободный взглядъ имѣете — въ очахъ у васъ препоны не замѣчаю... Какъ, по вашему, китъ—рыба или земноводное, и каковымъ путемъ, имѣя глотку столь узкую, проглотилъ онъ пророка Іону?

— Иначе бы и чуда не было!

— Чего?

— Иначе бы и чуда не было,—говорю!

— А!.. Вотъ оно!.. Эге!.. Скажите, пожалуйста... Точно!.. — изумился монахъ моей находчивости. — Господь захочетъ — и блоха, на что звѣрь малый, проглотитъ!.. Это я вамъ испытаніе, въ родѣ какъ бы экзаменъ... Потому нынѣ благородные господа не вѣруютъ. А теперь вижу—вы признаете... Ну, спаси васъ Господь! Такъ-то лучше. Да тихое и безмолвное житіе поживемъ, во вся-

комъ благочестіи и чистотѣ... Мѣстоположеніе наше вы какъ?.. Одобряете?

— Мѣста чудесныя!

— Точно, предивно; гора—и на горѣ монастырь. Была пустыня мертвая — и нѣтъ ея... По слову пророка: «да возвеселится и да цвѣтетъ, яко кринъ...» Вы мнѣ понравились, я къ вамъ благожеланіе питаю... Будете въ обители—спросите Серапіона. Іеромонахъ Серапіонъ. Ну, Господь съ вами!

И опять тишина кругомъ, только скрипъ Серапіоновыхъ сапогъ доносится изъ сада.

Отсюда видно, сколько работы парому. Толпа за толпой стекается къ монастырю. Бѣлыя свитки хохлушекъ ярко блестятъ на солнцѣ, въ перемежку съ коричневыми кафтанами. Тѣмъ не менѣе, несмотря на обиліе народа, крестьянинъ здѣсь далеко не такъ религіозенъ, какъ на сѣверѣ. У воротъ обители покуриваютъ трубочки. Ругань иногда виситъ въ воздухѣ. Даже рабочіе на паромѣ попыхиваютъ табакомъ. Монахамъ запрещено, а богомольцы—во всю. Вонъ лодченка внизу наткнулась на палю и завертѣлась. Сунулся гребецъ въ другую сторону—и наткнулся на корчу.

— Какого стиля эти колонны, по вашему?

Обертываюсь—неугомонный отецъ Стефанъ.

— Коринфскаго, полагаю!

— Почему не иныя какія? Можетъ и иныя, а? — не воздержался онъ, чтобы не попробовать заспорить. — А вотъ что! Я за вами... Вы желали нашу лавку посмотрѣть!

— Ну?

— Пойдемте. Я хотѣлъ отсюда съ балкона снять фотографію, да камеръ-обскура мала!

— А хорошо бы!

— Еще какъ! Цѣлый альбомъ видовъ святогорскихъ можно бы составить!

XVI.

Монастырская — булочная и лавка.

Мимоходомъ зашли въ будочную. Арендуетъ ее мірянинъ. Хлѣбъ продается скверный, маловѣсный.

— Что вы монастырю платите?

— Плачу 100 рублей въ годъ. Плачу-то малость!

— Отчего у васъ хлѣбъ плохой?

— Контрахтой связалъ себя. Долженъ не иначе, чтобы муку у монастыря брать. Мнѣ и даютъ; только вмѣсто семи рублей за четверть — тринадцать дерутъ монахи. Потому и хлѣбъ не хорошъ, и дорого!

Благодаря этому, а также и отсутствію конкуренціи, богомольцы не могутъ добыть порядочнаго хлѣба, платя притомъ за трехкопѣечную булку вдвое.

— У насъ, въ Харьковѣ...—протестуетъ богомолецъ.

— Ну, что тамъ у васъ! Иди, иди, за мѣсто у насъ деньги берутъ!—гонятъ его изъ булочной.

— Чего ты! — усовѣщиваетъ богомольца встрѣчный монахъ.—Не стыдно-ли? Ты развѣ чреву угождать сюда пришелъ.—Претерпѣвай гладъ!.. Въ кои-то вѣки въ обитель зайдешь, да еще смутьянишь... То не хорошо, другое дурно. А ты пойми, можетъ, булка и не вкусна, да на ней благодать и благословеніе обители почіютъ. Ты, братъ, по своему у насъ не прикидывай!

Лавка устроена снаружи. Она примыкаетъ бокомъ къ монастырю, а другимъ выходитъ къ рѣкѣ. Торгуютъ въ ней монахи. Говоръ—книги духовно-нравственнаго содержанія, преимущественно синодальныя, картины, виды монастыря, ужасно скверно сдѣланные, ложки разныхъ сортовъ, съ крестомъ вмѣсто ручекъ, съ разными силуэтами святыхъ; кресты, четки изъ масличныхъ зеренъ, богородничныхъ слезъ, сухого гороху; образки, распятія, пояски. Изъ всего этого монастырь производитъ только одпѣ ложки — больше ничего. Образками снабжаетъ Троицко-Сергіева лавра, а книгами — синодальная типо-

графія; даже четки изъ гороху покупаются монастыремъ на Аѳонѣ. Перламутровые кресты—изъ Виѳлеема, привозятъ ихъ греки. Сунулся я было къ видамъ монастыря. Скверные, плохіе, по 60 к. штука; альбомъ изъ 15 плохихъ картинъ—5 р.

— Что такъ дорого?

— Нужно же въ пользу святыя обители хоть какой нибудь профитъ получить!—бойко отрѣзалъ монашекъ.— Сами деньги платимъ. Не безъ проценту же!

Малороссы толпой приступились тоже. Поторговались и назадъ. Видятъ—не сладко: цѣны высокія, монахи не сговорчивые... Костромская кособрюхая артель привалила.

— Почемъ этотъ богъ-то? — тыкаютъ пальцами въ картину.

— Рубль! Рубль, благословенные, рубль!

— Нельзя ли подешевле? Ишь, какой онъ! Никакой въ немъ красы нѣтъ!

— Нельзя, нельзя, рабы Божьи!

Продавецъ въ лавкѣ—тулякомъ оказался. Онъ іеромонахъ. Видимо, и сюда онъ перенесъ принципъ: не надуешь — не продашь. Я, по крайней мѣрѣ, не думаю, чтобы обитель сама назначила такія цѣны.

— Сколько за Богородицу?—показываетъ костромичъ на св. Варвару великомученицу.

— Полтинникъ!

— Ну, давай!

Такъ св. Варвара и сходитъ у монаховъ за Матерь Божію.

Вечеромъ я опять встрѣтилъ на дачѣ Потемкиной. Здѣсь будетъ умѣстно разсказать о томъ, какъ, послѣ запрета, опять возникъ этотъ монастырь, тѣмъ болѣе, что главное участіе въ его возстановленіи принимала именно Татьяна Борисовна. По смерти Юсупова, Святогорское имѣніе досталось Алексѣю Михайловичу Потемкину. Всего въ этомъ районѣ числилось до 20,000 дес. земли, причемъ половина ея была пахотная. Потемкинъ въ 1842 году обратился въ святѣйшій сунодъ съ просьбою о возобновленіи

обители, предлагая съ своей стороны 70 дес. лѣсной, сѣнокосной и огородной земли и проценты съ 10,000 р., жертвуемыхъ имъ на это. Черезъ два года состоялось по этому предмету Высочайшее повелѣніе, органичивавшее штатъ монастыря 24 лицами. Пожертвованіе было каплею въ морѣ, сравнительно съ тѣмъ, что дала обители Татьяна Борисовна. Ее до сихъ поръ поминаютъ монахи, обрушиваясь за то на нынѣшнихъ ея наслѣдниковъ, Рибопьеровъ, всѣми громами своего неудовольствія. Оказывается, что эти ничего не дали Святымъ горамъ. Потемкина пріѣзжала сюда чуть-ли не каждое лѣто. Въ судьбахъ обители она принимала самое живое участіе. Благодаря ей, монастырь получилъ извѣстныя льготы и былъ достаточно рекламированъ въ Петербургѣ.

Но если Потемкина была строительницей и благотворительницей обители, то ея управляющій сталъ здѣсь ужасомъ для всего населенія окрестнаго района. Оно бѣдствуетъ, разоренное мѣрами, принятыми имъ въ интересахъ владѣльца. Разумѣется, это выгодно обители. Дешевле рабочія руки, да и крестьянство въ кабалѣ, потому что ограбленнымъ хлѣбопашцамъ только одинъ монастырь можетъ оказать и оказываетъ помощь. Управляющій имѣніемъ Потемкиной съумѣлъ устроить дѣла такъ, что поселянамъ досталось въ надѣлъ только по двѣ десятины на семью. Если бы не арендуемая ими монастырская земля—мужикамъ пришлось бы умирать съ голоду. А какія подати при этомъ: въ селѣ Татьяновкѣ, напр., среднимъ числомъ, два работника въ семьѣ платятъ по 30 р., посѣва же на всю семью $1^1/_2$ десятины!

XVII.

Подземный ходъ.

Мѣловыя скалы, словно жилами, проточены подземными ходами, которые ведутъ сверху внизъ. Отъ подножія монастыря можно дойти ими до самаго Ѳа-

вора, какъ называютъ свою вершину святогорскіе монахи.

Отецъ Серапіонъ, который послѣ экзамена на дачѣ Потемкиной, почему-то привязался ко мнѣ, ждалъ уже съ пучкомъ восковыхъ свѣчъ.

Черная щель раскрылась передъ нами.

— И се разверзаются врата адовы!—шутилъ онъ по своему.

Насъ обдало мракомъ и сыростью. Ощутительный запахъ плѣсени стоялъ въ влажномъ воздухѣ. Черная тьма густилась впереди. За нами, въ отверстіи пещеры, колыхались зеленыя вѣтви, и свѣтило солнце, но долго. Визгливо скрипя и словно жалуясь кому-то, затворилась дверь, и теперь только колеблющееся пламя двухъ восковыхъ свѣчей озаряло небольшое пространство могилы, въ которую мы были опущены. Меловыя скалы— нѣсколько повыше. Теперь мы медленно подвигались впередъ жилою, пронизавшею обыкновенный грунтъ. Скоро, впрочемъ, сырости не стало. Стѣны этой жилы побѣлѣли: мы были уже въ меловомъ утесѣ.

Шли тихо... Тѣсно, — двоимъ въ рядъ идти трудно. Второстепенныя жилы, въ разныхъ направленіяхъ, разбѣгаются по скаламъ. Кажется, что идешь въ гигантскомъ окаменѣломъ трупѣ, сквозь когда-то бившіяся и полныя кровью, а теперь пустыя артеріи... Дунуло вѣтромъ изъ боковой жилы, и свѣчи наши потухли. На минуту мы остались въ тяжеломъ подземномъ мракѣ. Именно подземномъ, таково ощущеніе. На землѣ мракъ не мѣшаетъ вамъ дышать, не давитъ васъ. Вы чувствуете тамъ просторъ. Здѣсь эта тьма гробовою крышкою ложится на вашу грудь.

— Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ и освѣщаетъ вся!— И отецъ Серапіонъ съ довольною улыбкою возжегъ свѣчи.— Для свѣтскаго человѣка сіи ходы подземные ужасны; намъ же они отрадны, знаменуя, сколь многіе труды были подъяты на рамена свои первыми пустынножителями святогорскими!

При свѣтѣ, жила казалась уже совсѣмъ бѣлой. Сырость еще стояла здѣсь, видимо, снизу дышало влагой. Сырость осаждалась и на стѣны. Нельзя было упереться въ нихъ ладонью, такъ онѣ были мокры. Ходъ идетъ все вверхъ по довольно крутому наклону.

— Преосвященный Арсеній!—тыкаетъ отецъ Серапіонъ въ какую-то дверцу.

— Кто?

— Погребенъ первый изъ нашихъ настоятелей. Въ скалѣ мѣловой пещерка малая. Добродѣтельнаго житія былъ. При немъ и обитель поднялась. Онъ самъ себѣ здѣсь могилу избралъ!

Черная дверь могилы осталась позади. Опять сырость подземной жилы пронимаетъ насъ. Нога скользитъ, точно на мѣлу проросли влажные лишаи. Голова сама никнетъ здѣсь. Дышется съ трудомъ, глазъ невольно жмурится, утомляемый однообразнымъ видомъ бѣлыхъ стѣнъ, и вдругъ!.. Малое окошко въ скалѣ, за окномъ зеленая долина рѣки Донца, переполненная солнечнымъ блескомъ. Вонъ золотятся соломенныя кровли. Вонъ, синіе очерки лѣсовъ, уходящихъ вдаль.

— Ну, потрудитесь, потрудитесь еще!—торопитъ отецъ Серапіонъ, для котораго всѣ эти эффекты, очевидно, давно потеряли свою прелесть.

И опять полземъ мы по щели вверхъ; отсюда уже замѣтны горизонтальные тонкіе слои кремня, параллельно другъ другу скрѣпляющіе мѣловую породу. Они насквозь проникли ее, иначе и не могла бы держаться эта масса отдѣльныхъ утесовъ.

— Да, первые христіане здѣсь потрудились Господу!

— Почему же вы думаете, что они? Я полагаю происхожденіе этой жилы болѣе древнимъ!

— По каковому разсужденію?

— Да вѣдь здѣсь недалеко была половецкая столица Саркель, или Бѣлая Вѣжа. А этотъ утесъ являлся для нея естественною крѣпостью. Въ тѣ времена, ходы къ водѣ прорывались такъ, чтобы осаждающіе не могли помѣшать ходить за нею!

— Можетъ быть, все можетъ быть...

Богомольцы обожгли мѣловой потолокъ свѣчами и черные кресты понадѣлали, точно на бѣлой ризѣ. Сбоку надпись копотью: «Богу—рабъ, царю—коллежскій асесоръ Иванъ Трофимовъ». Какой-то французъ Мишонъ здѣсь же увѣковѣчилъ себя. «И я—Шимановская», вписалась рядомъ какая-то умница.

Въ самомъ сердцѣ мѣлового утеса крутой поворотъ налѣво. Торжественный отецъ Серапіонъ начинаетъ поглядывать на меня еще торжественнѣе. Щель стала уже, запахъ сырости несноснѣе. Влага осаждается на платье. Волосы мокры, съ бороды каплетъ. Зубы ноютъ, точно простуженные. Кремень уже проступаетъ большими раковинами—проможинами. Становится невыносимо. Кажется, будто кто-то навалилъ на васъ всю эту колоссальную мѣловую скалу, и она вдавливаетъ тѣло въ сырую болотину. Вотъ, вотъ, задохнешься.

— Троекратно перекреститесь!

Какая-то дверь скрипитъ жалобно-жалобно на ржавыхъ петляхъ. Дверь черная, за нею двѣ совсѣмъ черныя закопченныя пещерки, шага по четыре каждая. Въ одной пробита дыра въ наружу, вершка два въ діаметрѣ. Въ другой еще менѣе. Два узкихъ и скудныхъ луча свѣта дрожатъ въ черныхъ пещерахъ, ничего не освѣщая. Дрожатъ словно имъ холодно здѣсь. Только и видишь, что свѣтлыя пятна этихъ отверстій; точно двѣ тусклыя, робкія звѣздочки мигаютъ онѣ.

— Что это?

— Тутъ всю жизнь спасался затворникъ Іоаннъ, безвыходно и строго заключенный!

— Кто же его заключилъ?

— Самъ себя заключилъ на подвигъ велій...

Совсѣмъ могила. Стѣны закопчены. Кажется, что еще пахнетъ трупомъ.

— Ни пѣнія птицы не слышалъ, ни свѣта солнца не видѣлъ. Во тьмѣ!..

Въ мѣловой стѣнѣ выбита приступка. Вѣрно подвиж-

никъ что-нибудь клалъ сюда. Вонъ крестъ выдолбленъ въ стѣнѣ. Видно, что здѣсь жило живое существо. Но все-таки это могила — и могила страшная. Изъ кельи дыра внизъ — въ подземную церковь. Прикладывая ухо къ этому отверстію, заточникъ слушалъ божественную литургію. Иногда и запахъ ладона доносился къ нему сквозь этотъ волосной сосудъ мѣлового организма.

— Сколько же онъ такъ-то?

— Семнадцать лѣтъ вытерпѣлъ, пока Господь его не призвалъ къ себѣ!

Іоаннъ Заточникъ въ высшей степени любопытный характеръ; я посвящу ему отдѣльную главу. Кажется, что это не отъ копоти восковыхъ свѣчъ, а отъ его дыханія почернѣли стѣны. Глаза невольно искали по сторонамъ изможженаго лица, на которомъ только глаза горѣли-бы изъ-подъ сѣдыхъ, нависшихъ бровей, выдавая жизнь еще незакостенѣвшаго въ этой подземной кельѣ человѣка. Во второй пещерѣ—пара покрытыхъ ржавчиною веригъ. Отецъ Серапіонъ набожно приложился къ нимъ и потомъ предложилъ мнѣ поднять. Они гвоздили къ землѣ. Глядя на эти острые обручи, невольно думалось, какъ они должны были въѣдаться въ тѣло! Въ углу изображенъ Христосъ распятый. Обнаженное тѣло его выглядываетъ какъ-то особенно мертвенно на закоптѣломъ мѣлу. Внизу черное мѣсто—тутъ стоялъ гробъ заточника.

Ужасъ охватывалъ сердце. Семнадцать лѣтъ такихъ страданій! Среди этой тьмы, среди этой сырости. Въ безмолвіи, куда достигалъ только печальный отголосокъ молитвенныхъ напѣвовъ, гдѣ звенѣли тяжелыя вериги. Огонекъ лампады теперь нервно вздрагиваетъ здѣсь передъ иконою. Точно и ему жутко въ этой могилѣ. Точно онъ собираетъ послѣднія усилія, чтобы не потухнуть подъ этою массою сырости, мрака и камня.

Нѣтъ, прочь скорѣе!..

Отецъ Серапіонъ, очевидно, понялъ мое состояніе и вывелъ меня на площадку, откуда опять сверкнулъ мнѣ

въ глаза Божій міръ, со всею его прелестью, съ его свѣтомъ и жизнью. Разомъ охватило тепломъ.

Раза два въ годъ и затворникъ приходилъ сюда любоваться на оставленную имъ землю. Тутъ залетали къ нему голуби, отсюда онъ слышалъ соловьиную пѣсню, видѣлъ Донецъ, струящійся внизу... Представляю, съ какимъ жаднымъ и больнымъ чувствомъ слѣдилъ онъ за извивами рѣки, за перебѣгающею тѣнью облаковъ, за трепетомъ листвы, за колыханіемъ вѣтвей, подъ легкимъ вѣтромъ свѣжаго утренника. Какъ онъ пилъ цѣлебный ароматъ полей, запахъ весеннихъ цвѣтовъ. Неужели его не тянуло вонъ, совсѣмъ вонъ изъ этой кельи? И потомъ опять полгода тьмы, безмолвія, холода, потому что Іоаннъ и зиму проводилъ въ этой кельѣ, въ тѣхъ же веригахъ, въ той же скудной, убогой рясѣ... Звѣрь уходитъ на зиму въ логовище, но у того хоть шуба есть, благо снабдила природа...

Опять подземная жила. Опять идемъ щелью. Опять пещера, но въ ней мигаютъ лампады, тускло поблескиваютъ убогія иконы безъ окладовъ. Это—церковь древняго монастыря. Въ нее, по сторонамъ, выходятъ устьи меньшихъ пещерокъ, гдѣ жили иноки, лѣтъ четыреста тому назадъ. Отсюда, по сторонамъ подземнаго хода, то и дѣло попадаются келійки, но окна въ нихъ уже четверти на полторы. Хоть свѣтъ есть. Эти-то черныя точки отверстій мы и видѣли въ скалѣ снаружи. Тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, что въ этихъ сырыхъ ходахъ, въ этихъ мокрыхъ пещеркахъ, ни одинъ кротъ не въ силахъ прожить долго. Въ одной изъ нихъ найдено было семь череповъ и костяки. Ихъ похоронили въ одномъ гробѣ. Щель къ нимъ ведетъ узкая и низкая. Нужно идти, сгорбясь. Воздухъ тутъ таковъ, что, кажется, дышешь испареніями разлагающагося трупа. Тутъ уже много келій, по двѣ, по одной. Если по двѣ вмѣстѣ, то входъ изъ одной въ другую просто дыра, сквозь которую нужно ползти, какъ ползетъ змѣй. Очевидно, что въ

ихъ пещерахъ жили не пустынники. На стѣнахъ нѣтъ

крестовъ; ничто не указываетъ, что въ норахъ по сю сторону мѣловой скалы молились и каялись. Тутъ нѣтъ даже и оконъ въ наружу. Только безразсвѣтная тьма!

Я, войдя въ одну изъ нихъ, затушилъ свѣчу. Заживо схороненный—иначе не могу опредѣлить своихъ ощущеній. И притомъ какое отсутствіе жизни! Въ землѣ хоть червякъ копошится, сверху мышь полевая норку роетъ—до могилы докопается, корни растеній тянутся къ тебѣ; тутъ же—въ мѣлу—только вода отлагается на стѣнкахъ. Тишина подавляющая. Развѣ капнетъ сверху и брызнетъ по сторонамъ. Въ этомъ безмолвіи и стукъ капли болѣзненъ для уха. Чудится, Богъ знаетъ что! Подъ конецъ кажется, что вотъ стѣны кельи раздвинулись, и какіе-то фосфорическіе силуэты шевелятся въ ней. Вотъ они приподымаются снизу. Вотъ какія-то невидимыя въ этой тьмѣ руки протягиваются къ тебѣ. По холоду, вѣющему на лицо, ты ощущаешь ихъ. Влага, отлагающаяся на немъ, мерещится прикосновеніемъ чьихъ-то сырыхъ и скользкихъ пальцевъ.

Нѣтъ, свѣта скорѣе! Воздуха! Воздуха!

Когда я вышелъ совсѣмъ изъ этой пещеры и сѣлъ—мнѣ казалось, что меня, заживо схороненнаго, открыли и и вновь вернули жизни. Надо мной колышется зеленая листва, задорно свищутъ въ ней птицы, и громко, громко, раздражающе-громко внизу поетъ свою страстную пѣсню украинскій соловей... Солнце... Сегодня первое мая, но оно грѣетъ какъ у насъ въ іюлѣ, и только прохладный горный вѣтеръ умѣряетъ зной. Я, впрочемъ, радъ былъ жарѣ. Только что выбравшемуся изъ жилища мертвыхъ нужно было отогрѣться и высохнуть прежде всего.

Пахнетъ смолистымъ запахомъ прѣющихъ на землѣ сосновыхъ шишекъ и, порою, грибами. Должно быть, они только-что поднялись въ сырыхъ пролѣскахъ послѣ дождя. Откуда-то нѣтъ-нѣтъ да и обнесетъ розами, видимо, изъ настоятельскаго сада. И непонятно становится, какъ отъ всей этой прелести уйти подъ землю, спрятаться живьемъ въ гробъ? Вонъ она позади—чер-

ная щель пещеры съ могильною сыростью и съ запахомъ трупа. Вонъ оно, это царство смерти и безмолвія, это подземелье, гдѣ только и встрѣтишь что изможженаго монаха, слѣпнувшаго на солнцѣ, да застывшіе въ одномъ выраженіи равнодушія ко всему земному лики иконъ.

— Вотъ каковы наши старцы были! — восхищается отецъ Серапіонъ. — Нынѣ такихъ нѣтъ, да, по грѣхамъ нашимъ, и не будетъ!

— А не приходило ли вамъ въ голову, отче, что прятаться во тьму отъ свѣта, значитъ, презирать твореніе Бога своего? Не думаете-ли вы, что закопаться въ землю отъ зелени, отъ цвѣтовъ, отъ фиміама полей, кадящихъ небу, — кощунство?

— Это еретическія разсужденія, отрицаемыя церковью. Въ умерщвленіи плоти — могущество духа. Для монаха ничего не должно быть привлекательнѣе добровольнаго заточенія въ келію. Вы почему полагаете, что для него жизни нѣтъ?.. А созерцаніе? А воспоминаніе земной жизни Христа?.. Во тьмѣ еще ярче краски ему представляются. По наитію — и ликъ Спасителя въ молитвѣ явленъ бываетъ. Іоаннъ-Заточникъ, подъ конецъ своего пребыванія въ мѣловой скалѣ, не разъ со Христомъ бесѣдовалъ и сими бесѣдами несказанно утѣшенъ былъ...

XVIII.

Іеросхимонахъ Іоаннъ-Затворникъ.

Семнадцать долгихъ лѣтъ добровольнаго пребыванія въ могилѣ заживо!

«Какой фанатизмъ!» воскликнутъ многіе, отступая, совершенно справедливо, передъ этой страшной эпопеей страданій. Позвольте, почему же фанатизмъ, а не характеръ? Будь направлена та же громадная сила воли на достиженіе благихъ цѣлей, на дѣло, которому мы могли бы сочувствовать, и передъ нами былъ бы, несомнѣнно,

характеръ, и никакимъ инымъ именемъ мы бы его не назвали. По моему, и въ данномъ случаѣ это ничто иное какъ характеръ—упорный, настойчивый, презирающій внѣшнія условія, сбрасывающій прочь всѣ препятствія, побѣждающій самую жизнь! Характеръ, питающійся лишеніями и страданіями и укрѣпляющійся ими, какъ организмъ здоровою пищею; характеръ, какъ желѣзо въ горнилѣ, твердѣющій подъ молотомъ... Мнѣ возражали на это, что въ такомъ случаѣ и факиры тоже характеры? Несомнѣнно! и еще какіе! Именно, не галлюцинаты, а характеры! Галлюцинація потомъ проходитъ, а сначала—характеръ и только одинъ характеръ. Вѣритъ человѣкъ, что это добро зѣло, вѣритъ и стремится къ нему. Если это добро намъ не кажется добромъ — все равно, характеръ отъ этого не дѣлается чѣмъ нибудь инымъ. Мученичество тоже характеръ. Мученики вѣдь только въ Четьи-Минеи улыбаются своимъ палачамъ; въ дѣйствительности, они страдали физическими болями и не сдавались только въ силу характера, иначе бы и заслуги въ мученичествѣ не было. Въ самомъ дѣлѣ, что за диво быть заживо сожженнымъ, когда передъ глазами эдемъ и, вмѣсто боли, тѣло чувствуетъ прохладу райскихъ кущъ!..

Въ силу этого и въ святогорскомъ іеросхимонахѣ Іоаннѣ-Затворникѣ я вижу воплощеніе изумительнаго по своей силѣ характера, какъ вижу его въ затворникахъ печерскихъ. Дѣло въ томъ только, что тѣ жили давно, а Іоаннъ на нашихъ глазахъ. Тѣ стали легендой, а этотъ еще вчера былъ дѣйствительностью.

Іоаннъ родился въ Курскѣ, въ 1795 году. Окружающія условія съ дѣтства подготовляли въ немъ затворника. Мальчикомъ онъ слышалъ разсказы о заживо схороненныхъ старцахъ, и когда Сенька Мошнинъ, одинъ изъ его товарищей, вспоминалъ о своемъ дѣдѣ-заточникѣ въ какомъ-то изъ мѣстныхъ монастырей, Іоаннъ отзывался на это: «хорошо такъ жить и снасаться». Молодежь всегда ищетъ подвига. Однихъ эта жажда подвига ведетъ въ бой, въ дальнія экспедиціи къ полюсамъ; другихъ—

въ крѣпость, на каторгу; третьихъ—въ склепъ Святогорской мѣловой скалы. Иванъ Крюковъ (такова была фамилія его) чуть не съ восьми лѣтъ мечталъ о монастырѣ; въ девять—онъ присталъ къ отцу съ просьбою отдать его въ школу, но мальчика побили за это желаніе. Нищета давила его семью—думать о грамотѣ было некогда. Изъ суровой семьи, мальчикъ попалъ въ ученье къ мастеру, дѣлавшему изразцы, человѣку, незнавшему состраданія *). Трудно было бы сказать, что тяжелѣе, нравъ его хозяина или его кулакъ. Мальчикъ, взятый по контракту на семь лѣтъ, былъ обязанъ дѣлать печные изразцы, расписывать ихъ, муравить и выжигать, за что его родителямъ ежегодно выплачивалось хозяиномъ по 1 р. 43 к. ассигнаціями. Такимъ образомъ, за 10 р. ассигнаціями мальчикъ былъ проданъ въ безразсвѣтную школу побоевъ, непосильнаго труда и непроходимаго невѣжества. Въ первый же день ребенку дали работу, не объясняя, какъ ее сдѣлать. Мальчикъ спуталъ, за что хозяинъ ударилъ его ногою въ бокъ, такъ что бѣднякъ повалился замертво и долгое время потомъ былъ боленъ. Черезъ нѣсколько времени, хозяинъ спьяна бросилъ въ Крюкова изразцомъ, острый уголъ котораго попалъ ему прямо противъ сердца. У Ивана хлынула изо рта кровь, онъ упалъ навзничь, и только вечеромъ удалось вернуть его къ жизни. Тихій, безотвѣтный Крюковъ цѣлыя ночи проводилъ, широко открывъ глаза и глядя во тьму, гдѣ чудились ему смутные лики святыхъ, куда зачастую самъ Спаситель сходилъ утѣшать измученнаго и избитаго мальчика. Ему случалось, мерещились ангелы въ воздухѣ, и онъ радостно плакалъ, забывая на минуту боль отъ недавнихъ побоевъ. Такъ, мало-по-малу, сталъ развиваться въ немъ будущій аскетъ.

— Христосъ терпѣлъ—надо терпѣть и мнѣ; Богу угодно!—говорилъ онъ.

---

*) Авторъ, между прочимъ, помимо устныхъ разсказовъ иноковъ, пользовался и свѣдѣніями, сообщенными изданною монастыремъ брошюрою объ Іоаннѣ-Затворникѣ.

Такъ прошло семь лѣтъ. Нелюдимый и мрачный, почти одичавшій отъ побоевъ, Крюковъ, по окончаніи срока контракта, поступилъ къ другому хозяину-прасолу приказчикомъ. Отецъ и мать стали требовать, чтобы онъ женился, такъ какъ въ домѣ по ихъ старости нужна была работница. Требовали съ «пристрастіемъ», и Крюковъ на время долженъ былъ оставить мечту о монашествѣ и женился, хотя, по свидѣтельству иноковъ, «съ видимымъ отвращеніемъ». Тѣмъ не менѣе, онъ продолжалъ работать, перемѣнилъ нѣсколько хозяевъ, сталъ извѣстенъ, какъ искусный лѣпщикъ, и черезъ восемь лѣтъ самъ открылъ свое изразцовое заведеніе. Въ Крюковѣ, мало-по-малу, умиралъ аскетъ и развивался просто-на-просто кулакъ-хозяинъ. Спустя нѣсколько времени, у него уже оказываются два постоялые двора и трактиръ,— заведенія, ни въ какомъ случаѣ, не совмѣстныя съ мыслью о святости. Такъ онъ прожилъ около девяти лѣтъ, когда семейство его стало вымирать: сначала его жена, потомъ отецъ. Старуха-мать пошла жить къ его сестрамъ, и Крюковъ остался одинокъ. Съѣздилъ онъ въ какой-то монастырь, пріютившійся посреди пустыннаго захолустья. Бездорожье и безлюдье, окружающія обитель, напомнили ему, воскресили въ немъ мечты дѣтства, Трудовая жизнь иноковъ (тогда еще были такіе) пришлась ему по сердцу, созерцательная, чуждая заботамъ о мѣдномъ грошѣ... Крюковъ, по возвращеніи, сталъ проситься у матери въ монастырь; но суровая старуха считала себя въ правѣ и совсѣмъ уже взрослаго сына удержать въ міру. Только черезъ годъ «сердце ея умягчилось».

— Иди съ Богомъ и молись за меня!

Изъ дома Крюковъ взялъ только тяжелый мѣдный, литой крестъ, который съ тѣхъ поръ постоянно носилъ на шеѣ, на толстой и тяжелой желѣзной цѣпи. Сдѣлалъ онъ себѣ изъ толстаго шиннаго желѣза вериги, состоявшія изъ пояса и наплечниковъ, болѣе полпуда вѣсомъ, и надѣлъ ихъ навсегда «для ради умерщвленія плоти».

Купецъ все-таки сказался въ немъ при этомъ. Собираясь отречься отъ всего земного, онъ самымъ тщательнымъ образомъ сталъ собирать со всѣхъ долги, даже и по суду. Это его еще на годъ задержало въ міру. Наконецъ, завершивъ всѣ свои дѣла, онъ помолился печерскимъ угодникамъ и отправился въ Глинскую пустынь, которая ото всего міра заслонилась глухою лѣсной чащей. Тамъ онъ явился къ игумену Филарету.

— Что ты къ намъ пришелъ, рабъ Божій, и чего тебѣ надо?

— Желаю въ обители вашей потрудиться во спасеніе грѣшной моей души!

— На какое время?

— Если Богу будетъ угодно, то по конецъ моей жизни!

— Документы въ порядкѣ? Что умѣешь дѣлать?

Крюковъ пояснилъ о своемъ искусствѣ лѣпить, дѣлать изразцы, править гостинницей.

— Все это намъ не надо. А вотъ сумѣешь-ли печку скласть?

— Новую не могу, а старую починить сумѣю!

— Если починить въ силахъ, то матерь Божія поможетъ тебѣ и новую поставить!

Приказалъ пока служить при гостинницѣ. Ему уже было 38 лѣтъ, и полтора года онъ несъ на себѣ это послушаніе, когда, наконецъ, его перевели въ монастырь и дали келью. Тутъ онъ присмотрѣлся къ работѣ печниковъ и прежде всего построилъ у себя новую печь, вмѣсто старой, угарной. Опытъ оказался удаченъ—онъ передѣлалъ печи и у братій. Отсюда послали его въ Глуховъ; по возвращеніи, онъ увидѣлъ у воротъ обители бѣшенаго, скованнаго по рукамъ и ногамъ. Монахи нашли, что бѣдный больной одержимъ нечистымъ духомъ. Помѣшанный катался по землѣ въ конвульсіяхъ, обливался зловонною пѣною и богохульствовалъ. Іоаннъ взялъ его къ себѣ въ келью, велѣлъ снять съ него оковы. Озадаченный больной, на котораго до тѣхъ поръ дѣй-

ствовали только силою и даже били, присмирѣлъ. Оставшись съ нимъ одинъ, Іоаннъ сталъ на колѣни и началъ молиться. До полуночи онъ просилъ исцѣленія больному, плача надъ нимъ, и тотъ широко открытыми глазами смотрѣлъ прямо въ лицо монаху. Пробовалъ больной начинать бѣсноваться, но кроткій голосъ и слезы Іоанна опять озадачивали его—и сумасшедшій, смолкая, продолжалъ только подозрительно наблюдать за инокомъ. Наконецъ, больной успокоился и только тяжело дышалъ. Іоаннъ прилегъ къ нему, положивъ ему на сердце руку. Сердце билось и трепетало, какъ птица въ силкѣ. Больной заснулъ. Утромъ сумасшедшій сознательно отвѣчалъ на всѣ вопросы и уѣхалъ домой исцѣленнымъ. Монахи называютъ этотъ случай чудомъ; мнѣ же онъ напоминаетъ французскихъ сестеръ милосердія и монахинь, которыя безбоязненно входятъ въ кельи самыхъ опасныхъ сумасшедшихъ и смиряютъ ихъ одною ласкою и кротостью своего голоса. За труды по постройкѣ печей Іоанна сдѣлали рясофоромъ, т.-е. возвели его на первую, низшую степень монашества; тѣмъ не менѣе, братія его печами была недовольна и дѣлала Іоанну непріятности. Послѣ одной изъ нихъ Іоаннъ задумалъ измѣнить послушаніе, и внезапно ему пришло въ голову юродствовать Христа-ради. Обсуждая это, онъ заснулъ; во снѣ явились ему «двое прекрасныхъ юношей» сказавшихъ: «оставь, что думаешь, это не твой путь!» Послѣ этого, чуть не сорока-двухъ лѣтъ отъ роду Іоаннъ начинаетъ учиться читать и писать, опять исцѣляетъ «бѣсноватаго дворянина», дѣлается экономомъ братской трапезы и, наконецъ, игуменомъ всей Глинской пустыни. Когда была открыта обитель Святогорская, новопоставленный игуменъ Арсеній, между прочимъ, явился въ Глинскій монастырь «набирать монаховъ». За нимъ послѣдовалъ и Іоаннъ, котораго въ Святыхъ Горахъ тоже сдѣлали экономомъ. Іоаннъ и тутъ обнаружилъ присущіе ему характеръ и рѣшительность. Не предупредивъ, онъ распорядился «отсѣчь» часть горы подъ гостиницу. Проти-

него поднялось все, но онъ поборолъ препятствія, и гора была «отсѣчена». Іоаннъ велъ войну съ управителемъ Потемкиныхъ, вступался за ограбленное имъ крестьянство, и хотя на семъ пути былъ смиряемъ настоятелемъ, но, какъ упорное козлище, исполнивъ наложенное на него послушаніе, вновь вступалъ въ бой съ господскими холопами и отсѣкалъ горы. Потомъ его ужъ и смирять перестали—рукой махнули. Въ концѣ концовъ, впрочемъ, казалось, что Іоаннъ былъ правъ, за что на него наложили мантію. Вообще, въ эту пору своей дѣятельности, малограмотный, энергическій, незнающій устали, упрямый и изобрѣтательный, Іоаннъ совершенно подходитъ къ типу сѣвернаго монаха-соловчанина. Затѣмъ Іоаннъ, а въ мантіи Іоанникій, является опять гостинникомъ, опять «отсѣкаетъ» горы, роется въ землѣ, какъ кротъ, отыскиваетъ и находитъ старые подземные храмы, собственоручно выбиваетъ для нихъ изъ цѣльныхъ дикихъ камней престолы.

Къ этому же времени относится и эпизодъ, разсказываемый монахами.

Врагъ рода человѣческаго попытался уловить его въ сѣти, но, какъ и потемкинскій управитель, долженъ былъ признать себя побѣжденнымъ.

Одна изъ посѣтительницъ обители (изъ типа, очерченнаго мною въ главѣ III) уязвилась нечистою страстью ко простосердечнаго Іоанникія, зазвала его въ свой номеръ, заперла двери и начала привлекать ко грѣху. Растерявшись отъ столь нечаяннаго искушенія, Іоанникій не нашелъ ничего лучшаго, какъ сверзиться черезъ окно на землю. А чтобы такія уловленія впредь ему не предстояли, онъ упросилъ настоятеля снять съ него послушаніе гостинника, что и было исполнено. Его посвятили въ іеромонахи и опредѣлили духовникомъ къ богомольчамъ. Правя свою должность, Іоанникій сталъ прилежать къ келейному уединенію.

Ходы въ святогорской мѣловой скалѣ были въ то время еще не изслѣдованны, а уже разысканные—запущены.

Іеромонахъ Іоанникій сталъ очищать ихъ, при чемъ особенно полюбилъ одну изъ маленькихъ мѣловыхъ келій, куда нерѣдко заходилъ отдыхать. Тутъ онъ сдѣлалъ деревянный простѣнокъ и дверь и затѣмъ сталъ проситься въ затворъ. Архимандритъ Арсеній началъ его испытывать. Прежде всего велѣлъ ему собственноручно привести въ порядокъ всѣ нечистыя мѣста въ обители, дабы смирить его помыслъ, если въ немъ таится гордыня. Іоаннъ не погнушался, послушаніе исполнилъ, но помысла не измѣнилъ. Убѣдившись, что Іоанникій не превозносится, а жаждетъ подвига, Арсеній приказалъ ему затвориться въ простой жилой кельѣ и запереть ставни. Трудно было одолѣть Іоанникію въ первое время ужасъ одиночества, особенно по ночамъ. Но онъ привыкъ и затѣмъ перебрался въ мѣловую скалу. Настоятель все еще отговаривалъ его. Стояли холода, печи тамъ не было, и устраивать ее не дозволялось, но монахъ не внялъ. Наконецъ, ему разрѣшили затвориться совсѣмъ. Ввели въ мѣловую пещеру—и заперли на замокъ. Въ дверяхъ было продѣлано малое оконце для передачи пищи и питія.

Холодъ стоялъ тамъ, какъ въ ледникѣ. Узкая щель въ наружу—тьмы не разгоняла. Въ щели только брезжилъ свѣтъ, не озарявшій кельи. Меня здѣсь въ первыя же минуты охватило лихорадочнымъ ознобомъ. Гробъ, а въ гробу немного соломы—вотъ все, что дали съ собою затворнику. Онъ удвоилъ вѣсъ веригъ своихъ и, измаривая себя, дѣлалъ въ сутки по семисотъ поклоновъ земныхъ, по сто поясныхъ, молитвъ Іисусовыхъ произносилъ по тысячѣ, столько же Богородичныхъ. Такъ прошелъ цѣлый годъ безвыходнаго пребыванія въ затворѣ, самый трудный годъ, потому что тѣло заточника еще только привыкало къ сырости и холоду. Утомленный, ложился онъ въ свой гробъ—и вновь подымался отъ озноба. Сырость стояла такая, что одежда и бѣлье болѣе мѣсяца не выдерживали, истлѣвали и распадались. Пробовали его испытывать—выводили на свѣтъ, приказывали остаться, но Іоанникій неизмѣнно уходилъ на-

задъ. Такъ прошло еще шесть мѣсяцевъ, по истеченіи которыхъ, его постригли въ схиму и опять назвали Іоанномъ, разрѣшили пріобщаться два раза въ мѣсяцъ, а въ посты еженедѣльно Питаемый ужасами своей могильной кельи, Іоаннъ довелъ себя до галлюцинацій, которымъ радовался, какъ видѣніямъ. Онъ, наконецъ, пересталъ чувствовать холодъ, пріучивъ къ нему тѣло. Сырость тоже на него не дѣйствовала. Его точно поросшее мохомъ лицо, съ поблекшими глазами, безкровное, казалось, носило на себѣ отраженіе мрака, царившаго въ затворѣ. Въ обители Іоаннъ не находилъ поддержки. Слухи, доходившіе до него оттуда, сокрушали схимника. Тамъ ему приписывали гордость: говорили, что онъ впалъ въ «состояніе прелести». Схимникъ только молчалъ на это, промолчалъ пять долгихъ лѣтъ, и, только по истеченіи этого времени, когда у него стали уже дѣлаться судороги въ ногахъ, поставили ему небольшую печку Изъ мѣловыхъ скалъ выходили къ нему призраки и видѣнія, мертвыя руки простирались въ воздухѣ, дикій хохотъ слышался ему въ подземныхъ ходахъ мѣловой скалы, чудились стоны и носились звуки цѣпей. Чьи-то рыданія потрясали молчаніе его кельи, а разъ, ночью, примерещилось ему, когда онъ, лежа въ гробу, уже смыкалъ глаза, что вошли сквозь затворъ два великана и со злобою смотрѣли на него.

— Чего вамъ надо?—прошепталъ, обращаясь къ нимъ, галлюцинатъ.

— Съѣдимъ этого старика, чтобы онъ не молился такъ постоянно!

Іоаннъ сталъ читать молитву Іисусову, и великаны разсѣялись въ темнотѣ келіи.

Камни говорили ему, иконы съ нимъ бесѣдовали.

А зависть и злоба людская никакъ не хотѣли оставить его въ покоѣ. Сбывались слова Евангелія: «Яко ни который пророкъ пріятенъ есть въ отечествіи своемъ»

Келейники его били, остальная братія презирала. Какъ малограмотный крестьянинъ, онъ не могъ давать книж-

ныхъ поученій приходившимъ сюда инокамъ и богомольцамъ.

— Какой толкъ отъ тебя дурака, — говорили ему монахи, — ежели мы показать тебя никому не можемъ при простотѣ и невѣжествѣ твоемъ!

Онъ, дѣйствительно, не былъ краснорѣчивъ, этотъ заживо схороненный человѣкъ.

— Какъ все тутъ вѣрно сказано! — воскликнулъ онъ, когда ему пропѣли «Плачъ инока» Брянчанинова. — Вотъ я не могу только выразиться по ученому словами, а здѣсь вотъ, на сердцѣ, все такъ и чувствуется, какъ тамъ говорится!

Отъ постояннаго мрака, зрѣніе его, наконецъ, притупилось. Онъ съ трудомъ сталъ читать, не различалъ лицъ допускаемыхъ къ нему иноковъ. Еще при блескѣ свѣчей хоть контуры ихъ видѣлъ, выводимый же при свѣтѣ — оказывался слѣпъ. Къ этому времени и относился цѣлый рядъ легендъ, разсказываемыхъ монахами.

— Когда онъ потерялъ зрѣніе, послали къ нему читать благочестиваго инока о. Мартирія. Однажды утомленный Мартирій получилъ отъ него замѣчаніе за невнятное чтеніе шестопсалмія. Оскорбясь, чтецъ возропталъ и сталъ упрекать старца, что изъ-за него лишается возможности бывать съ прочіею братіею во храмѣ, при службахъ церковныхъ, и портитъ зрѣніе чтеніемъ въ полумракѣ. «Вотъ ослѣпну, какъ и ты; тогда, посмотримъ, кто согласится идти къ тебѣ сюда читать». Окончивъ чтеніе часа въ три ночи, въ немирномъ духѣ началъ Мартирій сходить по лѣстницѣ святогорской скалы отъ затворника, рѣшивъ болѣе не возвращаться. Лѣстница эта идетъ среди лѣсной гористой чащи, и вдругъ предъ нимъ явились огненныя чудовища, щелкавшія зубами и готовыя пожрать его. Въ ужасѣ бросился бѣжать Мартирій, а они ему во слѣдъ: «ты нашъ, ибо огорчилъ затворника». Цѣлую ночь они бросались въ окно его кельи, стучались къ Мартирію. Такъ продолжалось, пока Іоаннъ не простилъ его.

Точно сказочный колдунъ, посылалъ онъ чудищъ изъ

своей мѣловой скалы, въ нѣдра которой ушелъ отъ всего мірского. Какая обстановка для фантастическихъ балладъ! И этотъ мракъ кельи, и этотъ подземный ходъ, ведущій къ ней, и позеленѣвшее лицо инока, ослѣпшаго въ самомъ сердцѣ горы, и самая мѣловая гора, обливаемая по ночамъ таинственнымъ сіяніемъ луны! Приставленные къ старцу келейники только били его, не заботясь ни о немъ, ни о чудовищахъ, находившихся въ его распоряженіи. Солома истлѣвала въ его гробу, обращаясь въ гнилую плѣсень, въ ранахъ отъ веригъ заводились черви. Такъ прошло семнадцать долгихъ лѣтъ, страшно долгихъ, подъ конецъ которыхъ старецъ сталъ юродствовать. Онъ сталъ требовать, чтобы съ него сняли портретъ, настаивалъ на сохраненіи его веригъ послѣ смерти, отказывался появляться передъ жаждавшими его видѣть богомольцами. Въ минуты просвѣтленія онъ бесѣдовалъ и производилъ глубокое впечатлѣніе на допускавшихся къ нему.

Въ 1867 году онъ началъ таять, «какъ свѣчка, возженная предъ иконою», говорятъ монахи. Ноги его отекли и опухли; наконецъ, онъ слегъ въ гробъ, но и въ гробу непрестанно молился, изрѣдка ѣлъ, хотя чаще отказывался отъ пищи, и въ августѣ умеръ, не измѣнивъ своему затвору.

И это не характеръ?

Вообще изученіе нашихъ обителей въ высшей степени поучительно. Поставьте рядомъ два такихъ типа, какъ святогорскій Эдиссонъ — отецъ Антонинъ и затворникъ іеросхимонахъ Іоаннъ. Это въ одной и той же обители, почти въ одно и то же время.

У обоихъ натуры одинаково сильныя, характеры одинаково твердые и непреклонные, но какими разными путями и къ какимъ разнымъ цѣлямъ идутъ они.

Мое дѣло только намѣтить, извлечь ихъ изъ этого темнаго, малоизвѣстнаго иноческаго царства.

XIX.

Отецъ Серапіонъ. — Рабочіе.

— Не знаете-ли, отче?.. Зубы у меня... то есть, цѣлую ночь вотъ...—жалуется подъ окномъ моимъ какая-то барыня.

— Болятъ? Бываетъ. А вы, сударыня, вотъ что. Завтра, нынѣ ужъ поздно, завтра помолитесь въ соборѣ за обѣдней и потомъ взойдите на наши горы и больнымъ зубомъ, съ вѣрою и со смиреніемъ, угрызите кусокъ мѣлу!

— Неужели помогаетъ?

— Молитвами святыхъ отецъ дѣйствуетъ и не токмо что зубную боль превозмогаетъ, но и отъ нутра большое исцѣленіе!

— А съ собою если взять мѣлу, будетъ полезно?

— Полагаю!

— Кому бы это поручить отколоть?

— Самой, госпожа, самой надо! Иначе дѣйствію препона. И непремѣнно зубами!

— Чудеса у васъ! Я ужъ и докторовъ...

— Чудесъ у насъ много. На бѣснующихся мантію Іоанна-Заточника возлагаемъ, и не было примѣра, чтобы одержимый не получалъ себѣ облегченія!

Слушаю — это мой отецъ Серапіонъ разглагольствуетъ.

— Скажите, какая въ ней сила!

— Свыше, госпожа благородная, свыше... Снисходитъ!.. По молитвѣ и по вѣрѣ—исцѣленія!

— А вотъ доктора—тѣ ничего не могутъ!

— Медики земные, что они! Развѣ у нихъ въ аптекѣ есть мантія Іоанна-Заточника? Ихъ наука отъ Эскулапа пошла. А намъ Матерь Божія и св. Николай чудотворецъ снисхождаютъ!

— А вѣдь какія деньги-то докторамъ платятъ!

— Отчего денегъ не брать, когда даютъ? Коемуждо потребны по дѣламъ его!

— А тотъ Эскулапъ что же?.. Бѣсъ былъ или волшебствомъ?

— Эскулапъ, сударыня, грекъ былъ, язычникъ, также, какъ и Гиппократъ. Меня за нихъ, за обоихъ, въ семинаріи драли неоднократно. Сіи оба отцами медицины почитаются!

— Отъ нихъ, значитъ, и доктора пошли?

— Отъ нихъ паука... А доктора отъ отцовъ съ матерями. Ну, спаси васъ Богъ, сударыня! Мнѣ тутъ тоже къ одному надо!

— Не ко мнѣ ли, отецъ Серапіонъ?—окликаю его.

— Вотъ именно! Хуторъ нашъ монастырскій хочу вамъ показать. Полюбуйтесь на хозяйство наше!

Я сошелъ внизъ. Дама, почитавшая Эскулапа бѣсомъ, все еще приставала къ отцу Серапіону.

Необходимо отмѣтить эту черту провинціальнаго бабья. Какъ попадетъ въ монастырь, такъ сейчасъ, первымъ дѣломъ, ротъ разинетъ, и давай всему благоговѣйно удивляться, точно никогда не видала.

— Во сколько же вы часовъ трапезуете, отче?

— Въ полдень.

— Ахъ ты, Господи! — удивляется уѣздная дурища, хотя сама жретъ тоже въ часъ пополудни. — Скажите! А это что у васъ, отче?

— Это голуби!

— Ахъ ты, Господи, голуби!— И качаетъ головою, и губы поджимаетъ, точно первый разъ отъ роду на голубя наткнулась.—А эта лодочка тоже монастырская?—И чуть не въ землю лбомъ стукается передъ обыкновеннымъ челночкомъ. Кажется, кабы не было при людяхъ, такъ зубами бы попробовала, не сахарная-ли?

Поневолѣ и сами монахи привыкаютъ и убѣждаются, что у нихъ все особенное.

— Я вамъ очень благодаренъ, что вы меня окликнули!— замѣтилъ отецъ Серапіонъ.

— А что?

— Да госпожа эта пристаетъ...

— Ну, вотъ... Скромная такая дама!

— Сіи сластолюбивыя Венеры и не такіе еще виды

на себя принимать могутъ. . . . . .

. . . . . .

А потомъ инокамъ поношеніе!

Отецъ Серапіонъ, несмотря на свою смѣшную внѣшность, оказался прекраснымъ человѣкомъ. Предлагалъ я ему деньги — отказывается: монашествующей братіи не подобаетъ. И съ другими тоже самое. Вообще, если исключить монашка, встрѣченнаго мною на паромѣ, то святогорскіе иноки отличаются отъ всѣхъ другихъ безкорыстіемъ. Навязчивыхъ между ними я вовсе не встрѣчалъ. Никто не выпрашиваетъ, никто не говоритъ «пожертвуйте». Правда, и на Святыхъ горахъ разставлены во многихъ мѣстахъ тарелочки, но никто здѣсь не слѣдитъ за вами испытующимъ взглядомъ, положите вы или нѣтъ. Сидитъ монахъ и молчитъ, дѣла ему нѣтъ до васъ. На суевѣріе тоже не бьютъ, не извлекаютъ пользы изъ него; видимо, обитель живетъ крупными приношеніями, не заботясь о томъ, чтобы на каждомъ шагу срывать по нѣсколько копѣекъ съ богомольцевъ. Вотъ, напримѣръ, отецъ Серапіонъ, не тотъ, съ которымъ я шелъ, а другой, уставшикъ. Этотъ, мнѣ кажется, даже не наклонится, еслибы деньги ему подъ ноги попались. Высокая, строгая фигура; взглядъ точно сверху внизъ. Эффектный красавецъ, чисто аскетическаго пошиба. Въ католическомъ монастырѣ его бы, какъ бенефиціанта, впередъ выставляли. Пишетъ славянскою вязью, какъ скорописью, и притомъ изящнѣе нашихъ литографовъ. Я такихъ красавцевъ рѣдко и встрѣчалъ. Самъ по себѣ можетъ быть темою для картины... На нерадушіе монаховъ здѣсь трудно пожаловаться. Еще изъ дворянъ — бирюки бирюками. Остальные просто не знаютъ, какъ принять, куда посадить; по лицу видно, что рады вамъ, какъ дорогому гостю, только разговаривать боятся... Какъ бы за разговоръ не влетѣло.

Путь на хуторъ идетъ спачала зигзагами въ гору. Оглядываясь внизъ, видишь то долину Донца, то монастырь—прямо подъ ногами, съ микроскопическими группами богомольцевъ, то пустынныя лѣсныя горы. Поэтому

разумѣется, приходится поминутно останавливаться—силъ нѣтъ оторваться отъ этихъ чудесныхъ картинъ. Мѣловая дорога подъ солнцемъ слѣпитъ глаза. Всюду обломки мѣлового камня. На горѣ громадныя сосны, неуступающія сѣвернымъ. Земля, на которой онѣ держатся, толщиною вершковъ въ восемь, ниже — опять-таки мѣлъ. Поэтому корни деревьевъ не идутъ въ глубь, а распространяются вдоль, переплетаясь одинъ съ другимъ въ непроницаемыя по своей крѣпости сѣти. Добрались мы, наконецъ, до вершины — тутъ избенка подъ соломенною кровлею. Оказалось, живутъ монахи, присматривающіе за наемными рабочими. Здѣсь же и рабочіе рубятъ бревна, пилятъ лѣсъ. Всѣ куряне. Въ монастырѣ они проводятъ семь мѣсяцевъ въ году до Введенья дня. Является сюда ихъ человѣкъ сто. Каждый получаетъ, смотря по работѣ, отъ 80 до 120 рублей — на монастырскихъ харчахъ. Перволѣткамъ платятъ по 50 рублей. Кормятъ рабочихъ хорошо. Чаю, разумѣется, не даютъ.

— Почему это?—спрашиваю у одного монаха по проще.

— Чай—трава невѣрная!

Я засмѣялся.

— Чего ты! — обидѣлся онъ.—Извѣстно въ невѣрной землѣ растетъ. Что табакъ, что чай!

— Да вѣдь и кипарисъ въ невѣрной землѣ растетъ!

Отецъ Серапіонъ вступился.

— Онъ по скудоумію своему поясняетъ. Чаю у насъ потому не даютъ рабочимъ, что и сами монахи таковаго не получаютъ — не полагается. За то каждому рабочему идетъ по фунту мяса въ день. Хотя бы въ обители и не слѣдовало, но идетъ!

Сами монахи, присматривающіе здѣсь, не работаютъ.

— Почему?

— Не приличествуетъ... Монахъ—не мужикъ!

Опять разница съ соловецкимъ инокомъ. Тутъ монахъ— не равный, а начальство для рабочаго. Онъ покрикиваетъ на него, командуетъ, иной разъ и затрещиной угоститъ, а не то, чтобы самому взять пилу въ руки и показать.

Вообще святогорскихъ монаховъ я за дѣломъ не видалъ. Исключая о. Антонина, едва-ли кто изъ нихъ и работаетъ. «Труждающійся, да ястъ», внушаютъ они наемнымъ крестьянамъ, но сами труждаться вовсе не любятъ.

Кругомъ пахнетъ свѣже-распиленными сосновыми досками. Высокіе дубы слегка колышутъ вѣтвями, потому что по гребню горъ тянется легкій вѣтеръ, не спускающійся внизъ. Вѣтви едва опушились, и запахъ молодой листвы пріятно смѣшивается съ смолистымъ духомъ сосны. Гдѣ-то, далеко, далеко, стучитъ топоръ. Вѣетъ миромъ и спокойствіемъ. Сквозь древесные стволы мерещится долина; какое-то озеро серебрится на ней.

Направо, на «версѣ горы», работаетъ прекрасная мельница. Вся она такъ и вырѣзывается на безоблачной сегодня лазури неба. Я зашелъ туда. Мельникъ-монахъ изъ курскихъ крестьянъ обрадовался мнѣ, какъ родному. Прежде всего онъ мнѣ своихъ дѣтей повелъ показывать:

— Какъ это дѣтей? Въ монастырѣ-то?

— У меня такія, что и схимнику можно имѣть. У меня дѣти особыя!

— Сколько же ихъ у васъ?

— Да трое! Такая ужъ жена плодливая, что дѣлать!

Представьте мое изумленіе, когда я увидѣлъ этихъ дѣтей: сороку, бѣлку и орла, совершенно ручныхъ. Это, впрочемъ, не единственный примѣръ. Во всѣхъ обителяхъ иноки привязываются къ животнымъ. Въ одной, напримѣръ, мнѣ показывали дрессированнаго поросенка, котораго почему то называли «иновѣрцемъ».

— Какъ одному скучно—сейчасъ: дѣти ко мнѣ! Они ужъ знаютъ, идутъ!

XX.

Мельница.

Мельница поставлена обителью на широкую ногу.

Сразу засыпается сверху для помола 500 четвертей хлѣба. Четыре пары жернововъ работаютъ безо-

становочно. Съ мѣшка муки берутъ за помолъ по два ковша.

— Въ пользу святыя обители пополнѣй наровимъ. А то мужику помирволишь—обитель обидишь!—пояснялъ мнѣ мельникъ.

Въ селѣ Малкахъ стоитъ вторая, громадная монастырская мельница, водяная.

— Она у насъ на диво построена. Помѣщики любуются. Очень ужъ хороша! Изъ Харькова смотрѣть притекали. А и ставилъ-то, какъ и эту, простой неграмотный мужичекъ. Ученые пріѣзжали, говорятъ, совсѣмъ по наукѣ выходитъ, а у него, у мужиченки-то, и науки всей, что аршинъ... Бороденка-то—пеньковая; такъ, немудрящій мужиченко!

Мельникъ оказался типомъ въ своемъ родѣ.

Въ немъ первомъ здѣсь, подъ рясою монаха, не умеръ крестьянинъ. Скуфейка на затылкѣ, рубаха на выпускъ, сапоги со скрипомъ. Съ помольщиками зубъ-за-зубъ.

— Благослови-ко насъ чайкомъ, да яичками!—предложилъ ему о. Серапіонъ.

— Вотъ радость мнѣ, такъ радость!—суетился мельникъ.—Какого святого молить?

— Да ужъ радость не радость, а пришли—угощай! Опъ у насъ вѣдь мученый!—прибавилъ о. Серапіонъ, обращаясь ко мнѣ.

— Это какъ?

— Прежде чѣмъ въ монастырь попалъ, сколько одного побоя отъ отца выдержалъ, за это самое, за монашество!

— Топоръ въ голову леталъ. Съ полнымъ удовольствіемъ. А что горшковъ объ меня разбито, да палокъ сломано. А я все еще—вонъ какой!

— Всякому дневи довлѣете злоба его!—ни съ того, ни съ сего, по своему обыкновенію, изрекъ отецъ Серапіонъ.

— Это точно!—согласился мельникъ.

— Идѣ-же зависть и рвеніе, ту нестроеніе и всякая злая вещь!

— Чего-уже—извѣстно!

— То-то!

— Я, отецъ Серапіонъ, тоже говорю: за этотъ за самый монастырь, сколькимъ, поди, влетало!

— Безъ Бога, братъ, не влетитъ. Это Онъ, Господь, тебя испытуетъ, истинное-ли благожеланіе имѣешь. Не суесловишь-ли токмо. А ты такъ думалъ—въ монастырь, такъ сейчасъ тебя и пустили!

— Зачѣмъ сейчасъ, претерпѣть надо!

— Вотъ оно самое! И претерпѣвай! А ты говоришь—побой!

— Я рази со зломъ, отецъ Серапіонъ; я со всякимъ благодареніемъ. Мы за это самое родителю нашему, за побой, значитъ, въ ноги кланялись! Съ полнымъ удовольствіемъ!

— Всякое царство, раздѣльшеяся на ся, запустѣетъ, и всякъ градъ или домъ, раздѣлившійся на ся—не станетъ! — совсѣмъ уже неожиданно заключилъ отецъ Серапіонъ.

— Они насъ палкой, а мы имъ въ ноги!

— Смиряяй себя—превознесется!

— Они за власы, а мы имъ въ ручку!

— Ну?

— Ну, и превозмогли! Отпустилъ въ обитель. Вмѣстѣ помолились еще!

— Дивны пути Господни! Яйца-то у тебя изъ Малковъ?

— Да. Тамошній мельникъ, отецъ Мардарій, благословилъ десяточкомъ!

— Не вѣдаешь, куда приведетъ... Ты думаешь къ погибели, а Онъ тебя ко спасенію!

— И все это должны мы чувствовать!

— То-то!

— А мы не чувствуемъ и выходимъ скоты безчувственные!—окончательно уже размякъ мельникъ.—Пути, братъ, разные, — обратился онъ ко мнѣ. — Тутъ одинъ старикъ-казакъ ко мнѣ пришелъ. Въ монахи тоже захотѣлъ. Я его принялъ. Чтожъ бы ты думалъ: онъ пола

галъ въ иноки, а жена его домой по этапу стребовала. Вотъ те и пути!.. Это точно, что разные... Отецъ Серапіонъ?—обратился онъ, немного помолчавъ, къ моему спутнику.

— Ну?

— Никакъ невозможно!

— Что?

— По нашему мельничному дѣлу. Изъ-за длинныхъ рясъ, уже въ шестернѣ двое и вѣкъ свой скончало иноковъ. Смололо... Благословили бы насъ короткими. Вонъ они говорятъ, въ Соловкахъ—до колѣнъ!

— Не благообразно!

— Да вѣдь сгинемъ!

— Будетъ попущеніе—сгинешь, а не будетъ попущенія, и въ длинной рясѣ цѣлъ останешься. «Ни единаго волоса», сказано. Что «дамскому полу, что духовному сану—одежда подобаетъ длинная, сокровенно блюдущая члены!»

Чай пить мы пошли на балконъ мельницы. Впереди—громадная поляна, по сторонамъ вершины горъ. На востокѣ онѣ тонутъ-въ туманной синевѣ вечера, на западѣ—смутно млѣютъ въ золотистой дымкѣ заката.

— Свѣтскому человѣку не понять чувства монашескаго!—засмотрѣлся о. Серапіонъ на горы.

— Это почему?

— Потому что здѣсь можетъ быть столько праведниковъ передъ Богомъ, яко свѣтильни, возженныя молитвою, возносились!

— Да, тутъ, братъ, на каждомъ шагу угодники были,—замѣтилъ и мельникъ со своей стороны. —И все разные! Всякихъ націй! Поди, на многихъ языкахъ молились Богу-то?

— Отъ мірского соблазна въ камень уходили. Въ нѣдра горныя!

— А казакъ отъ жены—этотъ не ушелъ... Ишь... И шельма же!.. Супруга—и вдругъ по этапу домой... А?

— И листъ его не отпадаетъ, и вся елика, аще творитъ—успѣетъ!—закончилъ по своему отецъ Серапіонъ.

XXI.

На хуторѣ.

Отъ мельницы до хутора было рукой подать.

Хуторъ еще только устраивается, не окончена даже кирпичная стѣна, которою онъ окруженъ. По угламъ ея зачѣмъ-то башни, уподобляющіе ферму какой-то крѣпости. Внутри стѣны — ряды сараевъ, крытыхъ соломою, маленькія хозяйственныя избы.

— Что это?—указываю я на кирпичные фундаменты.

— Будутъ новыя больница и баня!

Строятъ опять-таки не монахи. Монаха—ни одного! Работаетъ крестьянство, получающее отъ 1 р. 80 к. до 2 р. съ тысячи кирпичей, уложенныхъ имъ. Разумѣется, харчи монастырскіе. Работа тяжелая, и вознагражденіе очень не щедрое. Я замѣтилъ объ этомъ о. Серапіону.

— Чтожъ, пускай для ради обители потрудятся. Вѣдь не кому другому—Богу! Чего и не додадимъ, послѣ сторицею имъ воздастя. Не на помѣщиковъ вѣдь!

Мы посмотрѣли пекарню; въ громадный чанъ, гдѣ замѣшиваютъ хлѣбъ, бросаютъ сразу 50 пудовъ муки, изъ которой выходитъ 65 пудовъ хлѣба. Печется хлѣбъ въ двухъ печахъ, въ каждой по 50 хлѣбовъ за-разъ. Точно изъ вратъ адовыхъ, выбрасывалось пламя изъ этихъ громадныхъ логовищъ. Медвѣдь привольно могъ бы перезимовать въ такой берлогѣ, а семейству крестьянина было бы еще очень просторно въ монастырской печкѣ.

— Все съ молитвой, все съ молитвой! И тѣсто мѣсимъ съ молитвой, и хлѣбы ставимъ, поминая угодниковъ,— сладко расписывалъ маленькій монашекъ, который только состоитъ за дѣломъ, а работаютъ другіе, послушники.— Оттого и хлѣбъ у насъ, рабы Божьи, святой выходитъ. На пользу!

— Ну, это что же! Всякій хлѣбъ на пользу!

— У насъ, отецъ Серапіонъ, особый. На нутро хорошо дѣйствуетъ. И солодкій же у насъ хлѣбецъ. Одинъ га-

нералъ изъ Питера пріѣхалъ, говоритъ, не пробовалъ лучше!

— Нашимъ хлѣбомъ убить человѣка можно!—замѣтилъ опять-таки неожиданно о. Серапіонъ.

— Съ чего же это?—обидѣлся монашекъ.

— Потому въ немъ безъ малаго пудъ. Дай-ка такую ковригу Самсону, замѣсто ослиной челюсти, сколько бы онъ народу побилъ... Хлѣбомъ насущнымъ-то! О, Господи! Господи! Господи! Даждь намъ днесь!

Тутъ же рядомъ—мукосѣйная. Сѣютъ на восемь ситъ сразу. При пекарнѣ отъ 12 до 14 послушниковъ постоянно заняты дѣломъ. Всего же монаховъ на фермѣ живетъ постоянно около 80, и, разумѣется, большей части изъ нихъ дѣлать нечего, тѣмъ болѣе, что и посторонняго рабочаго народа не мало. Сравнивая съ обиходомъ сѣвернаго монастырскаго хозяйства, я отдавалъ послѣднему преимущество. У соловецкихъ иноковъ всюду опрятность, напоминающая финляндское хозяйство. Коровы вымыты, солома подослана чистая. На Святыхъ же горахъ, въ коровникахъ хоть на ходуляхъ броди, столько грязи. На скотскомъ дворѣ мальчики, по колѣно въ грязи этой, доятъ коровъ. Видимо, и условія жизни для дѣтей не особенно хороши. Ребята блѣдные, худые, заморышами смотрятъ. Даже жаль ихъ дѣлается, на что ужъ, кажется, я присмотрѣлся и притерпѣлся къ людскому горю.

— Чтобы вамъ почистить!—замѣчаю я монаху.

— Чего тутъ чистить-то?

— А вотъ, Господь дождика пошлетъ, получше станетъ!

— Отъ дождя еще больше грязи будетъ!

— А тогда и чистить, значитъ, не надо!

Скота у монастыря много. Однихъ воловъ до ста, но все это содержится очень плохо, главное—грязь вездѣ, отдохнуть глазу не на чемъ. Опять разница съ Соловками, и какая еще.

— Скотъ любитъ, гдѣ ему грязно, — пояснялъ тотъ же монахъ.—Волъ мимо грязи не пройдетъ, сейчасъ въ
[illegible]. Ему любо, а намъ что! Блаженъ, иже и скоты ми-

луетъ. Вонъ у иновѣрцевъ, сказываютъ, коровамъ подъ хвостъ мѣшечки такіе подвязываютъ. По вашему, и намъ тоже?

— У иновѣрцевъ любому, отецъ Милитонъ, поучиться можно!

— Ну, ужъ это, отецъ Серапіонъ, напрасно; благочестивому иноку нечего у нихъ позаимствовать!

— Невѣжество! У германцевъ такъ рази скотъ содержатъ?—вмѣшивается вдругъ неизвѣстно откуда, явившійся строптивый отецъ Стефанъ. Точно съ неба свалился!

— А какъ?

— Да такъ!

— Да ты скажи какъ?

— Да такъ, что не такъ, какъ у насъ!—смутился о. Стефанъ.

— А еще восклицаешь въ необузданности своей—невѣжество!

— Ну, прости меня!

— Богъ проститъ!

И опять чмокъ другъ друга въ руку.

Сколько разъ отцу Стефану приходится такимъ образомъ, при строптивости своей, просить прощенія; я думаю, онъ и самъ счетъ потерялъ.

Около фермы — бахча, гдѣ мальчики, при насъ, подъ наблюденіемъ смотрителя изъ монаховъ, сѣяли арбузы.

— Эхъ, вы, дѣтишки, дѣтишки! — умилялся о. Серапіонъ.

Тѣ подняли утомленныя головенки. Видимо, шея заболѣла отъ работы.

— Ты ужъ очень ихъ!—обратился онъ къ приставнику.

— Пущай, пущай!.. Не замай—потрудятся... На Бога! Не для кого больше. Поиграть бы имъ, порѣзвиться по твоему. А бахчу нашу—кто пріуготовитъ?

— Все же...

— Работайте, дѣти, работайте! Богъ труды любитъ. Рабу лѣнивому не споспѣшествуетъ. Ты что таращишься?

Такъ рази грядки-то копаютъ? Ахъ, ты плѣсень! Глубже бери! Бога надуть хочешь? Такъ Онъ, братъ, раньше насъ съ тобой увидитъ... Онъ, братъ, съ неба зорко смотритъ, какъ ты труждаешься!

Мальчики еще торопливѣе принялись за дѣло.

— Такъ-то лучше! Ну, благословенные, еще вотъ тутъ, а потомъ на отдыхъ!

Да и пора была. Теплая ночь уже окутала насъ своими мечтательными сумерками. Опять соловьиныя пѣсни — такъ и льются кругомъ. Слушая соловья, одиноко поющаго, вамъ и представить себѣ нельзя, что это за прелесть, когда цѣлая роща полна ими, когда съ каждой вѣтки несутся на встрѣчу эти чудныя строфы пѣвца любви. Пѣвца любви — здѣсь, въ этомъ царствѣ отреченія отъ нея!..

Главою понаваетъ
И сердце веселитъ,
Отъ скорби помогаетъ
Пернатый сей пѣтъ—

ни съ того, ни съ сего произнесъ отецъ Серапіонъ, вмѣсто ожидаемаго мною и столь же, разумѣется, неподходящаго текста.

— Это вы о чемъ же?—изумился я.

— О соловьѣ. Имѣю слабость къ стихосложенію. Даже наказанію на тѣлѣ въ семинаріи подвергали за оное, но не оставилъ. Я какъ бурсакомъ былъ, больше сатиры на начальство писалъ.

XXII.

Ризница.—Трапезная.

Каждый старый монастырь вырабатываетъ непремѣнно свой типъ монаха. Такъ, напримѣръ, соловчанина вы съ одного взгляду отличите отъ инока Троице-Сергіевскія лавры, а этого послѣдняго отъ Кіево-Печерской. Святогорская обитель, какъ молодая, не можетъ дать вамъ такихъ же рѣзкихъ отличительныхъ чертъ. Здѣсь мо-

нахъ, поступившій сначала по набору изъ другихъ обителей, не сложился еще, не успѣлъ закостенѣть въ опредѣленную форму. Тутъ есть историческія воспоминанія, но нѣтъ традиціи, которая только одна воспитываетъ черноризца. Притомъ тутъ такая амальгама сословій и національностей, что, какъ острогранныя тѣла, смѣшавшіяся въ одномъ тѣсномъ мѣстѣ, они сглаживаютъ другъ друга. Отсюда, неблагодарная роль наблюдателя въ Святыхъ горахъ. Монастырь этотъ пока не складывается еще, не переваривается, а просто механически растетъ, какъ растутъ камни. Уже и теперь думаютъ, напримѣръ, перемѣстить сто монаховъ на хуторъ, потому что здѣсь имъ стало тѣсно. Когда обитель дойдетъ до совершеннолѣтія, тогда только у нея будетъ своя опредѣленная физіономія. Та же самая молодость монастыря отражается и въ его разницѣ, и въ живописи стѣнъ, и въ стилѣ построекъ. Все это пахнетъ казармой, известкой, лакомъ и масломъ. Разумѣется, въ нашихъ обителяхъ нечего искать замѣчательныхъ созданій живописи. Искусство тутъ имѣетъ совсѣмъ другой интересъ. Въ произведеніяхъ иноческой кисти вы можете изучить особенности народнаго вкуса. Та же, въ сущности, суздальская картина,—въ высшей степени характерная, какъ и она, хотя, разумѣется, безобразная до крайности. Въ Святогорской обители даже этого характернаго базобразія мало. Даже тулякъ-оружейникъ, встрѣтившійся мнѣ въ одной изъ галерей святогорскихъ, жаловался, что тутъ незанятно, нѣтъ той нравящейся народу и немного грубоватой иронiи. Въ одномъ изъ маленькихъ монастырей, напримѣръ, я видѣлъ цѣлую стѣну подъ картиною Страшнаго Суда. Судьи сидятъ наверху, какъ и подобаетъ, на облакѣ. Передъ ними развернутъ сводъ законовъ. Внизу, во всю длину стѣны, разверстая пасть люцефирова, съ огнемъ, пышущимъ изъ нея. Въ пасть эту вступаютъ, по два въ рядъ и по ранжиру (художникъ былъ изъ солдатъ), сначала черное, а потомъ бѣлое духовенство въ полномъ облаченіи, затѣмъ

чиновники въ мундирахъ, съ портфелями подъ мышкой, точно они идутъ къ докладу, и, наконецъ, цѣлый кавалерійскій полкъ во всемъ парадѣ, съ трубачами, играющими маршъ, съ начальствомъ, обнаживщимъ сабли. Еще одна подробность. Дѣвица, въ короткомъ платьѣ, съ чрезвычайно старательно, любовно отдѣланными икрами, танцуя съ молодымъ человѣкомъ въ зеленомъ фракѣ, тоже стремится въ пламя адова въ пасть Люцифера.

И зданія здѣсь другого рода. Во всѣхъ старыхъ обителяхъ они оригинальны, въ Святыхъ горахъ—все больше къ типу казармы подходятъ. Въ ризницѣ есть богатство, но остановиться не на чемъ.

Спрашиваемъ, между прочимъ, относительно книгъ въ библіотекѣ. Нѣтъ-ли старыхъ, или рукописей?

— А на что намъ онѣ? Монаху одно Евангеліе, да Читьи-Минеи надлежатъ!

— Да вѣдь сколько ученыхъ изъ монаховъ было?

— Повѣрьте, всѣ они не настоящіе иноки. Всѣ на томъ свѣтѣ на сковородкахъ жарятся. Чортовы котлетки! Невѣжество свѣтскому человѣку стыдъ и поношеніе, а иноку въ честь и прославленіе. Если который истый черноризецъ, то науку забыть долженъ. Развратъ въ ней! Безъ наукъ-то сколько праведниковъ было; а какъ науки пошли, и праведниковъ не стало. Моисей былъ душою простъ, а какъ устыдилъ жрецовъ египетскихъ съ ихъ волшебствами? У насъ тоже, которые малограмотные монахи, тѣ больше къ иночеству прилежатъ. Вотъ отецъ Антонинъ, изволите знать? Что-же добраго—все въ книжку! Смиримъ мы его,—оставитъ, а потомъ опять. Іоаннъ-Заточникъ изъ простыхъ былъ, а каковъ! Аки адамантъ сіяющій, аки вѣнецъ свѣтящій!

— Да вѣдь и Іоаннъ сокрушался, что самъ не могъ читать и понимать отцовъ церкви!

— Такъ это развѣ наука? Это премудрость, а не наука. Премудростью спасешься—наукою погибнешь! И то уже не иноческій духъ у насъ. Пожарный струментъ завели. А зачѣмъ? Съ Богомъ спорить захотѣли. Громъ

небесный—глаголъ Господень; нѣтъ, громоотводы подавай! Слово-то Божіе отводить! Какъ пошлетъ попущеніе,—кишкой и заливай! Ересь!

— Однако, за эту за самую кишку ужъ какъ мы вамъ и благодарны!—вмѣшался мужичекъ.

— А что?

— Да пожаръ у насъ былъ; монастырь прислалъ кишку—чудесно залили!

— Изорвали только!

— Намъ обитель благодѣтельствуетъ! —слащаво вмѣшался мужичекъ.—Теперь, погорѣвшимъ по 10 р. денегъ отвалили, а кому и больше. Телѣгами благословили, скотомъ тоже. Одному избу на счетъ обители построили, триста рублей денегъ дали!

— Вы къ намъ прилежите, а мы къ вамъ. По завѣту евангельскому!

— Это точно!

Чрезвычайно трудно уловить особенность здѣшняго говора. Русскіе переселенцы быстро усвоиваютъ малороссійскія окончанія; произносятъ. не «торговать», а «торгуваты», не «покупать», а «покупаты» Въ то же время и коренное населеніе, подъ вліяніемъ обители, отстаетъ отъ своего говора и принимаетъ русскій. Обитель въ этомъ отношеніи замѣтно ассимилируетъ; черезъ нее проходятъ, теряя особенности языка. Въ селахъ Банномъ, Малкахъ и другихъ ужъ говорятъ по-русски.

XXIII.

Богомольцы.—Нищіе.

Какъ пестра толпа богомольцевъ, спующихъ по дворамъ святогорскаго монастыря. Я по цѣлымъ часамъ всматривался въ нее. Тутъ и казаки въ бешметахъ, и женщины въ бѣлыхъ свиткахъ, съ черными тесьмами, и бродяжки въ подрясникахъ и скуфейкахъ, и отставные солдаты, съ обязательно торчащею щетиною на бо-

родѣ, и пестрое цыганство, перекликающееся гортаннымъ говоркомъ, и гречанки съ Дона—чернобровыя, черноокія, и ростовскіе армяне, и болгарскіе колонисты, неповоротливые, тяжелые, и невѣдомо зачѣмъ—бойкіе и юркіе жидки, не то перекрещенцы, не то такъ себѣ вольнопрактикующіе. Притомъ, тогда какъ въ Соловкахъ нищенства нѣтъ, здѣсь нищенство на каждомъ шагу, самое назойливое, самое безотвязное.

— Дайте мини слѣпенькому, темненькому!—преслѣдуетъ васъ повсюду назойливое причитаніе. Вы не знаете, куда укрыться отъ него... У воротъ гостиницы сидятъ рядами. У входа въ обитель—тоже. Безногіе перекатываются по землѣ, безрукіе ухитряются держать чашку пальцами ногъ, слѣпыя старухи постукиваютъ посохомъ по сторонамъ.

— Тутъ, вы полагаете, все нищіе?

— А то ктоже?

— Баснописецъ, Крыловъ, кажется, замѣтилъ, что наружность обманчива бываетъ. Вонъ видите, здоровый мужикъ. Еще сапоги хорошіе на немъ!—указалъ мнѣ монахъ, сопровождавшій меня.

— Вижу!

— Выпрашиваетъ тоже. Ты по обѣту?—обратился къ нему инокъ.

— По обѣту, отче!

— Ну, вотъ видите! У него дома хозяйство, а это онъ обѣтъ далъ Богу мѣсяцъ въ видѣ нищаго у воротъ обители сидѣть. Ну, и сидитъ! Вы какъ думаете: тутъ одна барышня, благородная, тоже съ нищими по обѣту пришла. Мы ее видѣли. Черезъ недѣлю ужъ папенька ихній изъ города пріѣхалъ, такъ увезъ. А то все у воротъ сидѣла съ чашечкой. Вотъ какіе у насъ нищіе бываютъ!

Больше всего здѣсь окрестнаго, монастырскаго крестьянства. Оно чуть не живетъ при обители. Правда, и кормится здѣсь хорошо! Напримѣръ, бабы изъ села Баннаго присвоили себѣ монополію торговли при монастырѣ;

мальчики—тѣ при мельницѣ у монаховъ. Впрочемъ, обитель нѣсколько деморализовала ихъ. Лѣнивѣе работаютъ. Даже иноки и тѣ жаловаться стали.

— Мы ихъ не заставляемъ, впрочемъ. Какъ придется, такъ и пусть работаютъ!

Монахи поэтому предпочтительно нанимаютъ работниковъ изъ другихъ губерній, преимущественно же курянъ. Куряне—работники чудесные, и обитель ими дорожитъ очень. Монастырь вообще цѣнитъ трудовыя руки. На хуторѣ я самъ видѣлъ, что и двухъ слѣпыхъ не оставили безъ дѣла, приставили ихъ мѣсить хлѣбъ въ пекарнѣ.

Казаки снуютъ въ толпѣ. Въ однобортныхъ кафтанахъ и барашковыхъ шапкахъ. Перетянуты поясами, какъ жаръ, горящими отъ мѣдныхъ бляхъ. Эти, по словамъ монаховъ, воръ-народъ. Чуть не досмотришь, глядишь—ужъ и ахнуло! Ихъ неохотно «Святогорье» и въ монахи принимаетъ.

— Почему это?

— Да все старая удаль. Тѣ же воры—черкесы, что и прежде были. Есть для нихъ отдѣльная столовая,—нѣтъ, наровитъ все больше въ трапезную къ намъ забраться!

Трапезная святогорская очень бѣдна. На стѣнахъ плохо нарисованные образа. Между ними монахъ на крестѣ... Кругомъ него искушенія: одно въ видѣ сарацина. Изо рта ленточка, на ленточкѣ надпись: «плоть, сойди со креста». По другую сторону воинъ съ ленточкой во рту: «міръ, сойди со креста». Внизу, подъ самымъ крестомъ, чортъ съ длиннѣйшимъ хвостомъ и фигурой клоуна тоже приглашаетъ инока оставить его мѣстопребываніе. Кругомъ летаютъ головы съ пылающими глазами и ртами. Лучше всего то, что въ число «прелестныхъ искушеній» попало и не особенно привлекательное существо—лягушечья голова на змѣиномъ тѣлѣ! Она тоже приглашаетъ монаха къ себѣ.

— А лягушка сія обозначаетъ дамскій полъ!—пояснилъ мнѣ монахъ.

— Ну, что потрудились (потрудились на иноческомъ нарѣчіи значитъ—походили, посмотрѣли)?

Оглядываюсь,—отецъ Стефанъ, мрачный, недовольный.

— Что съ вами?

— Да съ пасѣки сейчасъ—прогнали!

— За что же это?

— По невѣжеству своему!

— Опять посовѣтовалъ что?—вмѣшался монахъ.

— Разумѣется! Если они по невѣжеству своему...

— Что-жъ ты имъ посовѣтовалъ?

— Дурного не пожелаю!—уклонился о. Стефанъ отъ прямого отвѣта.

— А однако?

— Да ульи стеклянные устроить!

— Ну?

— Обидѣлись пасѣчники и прогнали!

— Достойно и праведно!

— Почему?

— А не лѣзь въ чужое дѣло. Тебѣ-то что!

— Не могу же я видѣть, какъ въ нихъ темнота эта самая свирѣпствуетъ!

— А не можешь, не смотри!

— Нѣтъ моей мочи,—уйду я отъ васъ!

Кстати, въ этотъ же день обозрѣли мы нѣсколько хозяйственныхъ учрежденій въ самой обители. Тутъ каждый клочокъ земли отнятъ у горъ. Вотъ длинныя строенія кирпичнаго завода. Соломенныя кровли его рдѣютъ горячимъ золотомъ подъ солнцемъ. Монастырь съ этого года уже перестаетъ покупать кирпичъ—свой дѣлаютъ. «А скоро и продавать будемъ!» замѣчаютъ монахи.— Санное заведеніе и телѣжное—невдалекѣ, до пятисотъ экипажей въ зиму выходитъ отсюда. Въ зданіи обители механическая мастерская на пять станковъ, свѣчной заводъ, слесарня на четыре станка, лудильня, кузница на четыре горна, столярная на двѣнадцать станковъ. Все это заведено на хорошую ногу; видимо, хозяйство заводится прочное, во вѣки нерушимое.

— Это еще что!—говорятъ монахи.—Вы нашу обитель годовъ черезъ десятокъ посмотрите. Коли произволеніе Божіе будетъ надъ нами, мы такихъ чудесъ тутъ надѣлаемъ. Въ Англію не надо!

— Самимъ бы только работать слѣдовало!

Сейчасъ же и ушелъ въ раковину.

— Мы что, мы иноки — намъ не подобаетъ! Наше дѣло молитва. Мы за всѣхъ христіанъ православныхъ!

При самомъ выходѣ изъ монастыря — новая группа нищихъ попалась на встрѣчу.

Толстый одутловатый странникъ, въ лохмотьяхъ, которымъ нѣтъ имени. Слѣпой и глухой. Отъ лица такъ и пышетъ жиромъ. Недуги послужили ему въ пользу. Съ нимъ рядомъ хромая, безобразная жена. На плечѣ рана, и, видимо, расковыряла она ее для пущаго возбужденія сострадательныхъ чувствъ, а около—дитя, прелестнѣйшее, съ крупными, чудными, черными глазами, вишневымъ ротикомъ, улыбающимся такъ привѣтливо и наивно, что даже дико кажется видѣть его здѣсь, на рукахъ у этой отвратительной матери.

— Я такъ полагаю, стеклянные ульи поспѣшествовали бы пчеламъ!—не выдержалъ о. Стефанъ.

Я, разумѣется, поспѣшилъ согласиться.

— То-то и оно! Удивительно, какъ въ необузданномъ невѣжествѣ своемъ погрязаетъ человѣкъ. Помилуйте, я читаю, учусь. Всею душою готовъ для нихъ, а они негодуютъ. Пасѣчникъ даже побѣлѣлъ, какъ я сказалъ. И не простилъ! Вотъ за какую обиду себѣ принялъ!

— Не простилъ?

— Я ему черезъ ворота—захлопнулъ онъ ихъ—кричу: прости, святой отецъ! А онъ ни слова, машетъ рукою и прочь идетъ. А вы знаете, вотъ на этихъ самыхъ горахъ,—совершенно неожиданно заключилъ онъ:—прежде дикія козы жили, а теперь не живутъ. Отъ людского запаха ушли. Имъ не по себѣ, если чье жилье около. А я такъ думаю: дѣтенышами изловить ихъ, да подъ ощенившуюся суку пустить, чтобы онѣ отъ ея сосцовъ кор-

мились, тогда они къ человѣку будутъ прилежать и вновь сіи горы населятъ!.. [illegible] къ этому пасѣчнику еще пойду!

— Зачѣмъ?

— Пускай проститъ. Какъ же я теперь въ церковь супусь, когда онъ на меня зло имѣетъ?

XXIV.

Пещерная церковь.—Схимонахи.

Бѣлые цвѣты райскаго дерева колышутся надо мною. Тонкій ароматъ ихъ струится въ тепломъ воздухѣ... Не надышешься. Въ весеннюю листву, еще подернутую желтизною, ярко бьетъ солнце. Точно золотыя брызги сыплются по ней. Сквозь нее чернѣютъ стволы и сучья... И они словно рдѣть начинаютъ, и ихъ этотъ блескъ полуденнаго свѣтила зажигаетъ алыми огоньками. По цѣлымъ часамъ можно сидѣть здѣсь и слѣдить за переливами свѣта и тѣни. Самая тѣнь здѣсь лиловая, проникнутая теплыми тонами. Вонъ глубокое ущелье все въ эту тѣнь ушло... Только и свѣтится тамъ крестъ какой-то церкви.

Потянуло вѣтромъ. Бѣлые цвѣты заколыхались у самаго лица. Точно прикосновеніе чьихъ-то нѣжныхъ, лилейныхъ пальцевъ. Лепестки осыпаются, будто крылья бабочекъ скользятъ по вѣтру.

— Отдыхаете?

— А! Отецъ Антонинъ! Что вы?

— Да такъ! Тянетъ меня отсюда... Жизнь зоветъ... Какъ на картинѣ: «сойди со креста», говоритъ!

— И сойдите!

— А обѣты?.. Я монахъ... Я отъ всего земного отрекся... Нѣтъ уже... Для міра я мертвецъ. Что другихъ то пугать собою? Въ келью бы такъ спрятаться, чтобы ничей голосъ не дошелъ бы до тебя. Земли надъ собою насыпать повыше и камнемъ завалить!

— Хотѣли вы нашу пещерную церковь посмотрѣть?— предложилъ онъ немного погодя.

— Какъ же. Давно сбираюсь!

— Она во имя св. Антонія и Ѳеодосія ископана. А вы слышали, какъ мы ее нашли?

— Нѣтъ!

— Служеніе здѣсь древле еще совершалось, только никто у насъ не зналъ объ этомъ. Когда обновилась обитель, къ намъ старецъ одинъ помѣстился—Мафусаилъ. Онъ еще въ прежнемъ монастырѣ въ дѣтствѣ своемъ бывалъ!

— Сколько же ему было лѣтъ, когда возстановили монастырь?

— За сто, должно быть. Совсѣмъ ветхій деньми. Онъ намъ и разсказывалъ, что, ребенкомъ еще, пася стада отца своего, онъ въ лѣсу открылъ сей пещерный храмъ. Случайно на слуховое окно онаго набрелъ. Сообщилъ инокамъ тогда же; но тѣ, терпя утѣсненіе, не стали разрывать этого мѣста. Сначала ему не вѣрили и у насъ, хотя онъ и указывалъ въ чащѣ лѣса, на горѣ, малую яму, говоря, что это и есть слуховое окно въ подземный храмъ; а потомъ пріѣхалъ преосвященный Иннокентій и приказалъ начать разрывать гору въ этомъ мѣстѣ. Братія съ о. Веспасіаномъ во главѣ раскопали яму и черезъ оную вошли въ алтарную часть подземелья. Тутъ жертвенникъ и престолъ оказались; стали дальше работать, весь храмъ очистили и его боковые входы и выходы. Землю выгребали оттуда руками и въ своихъ одеждахъ выносили ее въ слуховое окно.

Черная щель, совсѣмъ нора, вела въ этотъ храмъ. Нора шла внизъ, такъ что нужно было нѣкоторое усиліе удержаться на мѣстѣ. Сырой и тяжелый воздухъ этого мрачнаго подземелья стѣснялъ дыханіе. Въ ходахъ мѣловой скалы стѣны бѣлыя, здѣсь онѣ совсѣмъ черны. Несмотря на свѣчу, я едва различалъ передъ собою силуэтъ монаха. Капаетъ сверху, течетъ съ боковъ, мокро внизу. Щель эта идетъ въ алтарь, для прихожанъ проведена

другая. Странное впечатлѣніе производитъ бѣдная обстановка подземнаго храма. Не страшно, а жутко; тянетъ скорѣе на свѣтъ Божій.

— Вотъ она эта самая могила! Зарыться бы, ничего не видѣть, не чувствовать!—шепчетъ о. Антонинъ.

Сурово смотрѣли лики иконъ, освѣщенные трепетавшими огоньками лампадокъ. Точно подстать этому подземелью поднялась съ земли сгорбленная, хилая фигура монаха. Черная риза... Скелеты на ней, черепа... Капюшонъ на головѣ такой же... Шепчетъ что-то намъ безкровными, совсѣмъ мертвыми губами. Уже не сѣдая, а даже пожелтѣвшая борода падаетъ космами. Не хочется вглядываться пристальнѣе въ это лицо, такъ и кажется, что изъ-подъ капюшона неотступно вперились въ тебя черныя впадины голаго костяка. Едва-едва идетъ къ намъ, видимо, не различая, гдѣ мы.

— Схимонахъ!—шепнулъ мнѣ о. Антонинъ.

— Кто здѣсь?.. Кому надо?.. Что надо?—шепталъ схимонахъ, блуждая взглядомъ по всему подземелью.

— Это мы, святой отецъ!

— Монашествующіе или мірскіе? Иноки?.. Иноки?.. Гдѣ?.. Простите меня недостойнаго!

— Одинъ мірской есть!

— Гдѣ?.. Гдѣ мірской? Зачѣмъ мірской?.. Зачѣмъ мірской?.. Гдѣ онъ тутъ?

Я откликнулся.

Темныя впадины глазъ уставились въ мою сторону. Смотритъ и ничего не видитъ. Точно сквозь меня.

— Отчего не монашествуешь? Почто не спасаешься? Почто? Адскихъ мученій восхотѣлъ? Иди, скорѣе иди!.. Преклони колѣни, моли о посвященіи. Иди, рабъ, иди!.. Се сѣкира лежитъ у древа! Пламя геенское пышетъ, скрежетъ грѣховный слышенъ... О, Господи! Господи! Господи!

И схимникъ падаетъ передъ образомъ, всхлипывая совсѣмъ уже по-дѣтски.

Еще недавно здѣсь умеръ другой замѣчательный схимонахъ, въ мірѣ Семенъ Голубъ; прослужилъ онъ въ полку

двадцать пять лѣтъ, былъ раненъ. Послѣ отставки пошелъ на Аѳонъ, въ Черноморскій монастырь, гдѣ и постригся. Тамъ онъ получилъ мантію и былъ названъ Серафимомъ. Греки его стали выживать. Долженъ былъ онъ уйти и нашелъ себѣ пріютъ въ Кіево-Печерской лаврѣ, а потомъ въ Глинской пустынѣ. Отсюда его перевели въ Святыя горы, гдѣ онъ, уже подъ именемъ Ѳеодосія, принялъ схиму и даже пророчествовалъ. Этотъ прожилъ болѣе ста лѣтъ и умеръ въ полной памяти, даже работалъ наканунѣ смерти.

Мы поскорѣе вышли изъ подземелья.

— Вотъ вамъ моя судьба,—тоскливо говорилъ о. Антонинъ.—Мечталъ, мечталъ, а подъ такую же схиму уйду. Что ужъ!. Смерть зоветъ!.. Не совлечь!

Какъ отраденъ показался теплый воздухъ и дневной свѣтъ. Изъ подземелья мы попали на кладбище, гдѣ схоронены разные благодѣтельницы и благодѣтели обители. На одномъ изъ памятниковъ между прочимъ изображено:

«Артиллеріи подполковница Ѳеодосія О****»,

Хорошо здѣсь! Хорошо именно съ пункта, гдѣ лежитъ эта артиллеріи подполковница. Вдали смутно синѣютъ таинственными очертаніями, уходя однѣ за другія, горы, покрытыя сосновымъ боромъ. Въ разсѣлинѣ, налѣво, пріютилось село, сползая въ сочную понизь. Луга, изумрудными коврами, покрыли скаты позади... Кони бродятъ тамъ...

Вонъ, на мысу, точно сбѣжался въ одну кучку, монастырь... Смотрится въ донецкія воды. Лѣсные плоты ползутъ по нимъ... А въ самой вышинѣ—тѣ же дивныя мѣловыя скалы, точно облитыя солнечнымъ блескомъ, сіяющія будто въ ореолѣ...

XXV.

Монахи скорбящіе.— Больница.

— Что? Нашу больницу смотрѣть? Никого вы тамъ не увидите!

— Почему?

ливо машутъ намъ руками. Засмотрѣлся мой спутникъ на одну гору.

— Это моя Голгоѳа!

Я попросилъ объясненія.

— Первое время, какъ поступилъ въ монастырь, куда какъ жутко было,—разсказывалъ онъ.—Тосковалъ, мучился. Ну, какъ только придешь на это мѣсто, на самую высь, станешь на колѣни въ одиночествѣ и молишься... и полегчаетъ, какъ и Христу на Голгоѳѣ, когда Онъ духъ Свой Отцу Небесному съ креста предалъ. А тамъ встанешь, начнешь мѣста эти оглядывать, совсѣмъ свѣтло на душѣ станетъ. Господи!—подумаешь: люди издалеча пріѣзжаютъ сюда только полюбоваться, только взглянуть, а ты здѣсь всегда... Всегда эта краса передъ тобою, твоя она... Ну, и легко станетъ, и духомъ воспрянешь. Вмѣсто слезъ смѣешься!

— А трудно бывало здѣсь?

— Какъ же не трудно! Мука крестная!.. На этой самой горѣ упадешь и часа два лежишь пластомъ, словно мертвый. И въ кельѣ тоже. Какъ вечеръ, такъ тебя и бьетъ всего; и въ головѣ мутится, и глаза не глядятъ. Бывало, въ церковь пойдешь: запоютъ монахи—несносно тебѣ, такъ бы и крикнулъ на весь храмъ, а что крикнулъ, и самъ того не знаешь. Доктора катаррами это называютъ. Душевный, должно быть, катарръ, потому духъ мятется, простору проситъ изъ-подъ черной рясы-то, какъ бѣсъ изъ одержимаго—вонъ стремится!

— Ну, я думаю, у отца Серапіона духъ не мятется!

— Это у котораго? Не у того-ли, что все текстами говоритъ?

— Вотъ, вотъ!

— А вы спросите, кого двѣнадцать лѣтъ тому назадъ изъ петли вынули? Въ другой обители это случилось съ нимъ; тогда еще онъ у насъ не былъ. Онъ, видите-ли, въ попы долженъ былъ поступить. Кончилъ семинарію. У него ужъ и приходъ имѣлся. Явился къ архіерею, а тотъ и говоритъ: приходъ твой, только ты женись на

дочери твоего предшественника, попа тоже. Ну, а она баба рябая, злая... Подлая совсѣмъ баба. Серапіонъ и докладываетъ: я, ваше преосвященство, другую люблю и ею любимъ...—Кого-же?—Свѣтскую, дочь одного чиновника себѣ намѣтилъ.—Ты,—говоритъ архіерей,—эту блажь изъ головы выкинь и не думай лучше. Я тебя въ такой приходъ загоню, гдѣ ты, какъ скнипа, будешь въ щели жить. Нѣтъ тебѣ моего благословенія на священство, пока не женишься на поповнѣ. Не подобаетъ служителю алтаря на свѣтскихъ дѣвицахъ жениться... Что ему было дѣлать? Отецъ, мать—бѣдные, дьячки простые... Кончилъ тѣмъ, что въ монастырь пошелъ. А года четыре спустя, его-то, на которой онъ хотѣлъ жениться, въ обитель Богу помолиться пріѣзжаетъ. Ужъ замужемъ, и дѣти у нея... Вотъ тогда-то, сказываютъ, отца Серапіона изъ петли и вынули... Иной веселый, веселый, а вы его копните, веселость-то и окажется.

XXVI.

Святое мѣсто.

Лучше всего путь къ Святому мѣсту съ пасѣки. Не въ смыслѣ удобства, а красоты пейзажей.

Онъ идетъ по крутому скату, по которому мы сползли внизъ, почти совсѣмъ окутанные зелеными облаками орѣшника и райскаго дерева. Послѣ дождя поднялись бѣлые колокольчики ландышей, запахъ которыхъ, смѣшиваясь съ ароматомъ фіалокъ, густо переполнялъ воздухъ. Какъ все это не напоминало объ умерщвленіи плоти, о принципахъ суроваго аскетизма! Любить и жить хотѣлось среди этихъ очаровательныхъ мѣстъ, созданныхъ для веселаго пира и обращенныхъ человѣкомъ въ глухую тюрьму, въ душную для мысли и чувства келью схимника. На самомъ днѣ зеленой лощины—дорога пропадаетъ въ вишневой чащѣ. Видимо, здѣсь рѣдко ходятъ. Вѣтви хлещутъ въ лицо, всякая лѣсная птица деретъ

горло, недовольная вашимъ приходомъ, и, наконецъ, сквозь зелень вы видите смутное очертаніе келій, обнесенныхъ рѣшеткой, наглухо запертой, и двѣ золоченыя главы скитской церкви. Въ сторонѣ, въ той же оградѣ— отдѣльно стоящая избушка на курьихъ ножкахъ. Въ ней спасается какой-то совсѣмъ изможденный и мохомъ поросшій схимникъ.

— Въ затворъ просится!

— Зачѣмъ это?

— Подвига жаждетъ! Его хотятъ тоже въ мѣловую скалу. Можетъ быть, скоро и келію ему тамъ приготовятъ!

Слышно, кто-то поетъ псаломъ. Сильный, красивый голосъ—всю окрестность наполнилъ собою.

— Какъ пройти туда?

— Въ скитъ?

— Разумѣется!

— Этого нельзя. Только четыре раза въ годъ отпираютъ ограду. А остальное время скитники отъ всего міра отрѣшены. Только на третій день Рождества, въ пятницу Свѣтлой недѣли, 8 мая и 14 августа можно войти сюда, 8-го мая память перваго настоятеля Арсенія, а 14-го августа освященіе храма скитскаго.

Вонъ вышло нѣсколько скитниковъ. Видимо, даже простое любопытство замерло въ нихъ. Скользнули сквозь рѣшетку по моему лицу ихъ глаза и опять внизъ. Будущіе схимники, совсѣмъ закостенѣвшіе. Пѣвца мы не видали, должно быть, совсѣмъ не похожъ на этихъ. Голосъ нервный. Въ каждомъ звукѣ его точно пульсъ бьется. Видимо, этотъ не окаменѣлъ еще, живетъ въ душѣ прежній человѣкъ, струится въ ней родникъ восторговъ и печалей. Эти, что тутъ проходятъ мимо, не поютъ, а если и поютъ, то тихо, безъ экстаза.

А какъ хорошо здѣсь! Именно прелесть несказанная, какъ говорятъ монахи. Птицы заливаются въ чащѣ. Зеленую листву сплошь засыпали цвѣты, какъ будто только и ждали дождя, чтобы распуститься. Такъ бы и ушелъ сюда забыться отъ тьмы и золъ, отдохнуть душой

отъ подлой клеветы. Гдѣ-то ручей звенитъ, точно въ душу къ тебѣ просится, ласково, ласково. Отъ этой пустыньки—просѣка къ берегу Донца.

Словно заснулъ Донецъ. Лѣнь ему всколыхнуться... Сѣрая ящерица спѣшитъ поскорѣй зарыться въ песокъ. Скользнула рыбка надъ водой и опять бултыхъ въ нее. Гдѣ-то кусокъ берега въ воду рухнулъ, глухо... Зыбь пошла... А птицы заливаются все громче и громче, все задорнѣе. Вся природа полна жизнью и счастьемъ—рядомъ съ этимъ царствомъ смерти и покоемъ могилы!

Когда мы всходили на противоположный скатъ, по немъ внизъ катились казакъ съ казачкой, оба старые престарые.

— Что вы опять, рабы?—спрашиваетъ мой спутникъ.

— Опять, отче, опять!

— Трудно?

— Богу трудимся. Даетъ Господь силъ!

— Повѣрите-ли, двое этихъ вотъ уже второй мѣсяцъ по этой горѣ въ день десять разъ, вверхъ и внизъ. Въ томъ все свое время препровождаютъ!

— Что же это они?

— По обѣту. Тутъ надъ ними смѣются, а я не смѣюсь. Въ чемъ бы душа ни находила міръ и успокоеніе, лишь бы нашла. Вонъ, говорятъ, факиры въ Индіи на одной ногѣ по мѣсяцамъ стоятъ. Чтожъ, если это усмиряетъ его совѣсть, либо соотвѣтствуетъ потребности смущеннаго духа—пускай!

Уже спустившіеся внизъ старики, казакъ и казачка, когда мы взобрались на верхъ, медленно стали всползать туда же, чтобы сейчасъ опять скатиться въ лощину.

XXVII.

„Новопреставившаяся раба Елена“ и прощаніе съ монастыремъ.

— Ну, отецъ Серапіонъ, прощайте!

— Спаси Богъ! Въ отъѣздъ? Оставляете вы насъ?

— Да!

— Сегодня?

— Сейчасъ!

— Что-жъ такъ не пожилось? Я полагалъ, цѣлое лѣто Господне вы у насъ погостите, поелику такія мѣста развѣ только что въ Кіево-Печерской лаврѣ найдете. Но ежели такое ваше желаніе, чтобы непремѣнно уѣхать— спаси васъ Богъ! Пуще всего вы на Него, Милостиваго, надѣйтесь. Надѣющійся на Господа, яко гора Сіонъ, не подвижется во вѣкъ. Вы это какъ же, на четвероногихъ?

— Нѣтъ, я думаю до села на лодкѣ!

— Подобно рыбарямъ? И то дѣло! Будете насъ описывать—очень не браните!

— Зачѣмъ же!

— Но и не хвалите, ибо превознесемся. Что злое замѣтили—обличите, мы покаемся. По слову писанія: блаженъ, иже внимаетъ гласу обличенія. Нашу обитель воспойте, мѣста собственно, древеса на версѣ горъ и прочее. У насъ древеса вѣчно зеленыя, какъ Давидъ о праведникѣ сказалъ: и листъ его не отпадетъ, и вся, елика аще творитъ,—успѣетъ!

Мы шли по двору гостинницы. Сегодня здѣсь просто Вавилонъ. До пяти тысячъ народу навалило. Разбросались, гдѣ кто могъ. Одни у дровъ и на дровахъ спятъ подъ солнцемъ, такъ что только ничѣмъ незаслоненныя лица рдѣютъ подъ его знойными лучами; другіе у сарая привалились; третьи густою, сплошною толпою стоятъ у входа въ женскую больницу. Гамъ такой, что у Іоанна гостинника голова кругомъ пошла. «Точно на ярмаркѣ», кидаетъ онъ мнѣ на бѣгу, звеня ключами. Только молчаливыя сосны и дубы съ горныхъ скатовъ сурово смотрятъ на толпу. Ихъ вѣковѣчной тишинѣ чуждъ суетный говоръ этихъ богомольцевъ, въ общемъ смѣшеніи которыхъ рядомъ сходятся: москвичъ, въ смазныхъ сапогахъ, съ краснымъ гарусным платкомъ на шеѣ, и высохшіе клювоносые черноморцы-линейцы; понуренный малороссъ и рядомъ штурманъ коммерческаго судна, широко разставляющій ноги, точно земля подъ

нимъ, какъ палуба, колеблется. Всѣ эти голоса, всѣ эти крики покрываются дробною перестрѣлкою чечотокъ-бабъ всѣхъ родовъ и сортовъ, и молодыхъ и старыхъ, и красивыхъ и безобразныхъ. Бѣлое, синее, красное мѣшается вмѣстѣ, пестритъ, слѣпитъ глаза яркостью красокъ. Изрѣдка взглядъ отрадно останавливается на высокихъ и стройныхъ фигурахъ казачекъ, которыя, подпершись руками въ бокъ, однѣ не теряются въ этой разноголосицѣ, однѣ не суетятся.

Толпа все прибывала и прибывала. Все это стремилось именно въ женскую больницу.

Вошелъ и я туда.

Въ большой камерѣ, на столѣ, вытянувшись и сложивъ на груди руки, неподвижно лежитъ молоденькая дѣвушка. Глаза закрыты. Черты лица заострились, но жизнь какъ будто еще не сбѣжала съ нихъ. Такъ и кажется: вотъ-вотъ, вздрогнутъ эти длинныя черныя рѣсницы, что чуть не до половины кинули тѣнь на блѣдныя, блѣдныя щеки... Вздрогнутъ, откроются — и удивленный взглядъ крупныхъ красивыхъ глазъ недоумѣло остановится на свѣчахъ, что горятъ у нея въ ногахъ. У изголовья тарелка; богомольцы со звономъ бросаютъ туда мѣдь, и всякій разъ, когда монета звякнетъ о другія, мнѣ кажется, что бѣдная вздрагиваетъ.

— Кто такая?—спрашиваю у монаха.

— Богъ ее знаетъ!

— Неужели неизвѣстно?

— Паспорта при ней не было. Она пришла издали. Только семь денъ у насъ и проболѣла. Тутъ вонъ говорятъ, что Еленою ее зовутъ; о новопреставившейся рабѣ Еленѣ и отслужимъ панихиду. А откуда и кто—Богъ знаетъ. Онъ не собьется!

Около стоитъ громадный гробъ. Въ него пятеро, а не одна она помѣстится. Такая же чахоточная, какъ и эта, пробирается сквозь толпу. Цвѣтовъ принесла, бросаетъ на мертвую... Такъ и кажется, вотъ, вотъ улыбнется та... Но черты все такъ же неподвижны и не шевелятся безкровныя губы.

— Ваша знакомая?—спрашиваю я у чахоточной.

— Нѣтъ. Ее здѣсь никто не знаетъ. Пришла полумертвая, ни съ кѣмъ не говорила. Только все какого-то Семена Ильича звала, какъ помирала. И звала-то какъ, точно плакала. Должно быть, смерть свою чувствовала.

Такъ и схоронятъ никому неизвѣстную. Можетъ быть, мать ждетъ, любимый человѣкъ со дня на день переживаетъ: скоро-ли вернется? Куда ушла?

А она далеко, далеко ушла. Какъ тучка, пробѣжавшая по небу въ солнечный день. Куда дѣлась? Словно волна, смѣшавшаяся съ другими.

Подняли гробъ... уложили ее... понесли... яма готова уже... паръ оттуда идетъ—земля, должно быть, отсырѣла немного. И еще пуще хмурятся деревья на горномъ скатѣ, и еще громче поютъ соловьи.

Комья земли стучатся въ крышку гроба, точно въ дверь.

— Проснись, проснись скорѣе!

Но она не просыпается—и такая же серьезная, красивая, безмятежная, лежитъ за этою дверью. Голубь прилетѣлъ, уцѣпился за вѣтвь орѣшника надъ могилою.

— Ахъ, голубокъ, голубокъ, птичка ты Божья!— умиляются богомольцы.

«Прощай, новопреставившаяся раба Елена!» Только-то и осталось отъ всей твоей молодой жизни!

Прежде чѣмъ уѣхать изъ монастыря, надлежало проститься съ отцомъ архимандритомъ.

Признаюсь, мнѣ вовсе не улыбалось это. Отецъ архимандритъ очень благочестивый и строгій монахъ, такъ, по крайней мѣрѣ, изображали его и Антонинъ, и Стефанъ, и Серапіонъ съ прочею братіею, но собесѣдникъ онъ невозможный.

Когда я былъ въ первый разъ у отца архимандрита, я даже заподозрилъ его, не проникъ-ли онъ въ грѣховную душу мою и не обрѣлъ-ли въ ней чего нибудь ужъ очень злоехиднаго. Но потомъ я отбросилъ это соображеніе въ сторону, ибо сознавалъ, что къ обители

прилежу, къ его особѣ лично отношусь со смиреніемъ и кротостью, и чина монашескяго не отметаю вообще, а святогорскую обитель въ частности и того менѣе.

Челнокъ былъ готовъ. Молодой послушникъ уже сидѣлъ съ веслами въ рукахъ, сдвинувъ на затылокъ скуфейку, чтобы не такъ жгло солнце.

Оставалось только проститься съ однимъ молодымъ монахомъ.

Невыразимо грустно было оставлять его здѣсь. Мы недолго походили по плитамъ монастырскаго двора. Ударили въ било, и о. Іона остановился.

— Ну, прощайте!

Грустные глаза его стали еще грустнѣе. Онъ взялъ мою руку, видимо,—выпускать не хотѣлось.

— Напрасно повстрѣчался я съ вами. Опять теперь томить начнетъ. Мертвеца разбудили вы, а сами уѣзжаете!

— Нельзя!

— Знаю, что нельзя... Живому — живое... Съ черноризцами не весело!

— Къ міру тянетъ!.. Грѣховныя помышленія!.. Уйми!..— взялся откуда-то схимникъ. Самого едва ноги носятъ,— въ рукахъ посохъ.

— Прости, отче!

Схимникъ воззрился въ глаза о. Іонѣ, подошелъ ближе, шамкаетъ что-то; наконецъ, собрался опять съ силами:

— Ишь, у тебя изъ глазъ-то... Изъ глазъ... Уйми, тебѣ говорю!.. Какой ты монахъ!.. Уйми... Грѣхомъ отъ тебя!..

Поднялъ посохъ, погрозилъ ему. Я думалъ, что ударитъ—нѣтъ, обошлось. Затѣмъ понурился и опять пошелъ впередъ, шатаясь и едва передвигая ноги.

— Господи Благій... прости мнѣ!.. Прости мнѣ грѣшному! Поддержи слабаго! — сталъ молиться о. Іона.— Уѣзжайте... Не соблазняйте,—повернулся онъ ко мнѣ.— Ради Бога, скорѣе уходите! Душа мятется... Боже мой Господи, простри руку Твою!

П о. Іона пошелъ въ соборъ, куда со всѣхъ сторонъ тянулись въ эту минуту мрачныя фигуры черноризцевъ. На самой паперти онъ оглянулся и издали перекрестилъ меня.

А колокола уже гудѣли во всю, и изъ отворенныхъ оконъ собора неслись печальные напѣвы.

Челнокъ чуть не опрокинулся, когда я сѣлъ въ него. Весь онъ изъ одного куска дуба. Колышется на водѣ, какъ люлька. Вокругъ меня изорванныя ущельями горы и мѣловые обрывы тамъ, гдѣ осыпалась почва. Бѣлыя скалы издали казались громадною крѣпостью, а черныя окна келій — бойницами. Постройки на верху пропадали рядомъ съ этими первосозданными громадами.

Отплыли съ версту.

Я оглянулся.

Монастырь весь маленькій-маленькій кажется. Сбѣжался къ берегу, точно ему хочется въ послѣдній разъ взглянуть, куда мы двинемся. А звонъ колоколовъ глухо докатывается до насъ, заглушаемый уже пѣніемъ украинскихъ соловьевъ и говоромъ струй, съ тихою нѣгою подкатывающихся подъ нашъ челнокъ.

Передо мной, словно тутъ, рядомъ, стояли всѣ эти типы иноческаго царства: о. Антонинъ, Іоаннъ заточникъ, монахи тоскующіе, монахи воинствующіе, монахи закостенѣлые.

Нѣтъ, какъ ни плохъ міръ, а все же для меня его теплое солнце и скудная любовь лучше этой большой могилы праведниковъ. Могій вмѣстити — да вмѣститъ. Но нужно для этого особыя силы и великая жажда подвига, самонстязанія, самосокрушенія.

К о н е ц ъ.